Александр БЕК



НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Александр БЕК

Новое назначение

РОМАН



АЛМА-АТА
«ЖАЗУШЫ»
1988

ББК 84Р7—44
Б 42

Бек Александр
Б 42 Новое назначение: Роман.— Алма-Ата: Жазушы, 1988.—240 с.

Роман «Новое назначение» А. Бека (1903—1972)— произведение трудной, но победоносной судьбы. Написанный в начале 60-х годов, освещающий период культа личности Сталина, он пришел к советскому читателю лишь в 1986 — и с поразительной актуальностью прозвучал в контексте революционной перестройки, свершающейся в нашей стране ныне.

Б $\frac{4702010200-066}{402(05)-88}$ Без объявл. ББК 84Р7—44

ISBN 5—605—00247—3

1

Изучая жизнь Александра Леонтьевича Онисимова, беседуя с людьми, более или менее близко его знавшими, я установил, что первая неясная весть о его смещении пронеслась еще летом 1956 года.

Молва эта поначалу не подтвердилась. Шли дни, сменялись месяцы, Александр Леонтьевич оставался главой Комитета. Однако уже в сентябре секретари и референты Онисимова узнали, что (употребим характерное выражение времени) решение состоялось: Александру Леонтьевичу отныне предназначена дипломатическая деятельность, он вскоре уедет в одну из стран Северной Европы. Уже от многих можно было услышать об этом.

От многих. Но не от самого Онисимова. Он по-прежнему ровно в девять утра входил в свой кабинет на втором этаже здания Совета Министров в Охотном ряду. К приходу Александра Леонтьевича на его письменном столе лежали, как обычно, суточные сводки о работе заводов черной и цветной металлургии, о добыче нефти и угля. Опустившись в дубовое кресло с жестковатым, крытым искусственной кожей сиденьем (сотрудникам Онисимова давно известны его вкусы, нелюбовь к дорогой мебели), он надевал очки,— с некоторых пор они уже требовались ему при чтении. Стеклами и массивной оправой скрадывались темные полукружия под глазами — след многолетнего недосыпания. Его будто выточенное лицо,— столь безупречно правильны были все черты, за исключением, пожалуй, лишь верхней губы, несколько впалой, коротковатой,— склонялось над столбцами цифр. Маленькая, белая, чуть с желтизной, рука, вооруженная карандашом, порой быстро подчеркивала ту или иную цифру. Худощавые пальцы чуть тряслись. Нет, это не была старческая дрожь — Ониси-

мову исполнилось лишь пятьдесят четыре года, отдельные седые ворсинки терялись в его каштановых волосах, разделенных надвое пролегавшим слева, всегда безукоризненно прямым, будто выведенным по линеечке, пробором. Неотвязная тряска пальцев преследует Онисимова уже несколько лет. В спокойные часы дрожь почти незаметна, она усиливается, когда Александр Леонтьевич раздражен.

Медицина не сумела излечить эту странную болезнь. Впрочем, Александр Леонтьевич пренебрегал медициной, предписаниями врачей. Дрожат пальцы — и черт с ними! Не обращать внимания! Тем более, что подергивание пальцев ни в малой степени не отразилось на его великолепном каллиграфическом почерке, выработанном еще в отрочестве, когда с пятого класса коммерческого училища он сумел найти грошовый заработок в переписывании бумаг. Вот и сейчас все его пометки совершенно четки, каждая возникающая из-под карандаша черточка тверда. Карандаш Онисимова тоже памятен его подчиненным, неизменно самый жесткий, отточенный, как пика.

Левая рука время от времени тянулась к постоянно лежавшей на столе коробке сигарет «Друг» с оттиснутой на крышке мордой пса. Не отрывая взгляда от машинописных строк, Онисимов чиркал спичку, с привычной жадностью затягивался. Он впервые закурил уже немолодым, в 1938 году, в дни, когда решалась его участь. Закурил — и с тех пор не мог отвыкнуть.

Непогашенный окурок еще дымится в пепельнице, а Онисимов уже зажигает следующую сигарету. Верный своему стилю — стилю управления, что отшлифован десятилетиями,— Александр Леонтьевич отнюдь не ограничивается изучением бумаг. Знакомясь со сводками, он то и дело поворачивается к телефонному столику, звонит по вертушке,— этим словечком именуются телефоны особой правительственной сети,— соединяется с министрами, с начальниками главков, требует ответа: почему снизилась выплавка на таком-то заводе, почему не изготовлен в срок заказ номер такой-то, из-за чего продолжается «непопадание в анализ» новой марки стали? Не довольствуясь объяснениями из министерских кабинетов, следуя правилу ничего не брать на веру, он нетерпеливо нажимает кнопку звонка, приказывает явившемуся мгновенно секретарю связать его, Онисимова, с заводом, вызвать к телефону директора или началь-

ника цеха, а порой даже и мастера. У них, заводских людей, Онисимов перепроверяет услышанные по вертушке объяснения. Знать дело до последней мелочи, знать дело лучше всех, не доверять ни слову, ни бумаге — таков был его девиз. Держать аппарат в напряжении — так он сам определял свой метод.

С суточными сводками покончено. Просмотрены и телеграммы. В раскрытом большого формата блокноте с черным грифом на каждом листе: «Председатель Государственного Комитета по делам металлургии и топлива Совета Министров СССР»* сделано несколько записей,— этими вопросами Александр Леонтьевич в течение дня еще будет заниматься. Из стола он вынимает папку с материалами о внедрении автоматики в металлургию. Вскоре он погрузится — в который уже раз!— в изучение графиков поставки оборудования, графиков монтажа, пуска, освоения, опять будет звонить, вникать в каждую мелочь, нажимать на Госплан, на машиностроительные министерства, вызывать своих помощников, давать им поручения.

На круглом столе, что стоит у стены рядом с книжным шкафом, заполненным томами Технической энциклопедии, толстыми справочниками по черной и цветной металлургии, минеральному топливу, химии, геологии, аккуратно сложена пачка газет. «Правду» Онисимов внимательно прочитывал дома,— прочитывал, задымив первой сигаретой,— «Известия» и «Комсомолку» просматривал в машине, когда ехал на работу. В служебном кабинете его ждали другие московские газеты. Здесь же на круглом столе высилась пачка ежедневной прессы промышленных районов — газеты Донбасса, Днепропетровщины, Урала, Закавказья, крупнейших индустриальных центров Сибири и Дальнего Востока. Вся эта местная печать уже проработана секретариатом, подготовлена для Онисимова — цветными карандашами отмечено все, что может его заинтересовать. Рядом лежат реферативные журналы Академии наук и присланные Институтом информации переводы статей из иностранных технических журналов (Онисимов владеет лишь англий-

* Название комитета вымышлено, как и названия некоторых других учреждений. Действующие лица, за исключением тех, которые названы подлинными именами, являются собирательными образами. Кроме того, видоизменены отдельные симптомы заболевания, о котором говорится в романе.— Автор.

ским). Сюда же кладутся новинки Металлургиздата и Углеиздата. Ни одна книга, ни один журнал не убираются с круглого стола, пока это не сделает сам Онисимов.

Покинув свое кресло, он по безукоризненно навощенному паркету, не прикрытому ковром,— Онисимов не жалует ковры, считая их предметом роскоши,— идет к этому столу. Красивая голова Александра Леонтьевича очень крупна,— крупна даже и при его немалом, выше среднего, росте. Шея, однако, недостаточно длинна. Из-за этого кажется, что он словно бы в вечной опаске вобрал голову в плечи. Порой, когда он сидит, его можно принять за горбуна. Нет, он идет не горбясь. Его шаг энергичен, хотя несколько тяжеловат. Не дойдя, Онисимов вдруг приостанавливается. Поникла большая его голова. Уже раз-другой случалось, что тот или иной секретарь, открыв невзначай дверь, заставал Александра Леонтьевича в этакой позе,— застывшего посреди кабинета, куда-то унесшегося мыслями. По должности Онисимов обязан заниматься и перспективами, завтрашним днем индустрии, но думы тянут в прошлое. Картины прошлого, невесть как пришедшие на память, порой несвязные, все чаще завладевают им.

Так он и стоит,— одетый в неизменно темный, в полоску, костюм, в свежую белую сорочку со всегда твердым накрахмаленным воротничком, с темным скромным галстуком. Однажды сын Андрюша, начитавшись Диккенса, сказал ему: «Папа, ты одет, как английский клерк».

Печальный взгляд зеленоватых глаз устремлен на круглый стол. К чему теперь все это Онисимову? Вот эти книги — «Бурение скважин», «Магнитное обогащение», «Трубосварочные станы»? Или вот этот новый номер «Угля»? Не сегодня, так завтра он распростится с углем и со сталью, оставит этот пост, этот кабинет.

Усилием воли Онисимов стряхивает оцепенение, присаживается, надевает очки, придвигает газеты, включается в работу.

Его сотрудники поражены. Александр Леонтьевич руководит с прежним напором, с прежней остротой. Он проводит, как и раньше, совещания, добирается, докапывается до мельчайших подробностей дела, по-прежнему требователен, резок, ничуть не утрачивает (прибегнем опять к словарю времени) оперативности, знакомится со всей специальной литературой, подготовляет наметки семилетнего плана, досконально проверяя обо-

снование каждой цифры, словно ему предстоит еще годы возглавлять топливную промышленность и металлургию.

...Мелькали дни, сменялись месяцы, зеленоглазый, всегда свежевыбритый, подтянутый, строгий человек, председатель Комитета продолжал работать, источать волю, энергию, держать аппарат под напряжением.

Лишь поздней осенью, незадолго до тридцать девятой годовщины Октября, Онисимов получил давно ожидаемый пакет. Ножницами вскрыв конверт, он прочел бумагу. Да, как он и предполагал, просьба, с которой он, инженер-прокатчик, обратился в Центральный Комитет,— просьба предоставить любую работу по специальности,— не принята во внимание. С этой минуты он поступил в распоряжение Министерства иностранных дел.

Теперь следовало проверить, все ли будет оставлено в ажуре тут, в этом кабинете, куда он уже не вернется. Выполнить последние служебные обязанности, последний долг. И он еще занимается некоторыми важнейшими делами, опять звонит по вертушке, допытывается, выясняет, подхлестывает, распоряжается.

Потом минуту-другую молча курит. И снова берется за телефонную трубку. Необходимо доложить, так сказать, по инстанции, что он сдает пульт управления.

Онисимов соединяется по вертушке с заместителем Председателя Совета Министров Тевосяном, который наряду с другими своими обязанностями курирует и несколько государственных комитетов.

— Иван Федорович, решение получил. И подбил итоги. Позволь откозырять.

Давние товарищи, они разговаривали на «ты». Тевосян сказал:

— Добро. Когда думаешь явиться к дипломатическому своему начальству?

— Сегодня же, если не возражаешь.

— Зачем же сегодня? К чему уж так спешить? Но вообще-то правильно делаешь, что не задерживаешься.

В этих спокойно произнесенных словах Онисимов улавливает не только совет дружески расположенного старшего товарища, но и указание. Далее Тевосян касается некоторых деловых тем, выслушивает ответы. И в заключение говорит:

— Наверное, до твоего отъезда повстречаемся. Позванивай, не забывай.

Вот разговор и закончен. Александр Леонтьевич еще раз оглядывает письменный стол, кабинет.

Ну, кажется, хватит: можно ставить точку. Все дела, которые примет на ходу заместитель,— и текущие, и перспективные,— ясны. Есть, правда, еще одно,— отнюдь не самое важное, не принадлежавшее к тем, что записаны в правительственных директивах, но для Онисимова все-таки особенные. Опять без спросу вторгается картинка прошлого. Александру Леонтьевичу видится загорелое горбоносое лицо Петра Головни, или, как его еще зовут, Головни-младшего. Складка губ упряма, под скулой ходит желвак,— таким он, Головня-младший, директор завода имени Курако, выглядел в ту памятную июльскую ночь 1952 года, когда дерзнул на заседании обличать Онисимова. И Онисимов был вынужден... Да, именно вынужден. Впрочем, к чему вспоминать? Не однажды он уже замечал за собой этакое: всплывают — и вовсе некстати — сдвинутые брови, безбоязненный упрямый взгляд, тяжеловатая нижняя челюсть Петра Головни. Что поделаешь, у Александра Леонтьевича есть свои, от всех скрытые обязательства перед этим инженером-доменщиком, директором завода. Так сказать, обязательства совести.

Однако сейчас Онисимов, пожалуй, уже не имеет права использовать свою власть главы Комитета. Несколько мгновений он колеблется. Затем опять снимает трубку, звонит министру тяжелого машиностроения, расспрашивает, как идет изготовление мощной воздуходувки для завода имени Курако. Заказ министру известен. Известен и Головня-младший, запросивший такого рода внесерийную, необычайно могучую и вместе с тем малогабаритную машину, которая встала бы по месту в тесноте старой Кураковки. Председатель Комитета тотчас получает требуемую справку: заказ выполняется по графику, примерно через месяц начнется монтаж, затем испытания.

— Последи, пожалуйста, сам за этим делом,— говорит министру Онисимов.— Вовремя закончи, отгрузи. Пошли лучших монтажников.

— Есть! Записываю. Будьте спокойны, Александр Леонтьевич.

— Не подведи. Для меня это дело чести. Мне, возможно, вскоре придется уехать...

Собеседник принимает эту весть без удивления, ограничивается кратким:

— Угу...

Знает, наверное, о его отъезде в тихую чистенькую страну. Александр Леонтьевич продолжает:

— Постарайся по всем статьям дать попадание в анализ. Качество, сроки и все прочее. Отнесись к этому, как к личной моей просьбе.

— Есть! Ставлю три восклицательных знака, Александр Леонтьевич!

Это был, если не ошибаемся, последний телефонный разговор, который Онисимов вел из своего, верней, уже из бывшего своего кабинета.

Затем он нажал кнопку звонка. На вызов вошел,— как всегда почти бесшумно,— заведующий секретариатом Серебрянников. Худощавый, низенький, он остановился у стола, чуть склонив наголо бритую, рано полысевшую голову. Его связывал с Онисимовым почти двадцатилетний путь секретаря; вместе с Александром Леонтьевичем он перебрался и сюда, в здание Совета Министров, давно научился схватывать на лету, угадывать, в чем нуждается его начальник, умел незаметно подсказать тот или иной ход, отлично составлял самые важные бумаги, был безукоризненным помощником.

Онисимов встал:

— Разрешите представиться. Советский посол в Тишландии.

Он мог шутить даже в эту минуту — окрестил Тишландией страну, куда ему надлежало ехать. Тотчас он выговорил и ее точное наименование. Мы, однако, позволим себе воспользоваться его находчивостью, так и закрепим за этим государством условное обозначение Тишландия.

По своей манере Онисимов сразу перешел к делу:

— Садись. Я бы хотел, чтобы на первых порах ты мне помог. Поедешь со мной?

Серебрянников не сел. Его голубые, слегка навыкате глаза были скромно потуплены. Поза оставалась по-прежнему почтительной.

Проницательность не изменила Онисимову. Он все понял мгновенно.

— Предпочитаешь во благовремении расстаться?

— Я думаю, Александр Леонтьевич, что...

— Что будешь мне более полезен, если останешься в Москве?

Да, Серебрянников собирался развить именно такую мысль, подготовил именно этот предлог. Впрочем, предлог ли? Бритоголовый заведующий секретариатом в са-

мом деле полагал, что... ну, как бы сказать? Конечно, пришла пора преобразований. Все понятно. Но кто знает... Обстоятельства еще могут всяко повернуться. И Александр Леонтьевич, смещенный под горячую руку, глядишь, возвратится в тяжелую промышленность. А по ка... Пока он, Михаил Борисович Серебрянников, останется здесь как преданный Онисимову человек. При случае будет слать Александру Леонтьевичу письма в эту самую, как тот пошутил, Тишландию. И исполнять здесь поручения, просьбы бывшего главы Комитета. Ну, а если дела сложатся иначе, если Онисимову не суждено более работать в индустрии,— что же, Серебрянников будет чист перед совестью, перед людьми и перед вами, Александр Леонтьевич.

Разгадав с полуфразы эту благопристойную непроизнесенную речь, Онисимов сразу отбросил ее. Его бритая верхняя губа приподнялась, обнажив крепкие белые зубы. Подчиненным Онисимова был хорошо известен этот его грозный оскал. В такие минуты Онисимов наотмашь бил беспощадными словами. Рывком взяв сигарету, он зажег спичку. Она плясала в его пальцах. Так и не сумев закурить, он отбросил догоревшую спичку. И сдержал себя.

— Ступай. И пришли мне две общие тетради. Больше ничего мне от тебя не надо.

2

Александр Леонтьевич обедает.

Тусковатый свет московской улицы проникает в широкие окна, окаймленные двойными занавесями — тяжелыми красноватыми, свисающими вдоль косяков, и белыми шелковыми, что подтянуты к фрамуге. Длинный обеденный стол, вокруг которого разместились двенадцать стульев в полотняных чехлах, покрыт белоснежной скатертью. Лоснится паркет, поблескивает стекло и полировка буфета.

В убранстве столовой не найдешь ни одной индивидуальной особенной приметы. Онисимов равнодушен к житейским удобствам, к своей многокомнатной квартире. Это безразличие разделяет и его жена Елена Антоновна, занимающая немалый пост в Управлении подготовки трудовых резервов СССР.

Хозяева не обставляли квартиру, попросту вместе с этим жильем получили и мебель, размещенную по ком-

натам чьими-то руками. В гостиную, что находится рядом со столовой, неделями не заходит никто из членов семьи. Там так и высится пианино в полотняном чехле и кресла под такими же чехлами. Красивые цветочные вазы не оживлены цветами, из года в год стоят пустыми. Дети, иногда забегающие к сыну Онисимова Андрюше, не резвятся, притихают в этой квартире. Сюда не приходят гости.

Впрочем, в последние три-четыре года здесь побывали несколько давних товарищей Александра Леонтьевича. Они значились в минувшие времена репрессированными, а ныне, после смерти Сталина,— вон на стене висит в золоченой раме его писанный маслом портрет со звездами генералиссимуса на погонах,— покидали лагеря, огражденные колючей проволокой, возвращались из тюрем, из ссылки. Сам Александр Леонтьевич не испил из этой чаши, полоса репрессий, которая вот-вот, казалось, настигнет и его, все же прошла мимо.

Порой тот или иной воскресший товарищ звонил Александру Леонтьевичу. Вымуштрованный секретариат Онисимова строго придерживался правила: если кто-либо, желавший поговорить с Александром Леонтьевичем, скажет о себе «его старый товарищ» или «по личному вопросу», тотчас же докладывать. Однажды Серебрянникову изрядно влетело за то, что в подобном случае он предпочел не отвлекать Онисимова, ведшего совещание в своем кабинете, и лишь позже сообщил о звонке.

Правда, звонки такого рода были редки. Отрываясь от любого дела, Онисимов брал трубку, радушно здоровался, тепло расспрашивал,— самый чуткий, обостренный страданиями, унижениями слух не мог бы уловить в его повадке, в его тоне малейшую нотку сановности,— листая свой календарь, выкраивал вечерок, назначал свидание у себя дома. Он за полночь просиживал с пришедшими, вспоминая то, что довелось вместе пережить, перебирая погибших и живых. И неизменно старался что-то сделать для вернувшегося, помогал устроиться, то есть получить приличное жилье, подходящую работу или пенсию.

Затем опять долгими вечерами и днями большие комнаты этой квартиры пустовали. Дюжина стульев, расставленных вокруг стола, так никогда и не служила веселому шумному сборищу. Даже в день пятидесятилетия Онисимова не был приглашен ни один гость, в квартире не нарушалась тишина. «Холодный дом»,— так,

опять же по Диккенсу, высказался однажды Андрейка. Отца он про себя именует «великим молчальником». По воскресеньям в столовой за завтраком и обедом сходится семья, но общего разговора не завязывается. Порой отец пошутит. Редко-редко он разоткровенничается, о чем-то расскажет, вспомнит что-то вслух.

Сейчас, как и обычно, Александр Леонтьевич ест в одиночестве. Жена приезжает обедать позднее, он — ровно в половине второго. Прошли времена ночных изнурительных бдений, когда в министерствах и комитетах засиживались до четырех-пяти утра,— так работал томимый бессонницей Сталин, по распорядку его дня равнялся правительственный аппарат. Онисимов обедал тогда по вечерам, а то (домашние помнят эту его шутку), а то и, подобно королю Фридриху Великому, на другой день. Ныне особым указом, опубликованным во всех газетах, запрещено задерживаться на службе сверх восьмичасового срока. Подчиняясь, как всегда, дисциплине, Онисимов все же последним выходил из Комитета. Досужие вечера были ему невмоготу, он захватывал с работы объемистую папку, набитую бумагами, погружался в нее дома.

Сегодня он не принесет эту папку. Нынче он провел в Комитете свой последний рабочий день, попрощался с сослуживцами. Дела принял заместитель, никто вновь не назначен главой Комитета. Это, пожалуй, еще один признак надвигающейся, судя по всему, перестройки. Ее, эту ожидаемую перестройку управления промышленностью, уже называют «революционной ломкой». Особая комиссия занята разработкой предложений. Онисимов не был введен в эту комиссию. И вот теперь... Теперь его вовсе убрали из промышленности. Почему же? Почему?

Он вспоминает о стынущей перед ним тарелке супа. В руке, следуя тряске пальцев, пляшет ложка, которую он несет ко рту. Всегда умеренный в еде, лишенный каких-либо качеств гурмана, Онисимов проглатывает суп, не ощущая вкуса.

В сторонке стоит, посматривает на хозяина домашняя работница Варя в белом, без пятнышка, фартуке, в белой косынке. Варя привыкла, что в будни Александр Леонтьевич всегда ест наспех. По утрам уже слышится его нетерпеливое: «Скорее, скорее, я опаздываю». После обеда, как правило, он ложится на пятнадцать минут. Варя обязана ровно через четверть часа, минута в минуту, постучать ему в дверь. Вечерами он иногда приезжа-

ет лишь переодеться, чтобы укатить на какой-нибудь прием. И опять же спешит. Однако в этой спешке никогда не оставит неприбранным снятый костюм, обязательно сам повесит в шкаф. Варя не назвала бы Онисимова молчальником. Он научил ее приготовлять кофе, заваривать крепчайший чай. Возвращаясь с работы, обычно скажет ей несколько приветливых слов.

Сегодня он обедает медлительно. Хлебнет несколько ложек и задумается. Варе он уже сказал, что больше не требуется следить по часам за его отдыхом, стучать в дверь кабинета. И пошутил:

— Скоро поеду отдыхать в одно царство-государство.

Да, с нынешнего дня он уже не занимается промышленностью. Он не нужен — не нужен тяжелой индустрии, любимому делу. Завтра с утра он перейдет работать в Министерство иностранных дел, будет готовиться к новой своей миссии. А нынче он свободен, непривычно свободен. Почему же? Как могло это случиться?

Да, он высказал мнение, что необходимо соблюсти осторожность, постепенность в реорганизации управления промышленностью, не прибегать к ломке. Да, он защищал целесообразность существования своего Комитета и подведомственных министерств, привел ряд доводов на заседании комиссии ЦК. Его выступление, в котором по своей манере он ограничился лишь сугубо деловыми соображениями, было встречено молчанием. Но ведь там происходило лишь самое предварительное обсуждение. Любое решение — кто в этом может усомниться?— он принял бы как дисциплинированный, верный член партии. Почему же, почему же его убрали из промышленности?

Варя приносит второе. Она видит: Александр Леонтьевич очень бледен. Румянца он, впрочем, словно никогда и не знавал, не розовел даже на морозе, но сейчас обычная, с легкой примесью живой коричневатости, его бледнота сменилась землистым оттенком. Что с ним? Онисимов ощущает неприятную сухость во рту. Красивого разреза, большие, с желтизной в белках, глаза отыскивают графин с водой на буфетной стойке. Замашки барина ненавистны Онисимову. Он никогда дома не скажет «принесите мне», «подайте мне», сам встанет и возьмет. Так встает он и теперь. Делает шаг-другой к буфету.

Перед ним вдруг все темнеет, ему недостает воздуха, рука судорожно тянется к накрахмаленному воротничку,

он пытается удержаться на ногах, хватается за стул и, роняя его, тяжело оседает на паркет.

3

Полчаса спустя у Онисимова в его домашнем кабинете уже сидит Антонина Ивановна Хижняк — опытная седоватая громкоголосая женщина-врач. Когда-то она носила военную форму, провела годы минувшей войны во фронтовых госпиталях и лишь затем стала работать в лечебнице Совета Министров, именуемой запросто «Кремлевкой».

В течение последних шести или семи лет Антонина Ивановна занимается здоровьем Онисимова. Это трудный пациент. Каждую жалобу из него приходится вытягивать, что называется, клещами. Когда его спрашиваешь: «Что у вас болит?», он с улыбкой отвечает: «Ничего». Вызвать его в поликлинику на профессорский осмотр — предприятие совершенно безнадежное. Антонина Ивановна сама приходила к Онисимову, подстерегала его в обеденный час. Александр Леонтьевич встречал ее как добрую знакомую, держался без малейшей важности,— чего греха таить, в иных квартирах этого огромного жилого здания у Москвы-реки, заселенного по преимуществу высшим служилым составом разных центральных учреждений, ее, старого военного врача, порой коробило обращение свысока,— был живым умным собеседником, вел речь о чем угодно, только не о своих недомоганиях. В кругу металлургов, так или иначе общавшихся с Александром Леонтьевичем, издавна считалось, что у него железный организм. Он и доселе славится физической неутомимостью. Однако Антонина Ивановна знает, что эта его слава далека, очень далека от истины.

Однажды ей все же удалось показать Онисимова известному профессору, создателю и руководителю института терапии Николаю Николаевичу Соловьеву. Общительный, подвижный, в галстуке бабочкой, с венчиком седых кудрей вокруг блестящей лысины, похожий скорее на художника или режиссера, чем на медика, он долго выспрашивал, осматривал Александра Леонтьевича. И наконец сказал: «У вас сосуды и сердце семидесятилетнего старика». Настоятельно посоветовав Александру Леонтьевичу изменить режим, он добавил: «А самое главное, избегайте ошибок».—«Каких ошибок?» Профес-

сор объяснил, что термин «сшибка» введен Иваном Петровичем Павловым. Великий русский физиолог, как понял Онисимов, разъяснил явление, которое назвал сшибкой двух противоположных импульсов — приказов, идущих из коры головного мозга. Внутреннее побуждение приказывает вам поступить так, вы, однако, заставляете себя делать нечто противоположное. Это в обыденной жизни случается с каждым, но иногда такое столкновение приобретает необычайную силу. И возникает болезнь. Даже ряд болезней. К слову Николай Николаевич рассказал о некой, специального типа, кибернетической машине. Получая два противоположных приказа, машина заболевала: ее сотрясала дрожь. «Возможно, танец ваших пальцев, Александр Леонтьевич, имеет такое же происхождение».

Молча подивившись прозорливости седокудрого профессора, Онисимов, однако, с ним не разоткровенничался. Впрочем, откровенных разговоров он, смолоду замкнутый, давно-давно не вел, умел зажать, затаить переживания.

Встреча с профессором ничего не изменила в обиходе, в распорядке жизни Онисимова. Антонина Ивановна много раз настаивала, чтобы он бросил курить. Онисимов отвечал: «Да, да»... А в следующее посещение она опять видела красную коробку сигарет на его столе и окурки в пепельнице. Впрочем, визит Николая Николаевича не прошел совсем без следа: в домашнем кабинете Онисимова на книжной полке появился труд Соловьева «Общая терапия» и толстенный «Терапевтический справочник». Раскрывал ли их когда-нибудь Онисимов, Антонина Ивановна не знала.

Порой она заглядывала в домашнюю аптечку Онисимовых, находила там лекарства, которые давно выписала Александру Леонтьевичу, они покоились нетронутыми. В ответ на укоризненный взгляд Онисимов виновато улыбался,— среди множества выражений, что могли проступать в его улыбке, бывало иногда и этакое: мягкое, обезоруживающее.

Вот и сейчас он сидит перед врачом на диване — жестком, неудобном, купленном словно для учреждения,— сидит, расстегнув рубаху, оголив белую, подернутую слоем жирка грудь, и любезно, спокойно улыбается, будто не он только что свалился в обмороке.

— Ничего страшного, Антонина Ивановна,— произ-

носит он.— Подвернулась нога, оступился, неудачно стукнулся...

В подтверждение он потирает синяк на лбу.

— Нога?— недоверчиво переспрашивает Антонина Ивановна.— Что же, посмотрим ваши ноги.

Онисимов снимает свои безукоризненно начищенные, теплые, на меху ботинки,— с некоторых пор он плохо переносит холод,— снимает носки, обнажает стопу и голень. Ступни, как и кисти рук, тоже маленькие, почти женские. Уже несколько лет он страдает онемением нижней части ног, в артериях не прощупывается пульс, это заболевание сосудов называется эндартериит. Происхождение эндартериита еще не выяснено медициной, нередко это страдание связано с неумеренным курением. Онисимову трудно ходить — пошагает десяток минут и вынужден приостановиться,— трудно подолгу стоять. Антонина Ивановна с неумолимой настойчивостью дважды заставила Онисимова пройти курс лечения. Месяцами изо дня в день по утрам ему накладывали повязки со специальными мазями, он так и уезжал на работу, где, однако, никто не подозревал, что у Александра Леонтьевича забинтованы ноги. Он забросил лечение, откинул бинты, когда обнаружилось, что завод «Электрометалл» не справляется с заданием правительства: выплавить особую жаростойкую сталь для реактивных двигателей. Отложив все другие дела, Онисимов поехал на завод. Там, переминаясь с ноги на ногу, не разрешив себе даже чувствовать боль, он, председатель Комитета, инженер-прокатчик, часами простаивал на рабочей площадке печи, следя с начала до конца за ходом очередной плавки. Каждый вечер он проводил оперативки, учинял перекрестные допросы, докапываясь до сути, до некоего ускользающего икса. И спустя три недели вернулся в Москву с рапортом: исполнена задача, поставленная свыше; получена, льется из печи новая, еще небывалая жароупорная сталь. Но свою фамилию вычеркнул из списка тех, кто был представлен министерством к государственной премии за эту работу. Нетерпимо пресекая попытки подчиненных ему крупных начальствующих лиц,— от министров и до директоров,— как-либо не по праву пристроиться, примазаться (Онисимов в таких случаях не стеснялся в выражениях) к открытиям, изобретениям, усовершенствованиям, которые выдвигались на премию, он не позволил и себе стать лауреатом, хотя по общему признанию этого заслуживал. За ним

знавали изречение: «Уж если ты служака, то будь Служакой с большой буквы». И сам он, несомненно, стремился быть таким.

Антонина Ивановна лишь покачала бы головой, если бы кто-нибудь решился предсказать, что ее подопечный без пульса в ногах способен простоять хотя бы полсмены у печи. Она и теперь не понимает, как он мог стоять целыми днями. В стопе по-прежнему не прощупывается пульс. Суставы с трудом гнутся. Она все же их сгибает. Онисимов не покряхтывает, не морщится, будто ему вовсе не больно. Нет, это не железный, совсем не железный организм. Но человек, несомненно, железный.

На большом пальце ноги — тоже изящном, продолговатом — когда-то был вырезан кусок ногтя. Антонина Ивановна помнит, как переносил Онисимов эту очень болезненную операцию — удаление вросшего ногтя. Под ножом он вел себя, как каменный. На ногу была уже наложена повязка, боль усиливалась, ибо анестезирующее средство постепенно переставало оказывать свое действие. Держа руку Александра Леонтьевича, она ощущала его напряжение, пробегающий трепет скрываемой боли. Спросила его: «Ну как?»—«Было больно» — «А сейчас?»—«Ничего...» Из операционной он отправился прямо на работу.

И теперь, конечно, от него не добьешься жалобы. Несколько мужеподобная, обычно шумная, Антонина Ивановна умеет поднять настроение больного. Однако требуется ли это сейчас?

— Вам, Александр Леонтьевич, надо серьезно отдохнуть.

Признаться, она не уверена в своем предложении. Хронический бронхит курильщика, постоянные хрипы, привычный, порою натужный кашель — все это на отдыхе под солнцем юга, у моря, где Онисимов любил провести отпуск, усугублялось то воспалением легких, то ангиной. Казалось, болезни, которые еще как бы не осмеливались тронуть Онисимова, держались на почтительном расстоянии, когда его дни были отданы работе, вдруг набрасывались, как только он сменял рабочий режим отдыхом.

— Э,— отвечает Онисимов,— отдохну в своей Тишландии.

Впервые у него вырвалось: «своей». Он тут же прокашливается, чтобы скрыть нотку горечи. Неожиданно

кашель становится сильным, мучительным, сухим, сотрясает оголенную грудь. Затем приступ утихает.

— Курение вы обязаны бросить,— говорит Антонина Ивановна. Ее тон категоричен.

Он усмехается:

— Приеду когда-нибудь в Москву и доложу вам: «Вот, дражайшая Антонина Ивановна, я и не курю!»

— Александр Леонтьевич, в таком виде я вас не отпущу. Надо наконец обследоваться.

— Ничего. Поеду.

— Я не могу взять на себя ответственность. Назначим консилиум.

Он отрезает:

— Никаких обследований, никаких консилиумов!

— В таком случае я лично напишу, что по состоянию здоровья вам уезжать нельзя.

— Не смейте!— кричит Онисимов.

За ним водится этот грозный, повелительный крик. Онисимов, как мы упомянули, уже и сам обращался н а в е р х, просил дать любую работу по специальности, но получил отказ. Значит, он обязан ехать. Еще никогда — с тех пор, как в шестнадцать лет стал членом партии — он не пытался уклониться, ускользнуть от исполнения партийных и государственных решений. Не сделает этого он и теперь.

— Если напишете,— продолжает он,— я вас подведу. Заявлю, что не подтверждаю ваших врачебных заключений. И выкручивайтесь, как знаете. Думаю, лучше, милый доктор, нам не ссориться.

И он снова улыбается — теперь с привычной саркастичностью. Ну, что с ним делать? Как поступить врачу?

— Александр Леонтьевич, полежите день-другой. Я вас понаблюдаю.

Онисимов охотно идет на мировую.

— Хорошо. Сегодня полежу.

Антонина Ивановна вновь обретает свою командирскую громогласную повадку.

— Извольте лечь в постель при мне.

— С вашего разрешения я прилягу здесь.

Что же, здесь, возможно, ему будет лучше. Серьезная, грубовато скроенная врачевательница с неудовольствием вспоминает спальню Онисимовых. В середине комнаты расположились две широкие кровати, составленные вместе. По бокам две тумбочки. У стен два платяных шкафа. И все. Будто в гостинице.

Пожалуй, лишь в этом продымленном кабинете можно ощутить некий личный отпечаток. Высятся полки, где выстроились книги по специальности, текущая политическая литература, сочинения Ленина, сочинения Сталина, так и не завершенные изданием, оборванные на тринадцатом томе его смертью. В простенке висит скромно окантованная фотография: Сталин и Серго Орджоникидзе — оба еще молоды, оба в шинелях, оба с черными заостренными усами. Онисимов когда-то сам отдал увеличить этот снимок, сам нашел для него место.

К дивану приставлен круглый столик. На нем рядом с пачкой сигарет и настольной лампой чернеет телефон-вертушка, несколько отличающийся плавными формами от обычных аппаратов. Тут же под рукой лежат и две книги — новинки по истории советской промышленности,— в последнее время Онисимов особенно интересовался этой темой.

Врач соглашается: пусть Онисимов полежит в кабинете.

— Но сначала, Александр Леонтьевич, надо основательно проветрить. Свежего воздуха, пожалуйста, не бойтесь.

Антонина Ивановна встает, чтобы растворить форточку. Нет, он не позволит ей затрудняться этим. Живо поднявшись, Онисимов босиком шагает к форточке. И внезапно бледнеет, тьма застилает зрение, он замирает, тяжело опирается на стол. Несколько мгновений он отсутствует, взгляд мертвенно недвижен. Затем усилием воли Онисимов все же возвращается к действительности, погасшие глаза обретают блеск. Врач встревоженно смотрит на него.

— Вы же при мне только что потеряли сознание.

— Что вы? Ничего подобного.

Он опять улыбается насмешливо. И словно говорит: «Ну-ка, что ты со мной сделаешь?» Да, ничего сделать нельзя.

Антонина Ивановна наблюдает, как Варя стелет на диване, как Онисимов устраивается на этом неудобном жестком ложе. Вот выписаны и лекарства. С нелегким сердцем, с неспокойной совестью Антонина Ивановна прощается до завтра.

Она медленно идет через гостиную. Окна уже спрятаны под двойными занавесями, в полсвета горит люстра, неярко освещая полотняные чехлы на мебели, фигур-

ные пустые вазы. Обширная комната кажется пыльной, нежилой. Даже будто пахнет затхлостью.

В прихожей врач неожиданно встречает Елену Антоновну. Жена Онисимова только что вошла,— статная, даже, что называется, дородная, седая, в строгом сером пальто, в шапочке серого каракуля. Антонина Ивановна редко с ней общается, не застает ее дома, когда посещает Онисимова. Порой женщины разговаривают по телефону. На вопрос о здоровье, самочувствии мужа Елена Антоновна обычно отвечает: «Сейчас пойду узнаю». Странный ответ. Живут под одной крышей, в одной спальне и... «пойду узнаю».

Теперь от волнения и спешки Елена Антоновна чуть запыхалась:

— Антонина Ивановна, что с ним?

Видны ее хорошо сохранившиеся мелкие зубы. Удивительно, что при столь крупном сложении зубы могут быть такими мелкими.

— До крайности истощена нервная система,— отвечает врач.— Это отражается на всем. Сегодня он потерял сознание.

И словно с кем-то споря, словно стремясь кого-то убедить, Антонина Ивановна упрямо добавляет:

— Даже дважды.

Серые глаза жены смотрят встревоженно. Обе ладони стискивают руку врача.

— Неужели... Неужели так серьезно?

— Не знаю. У меня нет ясности. Считаю, что ему надо лечь в больницу для обследования. Он не согласен. Я сказала: «Напишу сама, что он нездоров». А он крикнул: «Не смейте».

— Да, этого нельзя.

Елена Антоновна торопливо снимает пальто, снимает шапочку. На лбу с правого края виднеется большое, с кулачок ребенка, захватившее и часть виска, синевато-розовое родимое пятно. Жена Онисимова могла бы его скрыть ухищрениями прически, но с юности этого не делала. И, как ни поразительно, мета не выглядит уродливой, даже чем-то гармонирует с постоянно серьезным, чуждым малейших черт кокетливости обликом Елены Антоновны.

Она повторяет:

— Нельзя.— Мгновение поколебавшись, понизив голос, объясняет:— Есть особые обстоятельства, Антонина Ивановна. Это могут расценить как нежелание ехать.

Причина сформулирована ясно, откровенно, убедительно. Антонина Ивановна обезоружена. И все же... Все же хотелось бы не таких логичных, более жарких, даже несвязных слов. Впрочем, вправе ли кто-либо требовать этого жара? Ведь у Елены Антоновны есть своя жизнь, своя большая деятельность. И примчалась же она сейчас с работы, вошла торопливо, расспрашивала с волнением, чуть ли не со слезой. Антонина Ивановна не решается ее осудить.

— До свидания. Пусть он полежит. Завтра зайду.

4

Уже на следующий день, не дав себе хотя бы суток передышки, Онисимов включился в новый круг обязанностей, занял небольшой кабинет в Министерстве иностранных дел. С ним туда же перебрался один из его давних помощников, крутолобый вдумчивый Макеев, обожавший Александра Леонтьевича, его острую манеру, пунктуальность, стиль беззаветного, неукоснительного исполнения директив, стиль, что, казалось, был у Онисимова в крови. Отличавшийся некоторой медлительностью — этим, бывало, вызывавший у Александра Леонтьевича вспышки раздраженности, которые участились в последние несколько лет,— Макеев с первых же слов, как только Онисимов предложил ему ехать с ним, просиял, согласился.

— Когда же, Александр Леонтьевич, двинемся?

— Будем ждать команды.

— Что же мне пока делать?

— Прежде всего обложись литературой и читай.

Так поступил и сам Онисимов. Вместо папок, заполненных докладными записками, отчетами о добыче нефти и угля, выжиге кокса, применении кислорода и природного газа в металлургических печах, форсированном развитии рудных баз, испытаниях твердого ракетного горючего, теперь на его письменный стол легли затребованные из архива дела по истории дипломатических, экономических, всяких иных связей России со странами Северной Европы. Александр Леонтьевич не удовлетворился материалами нынешнего века, для него были подняты и архивные подшивки прошлого столетия.

Вместо новинок, посвященных тем или иным вопросам развития промышленности, теперь под рукой Онисимова находились книги о стране, где ему предстояло

исполнять свою новую миссию. Тысячи, десятки тысяч печатных страниц заполнили его тесноватую служебную комнату — тоже новую! Кроме русской и переведенной на русский язык литературы, он проглатывал и издания на английском языке,— пройдя некогда два года практики на заводах Глазго и Бирмингема, Онисимов свободно читал и говорил по-английски.

Казалось удивительным, почти непостижимым, как человек в столь короткий срок, в три-четыре недели, еще остававшиеся до отъезда, может пропустить через себя, освоить эту бездну материала.

Ничего, он выдюжит. С ним нечто подобное уже бывало. Его когда-то — это случилось вскоре после смерти Серго Орджоникидзе — перебросили в танковую промышленность, поручили возглавлять эту новую для него отрасль, которую следовало расширить, реконструировать, сделать поистине мощной. Он вот так же мобилизовал специальную литературу, погрузился в нее, зарядил свой неутомимый мозг, умевший легко выжать квинтэссенцию и вместе с тем запечатлевавший, словно на волшебной фотопленке, неисчислимое множество подробностей. Уже месяц спустя он разговаривал как специалист со знатоками танкового дела. И отнюдь не стеснялся обнаруживать на людях пробелы в своем багаже, расспрашивал, умел слушать, продолжал учиться и учиться, руководя танковым Главком.

И когда его вновь вызвали в Кремль,— разве он когда-нибудь забудет этот осенний вечер, этот год, 1938-й, аресты, уже вырвавшие одного за другим почти всех, с кем работал Серго,— когда Онисимова вызвали в Кремль и он, начальник крупнейшего Главка, кандидат в члены ЦК, избранный на Семнадцатом съезде, миновав приемную, в которой, будто поджидая его, стояли и сидели люди в форме, отворил дверь и увидел спину Сталина, прохаживающегося в своих мягких сапогах...

Долой, вон из головы эти воспоминания, эти мысли! Неужели он, Онисимов, не справится с собой? Неужели не заставит свой испытанный, надежный мозг служить безотказно, как и прежде? Неправда! Внутренние тормоза еще отлично действуют. Легкое усилие воли — и устранены всяческие отвлечения. Вновь вниманием Онисимова безраздельно овладевают Тишландия и ее соседи.

Режим его дня не изменился. Пусть никому не взбредет на ум, что сегодняшний Александр Леонтьевич уже

не тот, не прежний Онисимов. Как и десять, как и двадцать лет назад, он и ныне работал, словно точнейшая машина. Входил в кабинет ровно в девять утра, неизменно до блеска выбритый, садился в кресло, тоже твердое, как и на предыдущем его поприще, доставал сигареты «Друг», надевал очки и читал, читал.

Для записей-выжимок ему хватило двух общих тетрадей. Мелким каллиграфическим почерком, достойным демонстрирования,— столь ясна, завершена была каждая буковка,— он заносил в одну исторические сведения, справки о политических и общественных группировках в Северной Европе, ее выдающихся деятелях. Другая тетрадь была отдана экономике государств, расположенных в этом углу континента.

Верный правилам, что издавна стали неотъемлемой характерной чертой школы руководителей, к которой он принадлежал, Александр Леонтьевич и здесь не удовлетворился лишь бумагой — документами, книгами, статьями. Он приглашал к себе в свою временную служебную обитель, затерявшуюся в коридорах МИДа, ученых, чьей специальностью являлась страна его будущего аккредитования, а также попросту наблюдательных, умных людей, недавно побывавших там. Допытывался, входил в разные тонкости, вытягивал, выкачивал знания о земле, куда ему предстояло ступить.

Случались минуты, когда он с тайным удовлетворением отмечал, что память, его необыкновенная память, которая в последние годы стала как будто немного сдавать, опять превосходно ему служит. Да разбуди его ночью, спроси о чистенькой, чинной стране, и мгновенно всплывут сотни имен и названий, точные цифры и даты.

После служебного дня Онисимов забирал книги домой. И снова работал, не позволяя себе предаваться отвлекающим навязчивым мыслям. Ложился он поздно, в четвертом часу утра, уже не пытаясь разделаться с этой застарелой привычкой.

Ложился, но подолгу не засыпал. В темноте выползали, забирали волю думы, которые днем удавалось отогнать.

5

Однажды в бессонный предутренний час Александр Леонтьевич испытал ужас.

Было так. Глядя сквозь полуопущенные веки во мглу

спальни, Онисимов лежал, томимый неотвязными мыслями о том, как могло случиться, что он вынужден оставить страстно любимое дело. Захотелось опять их отмести. Довольно мучить себя этим. Для таких размышлений у него — он иронически усмехнулся в темноте,— у него, наверное, хватит досуга в Тишландии. Он велел себе думать о ней, решил наизусть восстановить строки, которые днем занес в свои тетради. И вдруг память отказала. В уме не возникло, не всплыло ровным счетом ничего. Куда-то канули не только вчерашние или позавчерашние заметки, он забыл, начисто забыл даты, имена, экономические показатели, все, что вычитал, узнал об изучаемых им странах.

Страшный провал памяти потряс Александра Леонтьевича. Рукой он провел по вдруг увлажнившимся жестким волосам. Надо успокоиться, уцепиться хоть за что-нибудь, за одну какую-либо ниточку. Удалось воспроизвести самое близкое: цифры выплавки черного металла на заводах Тишландии. Ну, а дальше? Он ожидал, что все выпавшее возвратится в один миг, как при взблеске молнии. Нет, он лишь медленно, медленно припоминал.

И не выдержал, вскочил. Ровное дыхание жены доносилось с широкой соседней постели. Босой, он неслышно пошел в кабинет, повернул там выключатель, бросился к письменному столу, к своим тетрадям, пляшущими пальцами раскрыл страницу наугад. И только тут страшные минуты кончились. Явилось желанное мгновенное прозрение. Теперь он мог не смотреть в записи, они ему разом предстали, опять будто оттиснутые на чудесной фотопленке. Закурив, он еще листал, листал, проверяя, экзаменуя себя. Потом замер у стола.

Так Онисимов и стоял — босой в белом ночном одеянии. Незастегнутый ворот рубашки открывал грудь, подернутую чуть приметной нездоровой желтизной. Большая голова была, как всегда, втиснута в плечи.

Что-же с ним только что стряслось? Чем объяснить эту внезапную утрату памяти? Неужели ему столь неинтересна его новая работа? Неужели, исполняя долг, он лишь насилует себя? Где же его страсть, всегда отдаваемая делу?

Ведь назначенный когда-то начальником танкового Главка, брошенный в промышленность, ему ранее не знакомую, сумел же он увлечься, отмести угнетение. Нет, не отмести, но одолеть. Оно, конечно, гнездилось в душе, изо дня в день возрождалось с каждым новым из-

вестием об арестах, о почти еженощных вторжениях в квартиры огромного многокорпусного дома, называемого «Дом правительства», где обитал и он, тоже готовый вот-вот разделить участь товарищей. Но Онисимова не трогали. Все его заместители в Главном управлении проката — управлении, которым он ведал при жизни Серго,— были арестованы, а он по-прежнему свободно ездил в машине по улицам Москвы на службу и домой.

Свободно ли? Элементарная логика требовала умозаключения: если виноваты его ближайшие сотрудники, якобы вредившие, значит, виновен и он.

И Онисимов бросил судьбе вызов. Обратился с письмом к Сталину, написал, что, будучи обязан, как требует партия, знать дело до последних мелочей, он, Онисимов, несет полную ответственность за каждое распоряжение своих подчиненных, ручается головой и партбилетом, что вредительства в Главпрокате не было. И просит дать ему возможность доказать это любому, по усмотрению Сталина, партийному или судебному расследованию.

Письмо попало в руки Сталину — это само по себе было особой, нелегкой задачей. Затем Онисимова вызывали на допросы, на очные ставки. Потянулись ночи и дни ожидания, почти невыносимые. Он в это время стал курить, пристрастился к табаку. И все же даже тогда работал со страстью, с азартом, заглушая угнетение, тоску. А потом...

6

Потом его вызвали в Кремль.

Уже присев, растирая остывшей подошвой другую ногу, вовсе похолодевшую, он вспоминает тот вечер.

...Миновав приемную, в которой, будто поджидая его, стояли и сидели люди в форме,— почему, почему сегодня здесь столь многочисленна охрана?— он вошел в небольшой зал, увидел спину Сталина. Прохаживаясь, Сталин не обернулся на звук отворенной и вновь прикрытой двери. Он еще сохранил непритязательную одежду фронтовика, грубоватого солдата — его военного покроя брюки, заправленные в сапоги, свисали складками на голенища,— но уже приобрел будто нарочито неторопливую повадку, медлительность шага.

Сталин был в зале не один. Там находился еще человек. Вальяжный, что называется, мужчина, он сиял круглыми, без оправы, стеклами очков, плавной выпукло-

стью лба, зачесанными на косой пробор светлыми волосами, маскировавшими раннюю, еще небольшую лысину. Это был Берия. Стоя у длинного стола, одетый в штатское, он посматривал на Онисимова с улыбкой, затаившейся в уголках рта. Александр Леонтьевич похолодел от такой улыбки.

Много лет назад этот человек, тогда скромный служащий в Баку, прошел, как говорилось, проверку у Онисимова, который, еще оставаясь политработником Одиннадцатой армии, был в то же время и председателем одной из комиссий, занимавшихся перерегистрацией членов партии в Баку. Предваряя вопросы Онисимова, Берия выразил желание перейти на более трудную, более опасную работу — в Особый отдел армии или в Азербайджанскую ЧК. Пойманный на одном-другом противоречии, на вранье, он изворачивался, выскальзывал. Товарищ Саша — так в те времена называли Онисимова — пришел к убеждению: «Подозрительный тип. Чувствую, авантюрист». И не выдал ему партбилета. В следующей инстанции тому удалось восстановиться.

И пока что этот блистающий бывший бакинец лишь преуспевал. Встреча со Сталиным в начале тридцатых годов стала решающим рубежом в его фантастической карьере. Сталин, несомненно, был знатоком людей. Вынашивая замыслы, о которых знал только он один, Сталин своим тонким чутьем — слово «проникновенность» тут вряд ли подойдет,— по-видимому, быстро, с первых же встреч, определил: вот человек, который ему нужен.

Теперь грузин-бакинец ведал огромной машиной арестов, допросов, расстрелов, тюрем, лагерей. С улыбкой он острыми зрачками сквозь очки поглядывал на Онисимова.

Что же, все ясно. Будет последний допрос, что учинит сам Сталин. И не со своим шофером, не в своем автомобиле он, Онисимов, уедет отсюда. Не зря он, нервно собираясь, проверяя, на месте ли партийный билет, удостоверения, пропуск в Кремль, записная книжка, позвонил жене и, не сомневаясь, что телефон подключен еще в некую тайную сеть, лаконически сказал: «Вызывают. Еду. Будь готова ко всему».

Наконец повернувшись, Сталин все той же неспешной походкой зашагал обратно. Тяжеловатый, несколько исподлобья взгляд смерил Онисимова, прошелся по его безупречно начищенным ботинкам, темному в полоску пиджаку, подкрахмаленному белому воротничку, обле-

гавшему короткую шею, что поддерживала большую голову, уперся в зеленоватые глаза Александра Леонтьевича.

Онисимов не отвел взора. Сталин продолжал медленно идти. Ничто в ту минуту не изменилось в его неподвижном, словно бы сонном лице, известном по множеству полотен и фотографий, на которых, однако, никто не смел передать крупных щербин, заметных на щеках и под слегка обвисшими, будто тяжелыми, исчерна-рыжеватыми усами. Отдельные седые нити в поредевших усах и на голове позволяли видеть, сколь редкостно толстым — в толщину конского — был его волос. Некоторое время молчание не нарушалось.

— Здравствуйте,— негромко молвил Сталин.— Проходите ближе.

Сесть не предложил.

Еще раз прошагав к стене и назад, он остановился перед Александром Леонтьевичем, начал спрашивать. Вопросы относились к состоянию и перспективам танковой промышленности. Теперь лицо Сталина уже не было застывшим. Зрачки, еще минуту назад тускловатые, вдруг ожили. Онисимов отвечал. Нервное напряжение сказалось на голосовых связках: он говорил хрипло. Однако эта же взвинченность стала и собранностью, обострила ум. Осипший начальник танкового главка не путался, не запинался, давал точные, уверенные объяснения. Ему не понадобилось прибегать к записной книжке, чтобы характеризовать положение на том или ином заводе, даже в цехе, приводить результаты испытаний в лабораториях и на полигонах, называть цифры. Он раскрывал Сталину трудности, докладывал о работе над еще не найденными, не дающимися конструкторам и технологам решениями. А тот еще и еще методично допрашивал, сверлил и сверлил именно эти больные места.

Крепление гусеничного башмака! И проклятые масляные дифференциалы! Как истерзали они Онисимова, как измучились с ними на заводах! Измучились, а искомой эффективности все же не достигли! Сталин вытащил и это... Он забирался в самую тайная тайных производства. Онисимов четко докладывал, не выгораживая себя.

Меж тем из боковой двери появился нарком обороны, здесь какой-то тихий, неприметный, хотя на гимнастерке красовались ордена. Следом вошли и еще члены Политбюро. Некоторые держались свободнее, отодвигали с шумом стулья. Седенький Калинин прислонился к выступу

белой кафельной печи, очевидно, теплой, и грелся, сунув за спину ладони. Все молча слушали дознание, что не прекращал Сталин.

Зачем, для чего они сюда собрались? Невольно Онисимов снова подумал об угрожавшей ему участи. Наверное, сначала постановлением Политбюро его исключат из партии и лишь затем арестуют. Да, вон примостилась у стола стенографистка, достала карандаши, приготовила тетрадь.

А Сталин обнажал, верней, заставлял Онисимова обнажать слабости и незадачи советской танковой промышленности. Прессовое хозяйство. Коробка скоростей. Отжиг серого чугуна. Броня. Способы испытаний. Почему результаты неудовлетворительны? Каковы соответствующие показатели на заводах Германии и Америки?

Несомненно, кто-то основательно информировал Сталина. Кто же? По всей вероятности, один из таинственных отделов ведомства, отданного бывшему бакинцу, которое, будто всеохватывающий глаз, проникало всюду. Что же, Онисимов должен признать: справка была дельной. А Сталин внимательно, очень внимательно ее изучил.

Выспрашивая, Сталин не тронул вопросов, имевших касательство к письму Онисимова, к его прежней работе в Главпрокате. В мыслях Онисимов тревожно искал ответа: почему же? Впрочем, понятно,— зачем задевать еще и прошлое? Он же сам развернул здесь такую картину технических изъянов, что этого с лихвой достаточно для обвинения во вредительстве. Или, как тогда говорилось, во вражеской деятельности. О достигнутом, завоеванном Сталин не спрашивал. Трудовые заслуги, производственные успехи танкостроителей — немалые, как мог бы сообщить Онисимов,— остались не упомянуты: дисциплина, ставшая второй натурой Онисимова, повелела ему отвечать лишь на вопросы.

Из кармана брюк Сталин вынул трубку, подошел к столу, выколотил пепел в мраморную пепельницу — в тишине гулко отдался этот стук,— повозился с табаком. Движения опять были медлительны, или лучше сказать, медлительно властны. Так мог держаться только тот, кто знал, что никто его не поторопит, не перебьет его молчания.

Задымила знаменитая сталинская трубка. Тотчас закурили и некоторые из собравшихся. Онисимов, разумеется, и помыслить не смел о сигарете.

Сталин вновь зашагал.

— Вопрос, думается, ясен,— наконец произнес он.— Что же, товарищи, будем решать?

Не ожидая чьей-либо реплики, он продолжал:

— Имеется следующее предложение...

Мышцы грудной клетки Онисимова окаменели, дыхание причиняло боль. Мучительно тянуло бросить взгляд на Берию, но победила выдержка — Онисимов на него не посмотрел, не покосился. А Сталин, помедлив, повторил:

— Имеется следующее предложение. Во-первых, преобразовать Главное управление танковой промышленности в Народный комиссариат танкостроения... Возражений нет?

И опять выдержал паузу.

— Второе... Назначить народным комиссаром танкостроения... Товарищи, какие будут кандидатуры? Пожалуй, не ошибемся, если утвердим товарища Онисимова. Другие мнения есть?

И заключил:

— Народным комиссаром танкостроения назначить товарища Онисимова Александра Леонтьевича. Возражений нет?

Онисимов навсегда запомнил этот миг. Самообладание ему не изменило. Лишь щеки похолодели. Наверное, он слегка побледнел.

Только теперь Сталин обратился к нему:

— Что же, товарищ Онисимов, вы стоите? Садитесь. Будем решать дальше.

И опять, не ожидая чьих-либо слов, продолжал:

— Третье... Вменить в обязанность...

Александр Леонтьевич сел, сунул в рот сигарету. Еще не верилось: значит, это уже произошло? Он вошел сюда почти арестантом, а выйдет народным комиссаром? Но ведь... Неужели Сталина не поспешили осведомить? Неужели ему неизвестно? Придвинув один из лежавших на столе блокнотов, Онисимов разборчиво своим каллиграфическим почерком вывел: «Товарищ Сталин. Мой брат Иван Назаров арестован как...»

На мгновение перо Александра Леонтьевича приостановилось. Не хотелось собственной рукой клеймить Ваню, своего младшего брата от второго замужества матери, брата, которого давным-давно он, юный Саша, увлек за собою, втянул в партию, а ныне, полгода назад, взятого в тюрьму прямо с вокзала, когда Ваня, секретарь обкома, приехал по вызову в Москву.

Но Александр Леонтьевич тут же подавил сомнения. Перо снова заскользило: «...арестован как враг народа. Считаю нужным сообщить об этом Вам». Подписавшись, аккуратно промокнув непросохшие чернила, он еще минуту выждал.

Сталин продолжал формулировать:

— Четвертое... Предложить товарищу Онисимову в десятидневный срок...

Онисимов встал и передал Сталину бумагу. Тот недовольно покосился, развернул, прочел записку.

7

...Сейчас Онисимов, неодетый, босой, сидит среди ночи на жестком диване. На столе раскрыта тетрадь с записями о Северной Европе. В комнате тепло, не дует от окна, скрытого под складками длинной плотной занавеси. Но желтоватые, словно неживые ступни коченеют,— уже несколько лет он вынужден их кутать. Вот и теперь Александр Леонтьевич тянется за тяжелым ворсистым пледом, свернутым возле диванного валика, и укрывает, обертывает шерстью больные ступни.

В нижнем ящике стола хранится один заветный листок. Онисимов выдвигает этот ящик, достает переплетенную в искусственную кожу папку, быть может, впервые замечает, как потускнели чернила, но все же ясна каждая буковка, выписанная тонкими пальцами Александра Леонтьевича. «Товарищ Сталин. Мой брат Иван Назаров...» Наискось листа размашисто брошены несколько строк. Почерк и подпись известны по множеству факсимиле. «Тов. Онисимов. Числил Вас и числю среди своих друзей. Верил Вам и верю. А о Назарове не вспоминайте. Бог с ним. И. Сталин».

Ваня так и погиб в заключении. Зачахла, умерла в лагере и его жена — запальчивая, пленявшая обаянием непосредственности южанка Лиза. Оба реабилитированы посмертно. Где затерялись их могилы, неизвестно и поныне. Темные, будто сочные вишни, Лизины глаза сейчас видятся Онисимову настороженными, внезапно потерявшими блеск, словно в предчувствии неотвратимого близкого несчастья: таким был ее взгляд, когда она и Ваня в конце тридцать седьмого последний раз сидели у него, Онисимова, вот здесь, в этом прокуренном кабинете. Нет, тогда Онисимов еще не курил. Так и придется уехать в чужие края, ничего толком не узнав о брате, не имея

даже его фотографии. Теперь Онисимову жаль, что он уничтожил даже детскую — на той карточке Ване, уставившемуся в объектив, было не более десяти.

...«Верил Вам и верю». Эти слова Сталина были щитом, броней, панацеей Онисимова. Или талисманом, как однажды скорее всерьез, нежели в шутку, сказала жена Александра Леонтьевича. Свято хранимый листок, которого коснулось твердое перо Сталина, столь много значил в судьбе Онисимова, что даже Берия, от улыбки которого по-прежнему становилось холодно, уже не был властен над его участью.

Онисимов поднимает голову, смотрит на висящий в простенке, большой, скромно окантованный снимок, единственный в его кабинете. Губы под жесткими усами Сталина спокойно сомкнуты, а Серго улыбается, он счастлив, полон жизни, явственно обозначилась ямка на его подбородке, задорно распушились острые усы. Да, были времена, когда, лишь завидя Сталина или хотя бы разговаривая с ним по телефону, Серго светлел лицом, озарялся влюбленной улыбкой. Александр Леонтьевич это мог бы засвидетельствовать. А в конце своей жизни Серго, вдруг словно потерявший неизменную раскрытость души, но и не умевший носить маску, притворяться, уже по-иному — многие, кто с ним общался, начали это подмечать,— по-иному относился к Сталину, неохотно и невесело ему звонил. Александр Леонтьевич и не подозревал, что Серго пустил себе пулю в сердце. Это была одна из самых тщательно скрываемых тайн, пока на Двадцатом съезде...

Онисимов тогда сидел во втором ряду среди других делегатов съезда — непроницаемый, невозмутимый, каким его привыкли видеть. Необычайная впечатлительность сочеталась в нем с необычайной сокрытостью душевных борений. Однако в ту минуту, когда он услышал, что Серго сам покончил с собой, вдруг будто кто-то защекотал веки Онисимова. Он ощутил: по щекам поползли слезы. Пораженный — ведь ему с детских лет не случалось плакать,— он не сразу вытащил платок, несколько капель скатились со щек. Давний товарищ, сидевший рядом, взглянул на Александра Леонтьевича. Взглянул и едва поверил: железный Онисимов, этот человек-машина, знает слезы.

В одиночестве, в тоске Онисимов со своего жесткого дивана все еще смотрел на потерявший силу талисман.

Лишь за полторы недели до смерти Серго Александр Леонтьевич в последний раз виделся, разговаривал с ним. И тогда же в доме Орджоникидзе он встретился с тем, кто снят возле Серго вот на этой старой фотографии под стеклом, с тем, кто впоследствии написал эти разборчивые строки: «Тов. Онисимов. Верил Вам и верю».

Почему же Сталин выделил Александра Леонтьевича? Оттого ли, что Онисимов не знал колебаний в борьбе со всяческими оппозициями? Или из-за деловых качеств Онисимова, действительно недюжинных?

Нет, на весы легло и еще кое-что. Один миг... Миг, решивший, возможно, участь Онисимова.

Да, это было его последнее свидание с Орджоникидзе. Онисимов в те дни, в феврале тридцать седьмого, только что вернулся из поездки на заводы. По телефону он доложил Серго о возвращении. Серго сказал:

— Приходи ко мне вечером домой. В восемь часов тебе удобно?

Орджоникидзе неизменно проявлял такого рода деликатность в отношениях с подчиненными. Пунктуальный Онисимов прибыл минута в минуту. Серго встретил его в коридоре, крепко пожал пухловатой пятерней небольшую руку Онисимова. И через заставленный книжными шкафами кабинет, пожалуй, несколько нежилой,— подарки, которыми дорожил Серго, плашки первого чугуна Магнитки и Кузнецка, первой меди Балхаша, шлифы возведенных заводов заполнили чуть ли не всю площадь обширного, крытого черным лаком стола,— повел Александра Леонтьевича в свой уютный малый кабинет. Оба сели на диван.

— Ну, товарищ Саша...

Серго почему-то назвал его по имени, точно так же, как звал давным-давно в армии, когда начальник политотдела дивизии Онисимов казался совсем мальчиком, да и Орджоникидзе, член Реввоенсовета Кавказского фронта, не знавал еще ни седины, ни грузноватости.

— Ну, товарищ Саша, где побывал?

Онисимов принялся рассказывать. Зинаида Гавриловна, жена Серго, принесла чай и печенье. Она не вмешалась в разговор, лишь поздоровалась с гостем, но

Онисимов поймал ее заботливый, чуть обеспокоенный взгляд, брошенный на мужа.

Серго действительно выглядел неважно, был бледноват, под широкими глазами наметились отеки, возможно, после сердечного припадка, случившегося недавно ночью в наркомате,— Онисимов об этом уже слышал,— но сами глаза не потеряли блеска, искрились и вниманием к тому, о чем рассказывал Онисимов, и трогающей ласковостью.

Серго любил порасспросить о людях. Он и тогда — эти последние слова, последние вопросы, что Онисимов слышал от него, память неумолимо восстанавливала,— он и тогда живо спросил об одном инженере, ровеснике и бывшем сокурснике Александра Леонтьевича.

— Пришлось его вздуть,— сказал Онисимов.— За самовольство. Нарушал инструкцию. У немцев за такие дела бьют по карману: плати штраф.

Серго проговорил:

— Ах, ты немец, ты мой немец...

Вдруг он вскинул голову. Из большого кабинета приглушенно донесся голос Зинаиды Гавриловны. И еще чей-то...

Серго быстро поднялся:

— Извини, пожалуйста.

И покинул комнату. Минуту-другую Онисимов просидел один, не прислушиваясь к голосам за дверью. Но вот Серго заговорил громко, возбужденно. Его собеседник отвечал спокойно, даже, пожалуй, с нарочитой медлительностью. Неужели Сталин? Разговор шел на грузинском языке. Онисимов ни слова не знал по-грузински и, к счастью, не мог оказаться в роли подслушивающего. Но все же надо было немедленно уйти, разговор за стеной становился как будто все более накаленным. Как уйти? Выход отсюда лишь через большой кабинет. Александр Леонтьевич встал, шагнул через порог.

Серго продолжал горячо говорить, почти кричал. Его бледность сменилась багровым, с нездоровой просинью румянцем. Он потрясал обеими руками, в чем-то убеждая и упрекая Сталина. А тот в неизменном костюме солдата стоял, сложив на животе руки.

Онисимов хотел молча пройти, но Сталин его остановил:

— Здравствуйте, товарищ Онисимов. Вам, кажется, довелось слышать, как мы тут беседуем?

— Простите, я не мог знать...

— Что же, бывает... Но с кем вы все же согласны? С товарищем Серго или со мной?

— Товарищ Сталин, я ни слова не понимаю по-грузински.

Сталин пропустил мимо ушей эту фразу, словно она и не была сказана. Тяжело глядя из-под низкого лба на Онисимова, нисколько не повысив голоса, он еще медленнее повторил:

— Так с кем же вы все-таки согласны? С ним?— Сталин выдержал паузу.— Или со мной?

Наступил миг, тот самый миг, который потом лег на весы. Еще раз взглянуть на Серго Александр Леонтьевич не посмел. Какая-то сила, подобная инстинкту, действовавшая быстрей мысли, принудила его... И он, Онисимов, не колеблясь, сказал: «С вами, Иосиф Виссарионович».

Нет, к чему терзать себя? Зачем эти воспоминания, эти думы? Впереди утро, работа. Онисимов смотрит на две общие тетради. Он заставит себя вложить душу и страсть в это свое новое дело.

9

Проникая по праву писателя во внутренний мир Онисимова, куда Александр Леонтьевич почти никого не допускал, автор, думается, не изменяет исследовательскому строю этой книги. Воображение, догадка опираются и тут на верные источники, порою на документы, что носят иазвание человеческих. О происхождении, характере одного из таких документов, переданных мне, я с разрешения читателя скажу несколько позже: сама повесть подведет нас к этому.

А теперь следует исчерпать тему «предотъездные дни Онисимова». Сообщу известные мне последние подробности, которые сюда относятся.

В рабочее уединение Онисимова, в его временное пристанище на шестом этаже МИДа, нередко врывались телефонные звонки. Звонили давние сподвижники Александра Леонтьевича: и тугодум Шехтель — начальник Управления изобретательства и рационализации, и министр стали, вечно румяный Цихоня, и начальник Главруды длинный Стремянников, да и многие другие. Сколько раз Онисимову когда-то приходилось говорить им резкости, отчитывать, подхлестывать и наедине и на совещаниях, а они, гляди-ка, не таили обиду, не забыли его,

своего ныне оставленного строгого шефа, выказывали ему внимание, подавали о себе весть по телефону.

Готовящийся к отъезду Онисимов живо вступал в эти телефонные беседы. Услышав чей-либо знакомый голос, он снимал очки, садился поудобнее — куда-то отодвигалась, затуманивалась очередная страница все о той же Северной Европе,— легко переключался в свою прежнюю любимую, совершенно особенную сферу штабной работы в индустрии, вновь как бы пребывал в своей стихии. Ему рассказывали о новостях, советовались с ним. Он интересовался тонкостями дела, опять по своему правилу вникал в технологию, в организацию производства, в заводскую практику. Не менее охотно он углублялся, если разговор этак поворачивался, и в вопросы междуведомственных отношений, ронял как бы невзначай словечко о том, какой требуется ход, чтобы скорее получить или, что называется, *пробить* нужное постановление. Тут его советы бывали особо проницательны, метки.

По тону собеседников, по другим признакам Онисимов с удовольствием угадывал: они его числят в строю, считают, что он еще вернется в индустрию. Он и сам этому верил. Разговоры с товарищами были для него словно живой водой, он возбуждался, неожиданно становился словоохотливым, шутил.

Иногда и он позванивал своим бывшим подчиненным.

— Ну, как вы там живете? Чем заняты? Что сегодня у вас самое трудное? Как с этим справляетесь?

И опять слушал, советовал, опять будто вдыхал воздух индустриальных штабов и сернистый газок металлургических печей.

Как-то он снова соединился по телефону с министром тяжелого машиностроения и, поговорив о том о сем, спросил:

— Как поживают наши три восклицательных знака?

— Вы это о чем?— Видимо, далеко не единственное дело было у министра отмечено восклицательными знаками. Однако он тотчас сообразил:— Воздуходувка для Кураковки? Начали, Александр Леонтьевич, контрольную сборку. Кстати, ваш Петр Головня вытрясает мне душу телеграммами, просит разрешения послать своих людей на сборку, чтобы присматривались и уже осваивали. Не знаю. Наверное, будут пока только мешать.

— Опять двадцать пять.— Онисимов любил эту приговорочку.— Пожалуйста, сделай, как он просит.

— Есть, Александр Леонтьевич. Записываю.

— Обойдешься без восклицательного знака?

— Продиктую сейчас же телеграмму. Вот уже и секретарь ко мне шагает.

— Фу-ты ну-ты, какая оперативность.

— Было у кого учиться, Александр Леонтьевич.

Подобные признания смягчали душевную боль.

Однако чем ближе придвигался день отъезда, тем замкнутей, мрачней становился Онисимов. Иногда он пошучивал, острил, но глаза были невеселы.

Получая впервые заработную плату в МИДе, Онисимов раздражился,— ему была выписана дополнительная сумма за знание иностранного языка. Он издавна, еще будучи начальником главка и затем министром, ненавидел всякие подобные надбавки, не допускал ни для себя, ни для своего аппарата никакого добавочного вознаграждения. Александр Леонтьевич остался себе верен и на новой службе: не принял деньги, которые кассир намеревался ему вручить сверх жалованья. Всякие уговоры желчно отстранил. Английский он знает едва удовлетворительно, даже скорей слабо, и вобще в каких-либо сомнительных надбавках не нуждался, назначенный ему оклад и без того достаточно высок.

Готовый, лишь последует команда, тотчас улететь, он счел необходимым понаведаться к зубному врачу. Крепкие зубы Онисимова, некогда миндально-белые, приобретшие из-за многолетнего курения кремовый отлив, нуждались в двух-трех пломбочках и были приведены в полный порядок.

Однако медицинское обследование он так и не прошел. Рентгеноскопия грудной клетки и желудка, клинический анализ крови, электрокардиограмма — всем этим Онисимов пренебрег. Удивительное дело: любой советский гражданин не мог бы получить заграничный паспорт, не представив справку о здоровье, а у советского посла ее не спрашивали. Назначение состоялось — эта формула заменила всяческие справки.

10

Отличавшийся неодолимым пристрастием к чистоте, постоянно появлявшийся в свежеблиставшем белом накрахмаленном воротничке, верный таким воротничкам и в командировках среди заводской пыли и окалины, менявший их там по два-три раза на дню, он имел и еще схожую слабость: любил быть безукоризненно подстри-

женным. Из года в год, с тех пор как он возглавил Комитет металлургии и топлива, Онисимов стригся в парикмахерской, расположенной в здании Совета Министров, пользовался услугами одного степенного пожилого мастера. Следовало и теперь, накануне отъезда, подставить шевелюру ножницам.

Сидя в своем новом кабинете, пробегая очередной труд о Северной Европе, он провел пальцами по слегка заросшему затылку. Конечно, надобно заехать в парикмахерскую. Но не хотелось входить в здание, где располагалась прежняя его резиденция, подниматься по знакомым гранитным ступеням уже не председателем Государственного комитета, а человеком, которому пришлось уйти отсюда, уйти от руководства индустрией. Может быть, постричься в другой парикмахерской? Онисимов с досадой поймал себя на таких колебаниях, на недостойном, как он считал, малодушии.

Девизом его жизни была безупречность. Всегда поступать так, чтобы сам себя не мог бы ни в чем упрекнуть. А уж замечание, высказанное сверху, даже малейшее, мягкое, причиняло ему жестокую боль.

Однажды он докладывал заместителю Председателя Совета Министров СССР Тевосяну об исполнении ряда государственых заданий. Каждый месяц в установленный день и час Александр Леонтьевич входил в кабинет Тевосяна, расположенный в здании Советского правительства в Кремле, здании, над которым постоянно вьется красный флаг. Они, Тевосян и Онисимов, были металлургами — один сталеплавильщиком, другой прокатчиком, когда-то оба принадлежали к близким соработникам Орджоникидзе и, как и Акопов, Лихачев и еще несколько питомцев Серго, остались нетронутыми в лихую годину арестов. Давние товарищеские отношения не означали, однако, что Онисимов мог ждать от Тевосяна какой-либо, хотя бы ничтожной поблажки. Малорослый, смуглый, с глянцевито поблескивающей, черной, как тушь, шевелюрой и такими же угольно-черными, небольшими, характерными для армянина усами, заместитель Председателя Совета Министров был столь же строг с Онисимовым, как и с любым подчиненным. Всю жизнь он звался Иваном Товадросовичем, но Сталин, подписывая указ о награждении Тевосяна званием Героя Социалистического Труда, исправил его отчество на «Федорович», превратив таким образом — уверенный, что и сие ему подвластно,— покойного Товадроса, бакинского ремесленника, в Федора.

Обычно Александр Леонтьевич с честью выдерживал ежемесячную немилосердную проверку Тевосяна, не получал замечаний, оставался, как всегда, безупречным.

Так было и в тот раз. Покончив с деловым разговором, Тевосян откинулся в кресле, дружелюбно улыбнулся и спросил:

— Роман «Далеко от Москвы» читал?

— Нет, Иван Федорович, не пришлось.

— Не пришлось? Напрасно. Хорошая книга.

Онисимов был больно задет таким, казалось бы, совсем незначительным, мимолетным «напрасно», распорядился, вернувшись к себе в Охотный ряд, немедленно достать роман и, выключаясь из оперативной текущей работы, прочитал его в две ночи.

Щепетильно требовательный, Александр Леонтьевич не прощал себе ни одной неточности. Признаться, он и поныне, вспоминая иногда другую, тоже не столь давнюю минуту, мысленно постанывает.

Было так. Как-то ему позвонил Сталин:

— Хочу послушать, товарищ Онисимов, ваши соображения о новой металлургической базе в Восточной Сибири.

— Когда, товарищ Сталин, я обязан доложить?

— Ориентировочный план у вас составлен?

Онисимов предпочел скромно ответить:

— Еще не план. Некоторые наметки.

— Ну, наметки так наметки. Через неделю, скажем, вы будете готовы?

С увлечением, с напором, словно бы утроенным,— Александр Леонтьевич неизменно обретал этакое белое каление, когда получал личное задание Сталина,— стянув силы и проектных центров, и науки, и своего аппарата, он, говоря языком министерств и комитетов, готовил вопрос. Были подытожены и в ночных бдениях и в дневные часы различные, порой требовавшие ряда лет расчеты, исследования, проекты. Занося необходимые сведения-выжимки в записную книжку, непрестанно продумывая, с чем он придет к Сталину, строя в уме доклад, Онисимов придал ясность и блеск — свойственный ему особенный блеск деловитости — обоснованиям будущего восточносибирской металлургии.

Подошел назначенный Сталиным вечер. Александр Леонтьевич четко и нервно собирался. Он вез с собой некоторые справки и заключения, переписанные на лучшей, отборного сорта бумаге. Ни единой помарки в таких

документах, которые шли в Совет Министров и тем более непосредственно Сталину, Александр Леонтьевич не допускал. Малейшая ошибка машинистки, описка, и он нетерпимо возвращал бумагу в машинописное бюро, чтобы ее перестукали заново. Так прошлой ночью три-четыре цифры были исправлены пером начальника финансового отдела. Уже следовало ехать, уже за Александром Леонтьевичем зашел один из его заместителей, будто ничуть не взбудораженный, но все же насупленный старик академик Челышев, тоже вызванный к Сталину, а сводная смета — этот важнейший документ — еще не была принесена. В столь волнующий день нервничали и машинистки, портили опечатками лист за листом. Наконец, со свежими, только что из-под валика страницами примчался запыхавшийся, с красной повлажневшей лысиной начфин.

— Александр Леонтьевич, пожалуйста!

— Вы все проверили? Лично вы сами?

— Каждую цифирку, Александр Леонтьевич.

Онисимов метнул взгляд на стенные часы, времени почти не оставалось, однако он крикнул:

— Дайте счеты. Посчитаю.

Присев в своей министерской приемной к столу, поглядывая в смету, он стал пересчитывать. Лишь щелкали, летали с поразительной быстротой костяшки счетов. Затратив на это несколько минут, убедившись, что итог сошелся, он не без удовлетворения произнес:

— Теперь в ажуре.

И скрепил смету инициалами. И бережно присоединил ее к немногим бумагам, которые вез с собой в новехонькой кожаной папке. И уже в машине, держа папку на коленях, еще переживая последние минуты сборов, заключил, обращаясь к сидевшему рядом Челышеву:

— Знают мое правило: доверился — погиб!

Из-под лохматых бровей Челышев на миг показал маленькие глазки:

— А я вот доверяюсь и, как видите, ни черта не погибаю.

Полчаса спустя Онисимов уже стоял у карты, распластавшейся до потолка, и, порой пользуясь указкой, сжато, точными сухими фразами, приводя наизусть нужные цифры, излагал Сталину план возведения металлургических комбинатов на Восточно-Сибирском плоскогорье.

Сталин сохранил прежнюю привычку — слушал, похаживая. Ему уже исполнилось семьдесят лет. Седина за-

владела толстыми его волосами, не помиловав ни бровей, ни обвисших усов. На кистях сухих рук и рябом лице были заметны пигментные пятна. Однако его облик — Сталин был одет в китель с погонами, в брюки навыпуск с красными лампасами — отнюдь не казался немощным. Величественность вопреки низкому росту, низкому лбу стала его второй натурой. С годами усугубилась свойственная ему с некоторых пор медлительность шага, скупость жеста. Разговаривая, он теперь не поворачивал к собеседнику головы, никого этим не удостаивал. Казалось, за его спиной незримо реяли великие дела эпохи, которую уже именовали не иначе, как сталинской. Он и теперь, под конец жизни, опять выдвигал небывалые задачи, опять форсированным маршем вел страну в новый переход. Дикая тундра и тайга суровой Восточной Сибири, индустриальное преображение этих огромных, почти не заселенных пространств — туда давно обращалась его мысль. Необычайно мощный комплекс энергетики, химии, лесохимии и металлургии — такой представала ему пустынная пока Восточная Сибирь. Уже немало лет разрабатывались главные проектные ориентиры. Ныне Сталин требовал отчета, готовил, не оставляя других планов, исподволь зреющих, эту наступательную операцию, сражение на Востоке.

Теперь в отличие от довоенных годов Сталин слушал министров или других понадобившихся ему лиц и диктовал решения не в зале заседаний, где присутствовали члены Политбюро,— он отбросил даже эту формальность. В старости нелюдимый, Сталин впускал к себе, в свой кабинет, вот как и сейчас, наряду с вызванными для доклада еще лишь двух-трех приближенных.

Сообщение Онисимова слушал вместе со Сталиным и сидевший в кожаном кресле Берия. Погрузневший, несколько обрюзгший, он, хотя уже и обладал маршальским званием, по-прежнему носил штатскую одежду, добротный, сшитый по моде пиджак. Искусный зачес светлых волос прикрывал просвечивающую лысину. Голубые холодные глаза сквозь круглые без оправы стекла взирали на Онисимова.

Ведая, как и раньше, органами внутренних дел — Сталин еще со времен тридцать седьмого года поставил их как особое свое орудие над самыми высшими органами партии и государства,— Берия постепенно стал охватывать и ряд народнохозяйственных задач, год от года более крупных. Ни одно большое строительство уже не

обходилось без его участия. Распоряжаясь Главным управлением лагерей, сосредоточивая на ударных стройплощадках неисчислимые колонны заключенных, он командовал возведением новых мощных гидростанций, или, как говорилось тогда, великими стройками коммунизма. В этом,— позволим здесь себе строчку авторского отступления,— пожалуй, обнаженно выступал трагический парадокс времени.

Впрочем, Онисимов, тот, каким он был тогда, докладывая Сталину проблему восточносибирской металлургии, не знавал даже и мыслей о парадоксах, о противоречиях эпохи. От вопросов, которые могли возмутить его, коммуниста, разум и совесть, он уходил, ускользал простейшим способом: не мое дело, меня это не касается, не мне судить. Любимый его брат погиб в тюрьме, в душе он оплакал Ваню, но и тогда остался твердым в своем «Не рассуждать!». Для него не было пустыми словами выражение «солдат партии». Позже, когда вошло в обиход «солдат Сталина», он с гордостью и, несомненно, по праву считал себя таким солдатом. И каждую встречу со Сталиным острейше переживал.

Берии он бдительно остерегался. Они, два члена ЦК, разговаривали на «ты», но эпизод тридцатилетней давности —«не могу вам, Берия, доверять!»— не был, конечно, забыт ни тем, ни другим. Онисимов отлично знал, что Берия лишь выжидает случая, чтобы расплатиться, расправиться с ним. Однако для этого требовалось дозволение Сталина, хотя бы молчаливое. Александр Леонтьевич так и жил в атмосфере непрестанной опасности, привык, что днем и ночью над ним занесена рука. Но Сталин Онисимова не отдавал. Сталинский листок, сохраняемый Онисимовым, продолжал действовать, оберегая его.

Чувствуя полную внутреннюю собранность, Онисимов, подчас прерываемый вопросами прохаживающегося генералиссимуса, четко докладывал главные данные проекта. Вот он указкой очертил недавно открытое в излучине Ангары железорудное месторождение. Называя на память разведанные и предполагаемые запасы тамошних руд, нуждающихся в обогащении, он неожиданно уловил еле заметную усмешку на тонких втянутых губах старика Челышева. Что такое? Неужели он в чем-то ошибся?

Невольно Онисимов вновь взглянул на карту. Да, он показал не тот изгиб Ангары. Потрясенный оплошкой, он хотел тут же ее исправить, но Сталин произнес:

— Сколько электроэнергии возьмут ваши обогатительные фабрики?

Оиисимов, не затрудняясь, назвал интересующую Сталина величину.

— Эти показатели, товарищ Сталин, выведены на основе опыта иаших лучших обогатительных и агломерационных установок.

— На основе опыта...— не то вопросительно, не то недовольио сказал Сталин.— Опять, значит, будете жечь уголь, чтобы выпекать агломерат?

— Одиако других способов,— ответил Онисимов,— в распоряжеиии металлургов пока нет. Товарищ Челышев, надеюсь, подтвердит.

Челышев ограничился кивком.

— Таким образом, показатели,— продолжал Онисимов,— прииятые нами...

Сталин, однако, не дослушал.

— Что же выходит?— перебил ои.— Получим огромиое количество энергии от Еиисейской гидростаиции, от Ангарского каскада. А кто ее будет забирать? Металлургия?

Он говорил, ие повышая голоса, но в тоне сквозило раздражение. Упрекнул Онисимова в том, что тот предпочитает тратить дорогой уголь в то время, как следовало бы шире использовать в металлургических процессах электричество. По-прежнему недовольио протяиул:

— На основе опыта...

Прошелся, отчеканил:

— Опыт — хорошая штука, но таких условий, которые металлурги получат в Восточной Сибири, такого избытка электричества еще нигде ие существовало. А новые условия требуют и новой технологии, иового опыта. Не так ли?

Удовлетворенный своей речью, ее ясностью, логичностью, он последние слова произнес уже без раздражения. Потом подошел к столику, на котором рядом с папкой Оиисимова стояла початая бутылка боржоми, налил четверть стакана, отхлебнул.

— Так вот, товарищи,— ваша задача: всюду, где возможно, повышать энергоемкость. Почему бы, иапример, нагревательные печи и колодцы не перевести на электричество?

Как и в других случаях, он опять выказал знание деталей производства. Оиисимов лишь кратко ответил:

— Есть!

— Надо и в доменном деле искать способы применения электричества. Как ваше мнение, товарищ Челышев, можем ли мы в какой-то мере заменить кокс электричеством?

Челышев сказал:

— У нас, товарищ Сталин, существует поговорка: начальник доменного цеха — это хороший кокс.

— Эту вашу поговорку я слышал уже много лет назад... По-вашему, значит, нельзя использовать для доменной плавки электричество?

— В малых печах возможно.

— А в больших нельзя?

Капризные нотки явно слышались в этом вопросе. Сталин, привыкший, что все и вся склоняется пред ним, сейчас сердился, что технология не хочет ему повиноваться. Челышев, однако, под этой нависшей грозой сохранил спокойствие. И даже ироничность.

— Можно,— сказал он.— Все можно, товарищ Сталин, если прикажут. Но будем сидеть без чугуна.

Берия приподнял белесые брови. Глаза сквозь круглые стекла смерили Челышева, перебежали на Сталина.

Однако гроза не разразилась. Сталин прошелся, опять обратился к Онисимову, велел показать энергетический баланс.

Конечно, поведение Сталина, его вопросы с несомненностью свидетельствовали, что применение электричества в металлургии вскоре станет или, пожалуй, уже стало новым увлечением, новым коньком Хозяина. Александр Леонтьевич засек это в уме. Однако в те минуты по-прежнему мучился оплошкой, которую совершил, очерчивая изгиб Ангары. И пока шел разговор о проектных основах будущей далекой металлургической базы, он все не выпускал из рук тонкой длинной указки. Но уже было неуместно возвращаться к географической карте.

А после, сидя рядом с Челышевым в машине, вынесшейся из Кремля, он сам себя казнил:

— Ужасная ошибка. Непонятно, как я обмишурился.

— Бросьте. Ерунда.

Да, старик обладал легким характером, промашка Онисимова представлялась ему и впрямь ерундой. Но Александр Леонтьевич не мог себе ее простить, был совсем убит. Как он допустил такую кляксу? Он, не переносящий ни малейшей небрежности ни в чем! И где же, перед кем!

— Бросьте,— с той же добродушной грубоватостью

повторил Челышев.— Никто же не знает, что вы ткнули не туда.

— Но знаю я! Этого достаточно.

И еще немало дней терзался, страдал.

Сейчас, рассеянно глядя в окно своего нового, так и не обжитого кабинета, на улицы Москвы, уже присыпанные первым ноябрьским снегом, следя за медленным полетом снежинок, Онисимов спрашивает себя: скоро ли, наконец, настанет время, когда его мысли будут сосредоточены только на деле, ему ныне порученном? Он заставляет себя придвинуться к непривычно малому письменному столу, заваленному трудами о некой, нисколько его не влекущей северной стране. Да, надо побороть эту несобранность, ему несвойственную.

В самом деле, намереваешься, например, подстричься, и вдруг на ум приходит фраза, оброненная когда-то Тевосяном, или устремленный на карту Восточной Сибири непроницаемый взгляд Сталина.

Приходится постоянно быть настороже, не давать воли видениям, которые ежеминутно готовы нахлынуть. И заниматься делом! И если уж пора стричься, то с этим больше не тянуть!

Разумеется, Онисимов мог бы позвонить в парикмахерскую Совета Министров и вызвать на дом мастера, уже ему привычного. Так и поступали иные сотоварищи Александра Леонтьевича, принадлежавшие наравне с ним к высшему служилому кругу. Однако Онисимов никогда к подобным вызовам не прибегал, ему претила эта барственность.

И вообще почему не пойти в парикмахерскую? Именно в Совет Министров! Именно в ту! Где же, черт возьми, его достоинство ничем не запятнанного члена партии?

Полчаса спустя по вылощенному автомобильной резиной асфальту, на котором не залеживался снежок — его тотчас убирали,— машина Онисимова подкатила к каменной серой громаде в Охотном ряду. Онисимов в темной мягкой шляпе, в зимнем пальто с неброским, недорогим черным барашковым воротником быстро взошел по знакомым ступеням. Его сухощавое, бледное лицо казалось невозмутимым. Кто-то, спускаясь навстречу, поклонился Александру Леонтьевичу. Тот улыбнулся, приветливо кивнул. Его вид как бы гласил: да, был работником промышленности, отвечал перед партией и правительством за металл, за топливо, а ныне получил новое важней-

шее государственное поручение. И точка! И ничего более!

Порою опять отвечая с улыбкой на поклоны, он прошел светлым широким коридором в парикмахерскую. Разделся, сел в кресло к своему мастеру, достал сигарету, чиркнул спичкой, огонек заходил, заплясал в его худощавых пальцах — непросто дался Онисимову этот марш сюда. Неожиданно в памяти возникло: «избегайте ошибок». Э, их разве избежишь?

Степенный мастер, в отличие от многих собратьев по профессии не щедрый на слова,— эту его особенность ценил Александр Леонтьевич,— накинул простыню на плечи Онисимова, тронул рукой его каштановые, или, точней, желудевого, тона волосы, пригляделся, затем ножницами стал подравнивать затылок. В какую-то минуту, когда парикмахер легчайшими касаниями бритвы срезал отдельные волосинки вдоль отчетливой, строго прямой линии пробора на левой стороне головы, Онисимов проговорил:

— Все не седею?

— Да, седина почти вас не берет. Но отлив, Александр Леонтьевич, уже не тот.

— Какой отлив?

— Вы извините, масла уже нет.

— Какого масла?

— Ну, блеск не маслянистый. Сухой. И волос хрупкий, не тот.

Словно проверяя себя, парикмахер вновь тронул пальцами прическу Онисимова, помедлил и спросил:

— Вы часом не прихворнули, Александр Леонтьевич?

Впоследствии Онисимову не однажды припоминался этот вопрос.

11

В середине ноября правительство северной страны прислало, наконец, официальное согласие принять Онисимова в качестве представителя Советской державы — так называемый агреман.

С этого момента интересующие нас события обрели стремительность. Агреман, насколько автору удалось установить, был получен в пятницу, уже в субботних утренних газетах под рубрикой «Хроника» появилось сообщение о том, что Онисимов назначен послом, в субботу же

ему были вручены все документы, вылетать предстояло во вторник рано утром.

Обнаружилось, разумеется, множество мелких забот, которыми еще следовало заняться в оставшиеся до вылета дни. Список недоработок, заключительиых дел заполнил несколько страниц, испещренных каллиграфически четким почерком Александра Леонтьевича. Опираясь иа свой малеиький штат, тоже отправлявшийся вместе с ним в чинное северное государство, Оиисимов с неутомимой методичностью приводил дела к совершенной ясности, к ажуру — это бухгалтерское словцо, равио как и металлургическое «попадаиие в анализ», принадлежало к излюбленным его выражеииям,— вымарывал пункт за пунктом.

Конечно, этому легиоиу мелочей, медленно редевшему, этой последней расчистке было предназначено и воскресенье. Он сам аккуратиейше упакует свои чемоданы, не в его обыкновении сваливать на кого-нибудь такую работу. Однако одии час Александра Леонтьевича, воскресный завтрак, по издавна заведенному порядку (разумеется, если Онисимов ие иаходился в отъезде) принадлежал семье. Или, верией, сыиу Андрюше. Оиисимов включил и это в список дел, его рукой было записано: «Побыть с А.».

Заглянем же к началу этого предотъездного совместного завтрака в обшириую столовую Онисимовых. Сквозь оба больших окна, вдоль которых свисают раздвинутые красноватые плотные занавеси, проникает тускловатый свет предзимнего городского утра. Из двенадцати стульев, обступивших покрытый камчатой скатертью стол, сейчас заняты лишь два. Сдвиут и третий, дожидающийся хозяйки дома.

На своем постоянном месте с краю стола сидит Александр Леонтьевич. Свежевыбриты его неполные, скорей впалые щеки, он бреется сам каждое утро, из этого правила не бывает исключений. Дома все уже привыкли к нездоровой желтизне его лица. Он одет по-деловому в свой обычный служебиый костюм. Ортодокс скромиости — такое прозвище было дано ему, товарищу Саше, еще в армии,— ои годами носит вот эти залоснившиеся сзади до блеска темные в полоску брюки и столь же вытертый пиджак. Зато сорочка свежохонькая. Войдя первым в столовую, он захватил с собой иесколько сегодняшних газет, но теперь отодвинул всю пачку, положил

перед собой очки и молча смотрит на сына, который уселся напротив.

Лицом, да и всем складом Андрей не напоминает отца. Слегка вьются светло-русые волосы, тонкая кожа, на которой чуть рдеет румянец, кажется девичьей. В серых глазах то и дело проступает живая игра. Во взгляде Андрея порой можно прочесть и неуверенность или, пожалуй, некое вопросительное выражение. Подбородок его мягко очерчен. И будто для контраста с этими нежными чертами задорно вздернут нос. Конечно, все это вовсе не отцовское. Да и не материнское.

Что же все-таки в нем, этом нешумном мальчике, онисимовского? Он выдался в своего деда Леонтия Онисимова, русского бродячего плотника, искателя не то правды, не то счастья, который бог весть какими судьбами был занесен из вятских лесов в Харьков и там женился по страстной любви на украинке Анне, или Ганусе, как ее называли подруги. Темнобровая Анна, ставшая матерью, стала и коренником семьи, находила заработки и непутевому, непрактичному мужу, и себе, постоянно ходила на поденщину или брала стирку домой, выбивалась из нищеты. Свою устремленность к цели, энергию она вместе с точеным лицом передала Александру. А потом также и Ване. Но вот маленький Андрей игрой наследственности перенял дедовские черты.

В характере Александра Леонтьевича, казалось бы, однолинейном, целиком подчиненном лишь одной страсти — работе, таилось и несколько неожиданное качество: глубокие родственные чувства. Никто не догадывался, как остро он горевал по несчастному, погибшему в заключении брату. Эта душевная ссадина и поныне не зажила. Зная за собой эту привязчивость, Александр Леонтьевич все же не ожидал, что рождение ребенка — столь позднее — вызовет у него сильные переживания. Приезжая со службы обедать, Александр Леонтьевич брал на руки, прижимал к себе теплое маленькое тельце, приникал к нему губами. А если не заставал малыша дома, шел в его комнату и там, притворив дверь, подносил к лицу его подушечку, дышал милыми запахами. В дальнейшем, когда в мальчике пробудилось сознание действительности, мысль, отец не проявлял так бурно своих чувств. Постоянная замкнутость взяла свое.

И вот его сын уже старшеклассник. Александр Леонтьевич смотрит на него: скоро и паспорт получать... А беленькая, чуть с румянцем физиономия выражает что-то

иеопределеииое, неоформленное, детское. Не скажешь, куда ои устремлеи, каким он стаиет, где проляжет его путь. Чего только в ием иé иамешаио! Иногда увлекается и техникой, как-то стал мастерить какие-то модели и, не доведя до ума, бросил. Любит книги, читает порою запоем, главиым образом художествеииую литературу. Этим тоже он вышел не в отца. Да и не в мать.

Сам-то Алексаидр Леоитьевич уже в тринадцать лет впрягся в лямку заработка, сумел и заканчивать коммерческое училище, и помогать семье. А в шестиадцать уже избрал свою дорогу, стал вериым солдатом партии большевиков. Избрал до конца дней.

Аидрюша смотрит на задумавшегося отца, ио ие впрямую, как-то искоса. Машинально водит по скатерти пальцем (такой жест был и у Ваии), то подиимает, то опускает глаза. В этом взгляде, как и в чертах лица, тоже сквозит неопределеииость, иерешительность, иекая противоречивость. Мальчик испытывает к отцу и любовь и жалость, но пора бездумного преклоиения миновала.

В ожидании завтрака Александр Леоитьевич поворачивает тарелку, чтобы на нее падал свет, сдувает померещившуюся ему пылинку, тщательио протирает салфеткой. Когда-то эта свойственная Онисимову брезгливость, его почти маииакальное пристрастие к чистоте восхищали сыиа. Вечно трудившийся, беззаветио преданный работе, постояино, днем и иочью, будто трехжильиый, заиятый на службе, отец раиьше был иедостижимым примером, иепогрешимым авторитетом для Аидрюшки. Затем обожаиие иадломилось. На смену явилось иное, более сложное или, лучше скажем, ие совсем и сейчас еще сложившееся отиошеиие.

12

Когда ж сыновнее обожание пошатнулось? Как это было?

Сидя вот так же за воскресным завтраком тому назад четыре года, или пожалуй, уже почти пять лет, третьеклассиик Андрюша, отхлебнув кофе, вдруг звонко сказал:

— Папа, а вчера Головешка наврал про тебя.

— Который?— иервио спросила Елена Антоиовна.

С ее легкой, а быть может, тяжелой руки «головешками» звались все члены семьи Головни, даже старший из братьев Алексей Афанасьевич, первый заместитель

Онисимова, человек куда более приемлемый, нежели склонный дерзить Петр — директор Кураковки. «Наврал» про Андрюшиного отца «головешка», с которым мальчик водил компанию во дворе,— Ленька Головня, сын Алексея.

— Что же он сказал?— произнес Онисимов, храня спокойствие.

Оказалось, ничего особенного. Просто описал эпизод, действительно недавно приключившийся.

Произошло вот что. На прошедшей неделе Онисимов, министр стального проката и литья, поехал со своим первым заместителем — Головней-старшим — на межведомственное совещание к министру путей сообщения, который, кстати говоря, был одновременно и секретарем Центрального Комитета партии. Снова напомним, что в те годы — годы, когда старел и до рассвета не спал Сталин,— день и ночь для значительного слоя высших служащих ничем не отличались: механизм управления не приостанавливался до утра. Совещания, созываемые в двенадцать, а то и в час ночи, стали обыденностью. За полночь началось и бдение у министра путей сообщения. Было широко известно, что он любил поговорить, поэтому заседания у него особенно затягивались. Наперед зная, что отсюда до света не выберешься, Онисимов и Головня, приезжавшие каждый на своей машине, обычно одну из них отправляли восвояси: пусть шофер поспит — с тем, чтобы на другой вместе возвратиться по домам, благо и жили они рядом, в разных подъездах многокорпусного здания у Москвы-реки.

Предугадка оправдалась и на этот раз. Говорливый министр лишь в шестом часу утра объявил совещание законченным, потом еще порассказал, не спеша, что-то назидательное из своей практики и, наконец, отпустил приглашенных.

Огромные квадратные часы на башне министерского здания у Красных ворот показывали уже больше шести, когда на улицу гурьбой вышли крупнейшие клиенты железных дорог, высшие командиры хозяйственных штабов. Нежно пригревало поднявшееся уже солнце, московская весна набирала силу, воздух был по-утреннему свеж, из близкого сквера доносился запах вскопанной влажной земли. Утреннее оживление уже охватило город.

Другие участники совещания быстро разъехались, а наши два металлурга, недоуменно поглядывая по сторонам, продолжали стоять на тротуаре. Случилось так, что

в это утро они остались без машины. Оба шофера уехали, понадеявшись, очевидно, друг на друга. Что делать?

Нескончаемой цепочкой люди шли к полукруглому, словно раковина-эстрада для оркестра, строению на противоположной стороне площади, строению, над которым виднелась большая буква «М». Ба, это же метро! Не долго думая, широконосый, с веселыми, ясными вопреки бессоннице глазами Алексей Афанасьевич предложил:

— Едем на метро. Как раз доберемся к «Библиотеке Ленина». А там мы уже дома.

И министр со своим первым заместителем двинулся в метро.

Знакома ли тебе, читатель, толкучка раннего шестичасового московского метро? В семь утра на многих предприятиях начинается рабочий день, люди торопятся к проходным. Толпа повлекла руководителей министерства, однако, не дойдя до касс, они приостановились. На них зашумели:

— Чего встали на дороге?

Сопровождаемые бесцеремонными толчками, недовольными возгласами, они выбрались в сторону и, не без юмора переглядываясь, занялись поисками денежной наличности. Жизнь обоих складывалась так, что можно было обойтись без карманных денег. Специальный буфет, так и именовавшийся спецбуфет, обслуживал без всякой оплаты коллегию министерства, чем, скажем к случаю, Онисимов никогда ни в малой мере не злоупотреблял: попросит принести стакан чая, крепкого, как деготь, и бутерброд с сыром. Да несколько пачек сигарет. И этим ограничится. И сослуживцы так или иначе следовали его воздержанности.

Первый заместитель обнаружил, наконец, завалявшуюся в кармане трешницу. Встав в очередь, подошли к кассе. Онисимов спросил:

— Скажите, сколько стоит билет до «Библиотеки Ленина»?

Кассирша взглянула на этого прилично одетого пассажира:

— У нас, гражданин, все билеты в одну цену.

А сзади уже нервничали, торопили.

— Сколько же?

Кассирша не поверила, что с ней разговаривают серьезно:

— Вы что, смеетесь? Пятьдесят копеек.

Так вот, с грехом пополам, билеты были взяты. Кто-

то отдавил Онисимову больную забинтованную ногу, когда втискивались в вагон. Он перенес это стоически. Ему ли, знавшему работу у жарких печей и в разливочной канаве, ему ли морщиться от каких-то минутных, ничтожных неудобств? И, вздернув верхнюю губу, показав крепкие зубы, он улыбнулся отжатому в угол своему спутнику, который с комическим сокрушением покачивал головой.

На станции «Библиотека Ленина» они покинули метро.

Вон на той стороне Москвы-реки возвышается их мрачноватый, в темной облицовке, без единого украшения, многооконный дом, детище тридцатых годов. Среди прочих пешеходов они идут по тротуару: Онисимов в неизменном темном в полоску пиджаке, в несмявшемся за ночь, будто только что надетом, твердом белом воротничке, в недорогой кепке — ни дать ни взять пунктуальнейший заводской служащий, отправившийся с утра пораньше на работу,— и сутуловатый, наделенный, что называется, медвежьей статью Головня, улыбающийся чему-то, может быть, попросту этому солнечному дню, нежданному приключению — прогулке, обмундированный в полувоенный, защитного цвета, добротный костюм.

Поглядывая на Кремлевскую стену, на очерченный парапетом пустынный в этот час проезд в Боровицкие ворота, они, пересекая площадь, зашагали напрямик к Каменному мосту. Но почему вдруг с разных сторон поднялась трель милицейских свистков? И почему к нечаянным путешественникам бегут милиционеры?

— Стой! Куда вас понесло?

Два руководителя министерства оторопело остановились.

— Разве здесь нельзя пройти?

Как и в кассе метро, их неведению не поверили и тут.

Вышколенные московские милиционеры с подозрением оглядывали странных нарушителей. Даже принюхивались: не шибает ли спиртным? Нет, ровно бы ни в одном глазу.

— Кто вы такие? Москвичи?

— Да.

— И не знаете, где надо переходить? Первый раз, что ли, вышли на улицу?

Ответом было смущенное молчание.

— Предъявите паспорта.

Паспортов, однако, не оказалось ни у того, ни у дру-

гого. Досадуя, но сохраняя всегдашнюю невозмутимость, Александр Леонтьевич протянул свое удостоверение члена правительства. На миг милиционеры склонились над раскрытой твердой книжечкой. Затем вытянулись по струнке, взяли под козырек, остановили движение транспорта на площади, почтительно провели к мосту заплутавшую пару.

Эту-то историю Андрейка узнал во дворе от Головни-сына. И за семейным завтраком спросил:

— Папа, ведь это неправда?

Онисимов кратко ответил:

— Этакий казус был.

И «казус» действительно был. Чему удивляться, помня ушедшие времена?

В семье больше об этом не говорили. Однако что-то в облике отца, которому Андрей безгранично поклонялся, вдруг померкло. Мальчик, наверное, и сам не смог бы объяснить, почему именно тогда в его мысли об отце впервые вторглась критическая нотка. Еще неясная, невнятная...

Андрей и теперь уважал, любил отца, но... Но вот и сейчас неприятно, что папа сидит рядом с этим полотном в золоченой раме, полотном, где выписан во весь рост в форме генералиссимуса Сталин, сложивший на животе руки. Андрей следит, как отец вытирает тарелку, снимая какую-то едва видимую, а то и совсем не существующую пылинку. Неприятно... Но кто знает, не стало бы еще неприятнее, если бы отец поспешил убрать этот портрет, как это уже сделали в некоторых квартирах по соседству. Мальчик смутно улавливает душевную драму отца. Жалость к нему, такому осунувшемуся и словно бы посеревшему с лица, колет, щемит мальчишечье сердце.

13

Так они и сидят, помалкивая, пока в столовую обычным деловым шагом не входит Елена Антоновна.

Сколь помнит Андрюша, он всегда видел мать подобранной, подтянутой. Она и сейчас такова: поседевшие волосы гладко причесаны, отвороты светлой блузки выпущены поверх серого жакета. Рослая, постоянно выпрямленная, она и дома нередко носила строгий костюм, не жалуя так называемые домашние платья. Ее суховатому облику противоречили, пожалуй, лишь щеки, несколько обвисшие,— в них было что-то бабье, как бы свидетельствующее, что и ей, опытной деятельнице, не

имевшей ни единого взыскания за все тридцать пять лет своего партстажа, ведомы и переживания женщины, тревоги матери.

На нее смотрит и Александр Леонтьевич. Точно такую же прическу, не заслонявшую синевато-розового родимого пятна на краю лба, Елена носила и треть века назад, когда Онисимов впервые увидел ее на каком-то совещании в райкоме,— носила, как бы объявляя: «Ничего перед партией не таю». Это ему понравилось, что-то в душе отозвалось. Помнится, мысленно он определил: «Твердый товарищ». Общаясь на партийной работе, сблизившись в жаркой борьбе против оппозиции — сначала троцкистской, потом зиновьевской, и наконец, объединенной,— они в некий день предстали миру мужем и женой. Пожалуй, это был брак не по любви, а, так сказать, по идейному, духовному родству. И Онисимов не обманулся. Теперь, много-много лет спустя, он мог бы убежденно повторить давнее свое определение: «Твердый, надежный товарищ».

Елена Антоновна и в нынешнее утро вопреки немалому числу забот, вызванных приближающимся отъездом мужа, не пренебрегла своей безотменной воскресной материнской обязанностью: побывала в комнате сына, проверила, как он поддерживает порядок у себя в бельевом шкафу, на письменном столе и на книжной полке. Направляясь к Андрюше и мужу, к оставленному для нее месту хозяйки, она держит в руке том Сочинений Ленина в темно-коричневом с золотым тиснением переплете. И, усевшись, положив книгу, произносит:

— Очень отрадно, что ты начал читать Ленина.

Елена Антоновна сказала сыну «отрадно», но в ее взгляде, осторожно посланном мужу, можно уловить беспокойство. Онисимов ее понимает без слов. Мало ли теперь молодых фрондеров, распустившихся без твердой руки, предвзято подбирающих выдержки из Ленина. Андрею не сообщается о родительских опасениях. Мать, приподняв со скатерти темно-коричневый том, отчитывает мальчика за другое:

— Хорошо, что ты интересуешься сочинениями Ленина, но нельзя же проявлять неуважение к книге.

— Неуважение?— робко откликается сын.

Появляется Варя в белом переднике, в свежей белой косынке. Ловко разложив по тарелкам сосиски и картофельное пюре, она бесшумно исчезает за дверью. Можно продолжать разговор. Голос Елены Антоновны не по

возрасту звонок. Даже теперь, когда ей перевалило за пятьдесят, порой на собраниях она удивляет силой и чистотой голоса. Сейчас в просторной, с высокими потолками столовой каждое слово хозяйки явственно звучит:

— Ты сунул ее в кучу других книг и, как видно, забыл, что она существует.

Андрей, этот увалень, вместо того чтобы аккуратно нарезать сосиску, берет ее в руку и надкусывает. Отец безмолвно его останавливает. Материнская нотация продолжается.

— Если ты взял у папы с полки этот том... Повторяю, мы только рады. Но почитал и изволь сразу же поставить на место. Вдруг взрослым эта книга потребуется. Ты понимаешь?

Мальчик согласно кивает. Мать позволяет себе приступить к завтраку. Однако назидание не закончено:

— Кроме того, если желаешь что-нибудь запомнить, заведи тетрадь и делай выписки. Нельзя же портить книгу своими пометками.

— Что за пометки?

Онисимов кладет вилку, подтягивает к себе украшенный золотым тиснением томик. Еще не хватало — сын начал что-то отмечать у Ленина. Однако спокойствие, спокойствие! Последний совместный завтрак не должен обернуться стычкой, жена уж и так переусердствовала. Александр Леонтьевич спокойно спрашивает у сына:

— Не обидишься, если взгляну?

Мальчик вдруг оживляется, в глазах мелькает лукавство:

— Папа, ты уже изъясняешься, как дипломат.

Голова Андрюши по-отцовски чуть склонена набок (вот она — наследственная черточка). Александру Леонтьевичу известно, что за сыном этакое водится: тих, незаметен, послушен и вдруг вымолвит, как выпалит, удивит словцом. Но и отец умеет найтись сразу.

— Ты первый раз это обнаружил?

— По правде говоря, не первый.

— Ну что ж... Не ты один открыл во мне дипломатические способности.

Сказано это бодро. В доме Онисимовых еще пытаются скрыть от Андрюши, сколь тягостен, горек для отца уход с прежней работы. Только что произнесенная шутливая фраза Александра Леонтьевича тоже служит такого рода маскировке. В подобном тоне вторит жена, ее нажим жирнее:

— И способности и эрудиция! Вот папу и назначили. У него теперь очень важная задача.

Вышколенный Андрюша не возражает, не высказывает сомнения, лишь по привычке отводит серые большие глаза. Александр Леонтьевич поближе придвигает к себе книгу, откидывает темно-коричневую твердую крышку, надевает очки.

В эту минуту доносится приглушенный расстоянием звонок у входной двери. Слышно, как Варя пошла открывать. Кто там? К завтраку никого не ждут. Почту беззвучно опускают в дверную щель. Телеграмма? Лицо Елены Антоновны стало настороженным. Видно, что она до сих пор на что-то надеется, может быть, на какую-то внезапную перемену в судьбе мужа. Появляется Варя:

— К вам, Александр Леонтьевич, портной из министерства. Принес костюм.

— Так пусть оставит.

— Без примерки он не может.

— Ох, опять двадцать пять...

— Я ему сказала подождать.

— Нет, нет, почему он должен ждать? Проведите его, Варя, в кабинет.

Быстро поднявшись, сбросив очки, Онисимов выходит из столовой. Сын успевает крикнуть ему вслед:

— Папа, мы без тебя кофе пить не будем! Мама, да?

— Само собой понятно. Мог бы не кричать.

Мальчик на миг съеживается, но, когда Варя забирает кофейник, чтобы подогреть на плите, он, улыбнувшись каким-то своим мыслям, негромко произносит:

— А Журкевич уже строчил фраки отъезжающим за границу дипломатам...

— Какой Журкевич? Что с тобой?

— Ну, его принимают за академика. Главный портной наркомата иностранных дел. Не помнишь? У Ильфа и Петрова.

Елена Антоновна, откровенно говоря, равнодушна к Ильфу и Петрову. Конечно, известное воспитательное значение этих авторов никто не отрицает. Она и сама когда-то их листала. Но в цитате, приведенной сыном, ей сразу почудилось неуважительное отношение и к наркомату, и к главному портному, да, пожалуй, и к дипломатам. Впрочем, она в этом не уверена. И предпочитает молчать. Или, что называется, воздержаться от высказываний.

14

Мать и сын молча сидят за столом. Вскоре Александр Леонтьевич возвращается в столовую. На нем форма дипломата, облеченного самым высоким рангом. Мышиного цвета сукно украшено золотым шитьем, прорисованы золотой ниткой и пальмовые ветви на отложном воротнике, и звезды на погончиках. Такие мундиры дипломатов были введены при Сталине, который на склоне лет одевал в форму ведомство за ведомством. Онисимов знал, что ему вряд ли понадобится это разукрашенное одеяние — советские дипломаты за границей отнюдь не показывались в мундирах, да и внутри страны теперь такого рода парадные костюмы, след минувших времен, надевались все реже. Но не были отменены. Что же, порядок есть порядок: Онисимов во всем покорился портному.

Кстати, мундир вот сразу и пригодился. Пусть взглянет Андрей. При других обстоятельствах Александр Леонтьевич, конечно, не позволил бы себе демонстрировать дома эту свою парадную, с иголочки, одежду, но сейчас им двигала все та же потаенная мысль: не хотелось, очень не хотелось, чтобы сын догадался об ударе, постигшем отца. Ничего не стряслось, никакого удара! Да, да, он просто получил новое ответственное назначение. И даже, изволь видеть, отмечен золотым шитьем.

Мальчик смотрит на отца, опять занявшего свое место возле написанного маслом поседевшего генералиссимуса, и снова ощущает укол жалости: надетый впервые серый мундир резче оттеняет, как похудел, пожелтел отец.

По воскресной традиции Елена Антоновна сама разливает в чашки кофе. Отхлебнув, Александр Леонтьевич вооружается очками, раскрывает том Ленина. Перед текстом — фотография. Владимир Ильич, видимо, слушает кого-то, слегка вытянув шею к собеседнику, прищурив один глаз. Снимок на редкость удачный, живой. Объектив схватил мгновение, когда у Ленина возникает усмешка. Она уже чуть морщит верхнюю губу. Вот-вот Ленин произнесет свое «гм... гм...».

Минуло почти сорок лет с тех пор, как Онисимов впервые прочел Ленина. Это была потрепанная, без переплета, брошюра «Что делать?». Пожалуй, ни одна книга ни раньше, ни потом не действовала столь сильно на

Онисимова. Ясность мысли Ленина, его убежденность, логика покорили пятнадцатилетнего Сашу. Что делать? Сплотиться в партию, в дисциплинированную монолитную организацию пролетарских революционеров — таков был усвоенный Онисимовым на всю жизнь ответ. Его программой, его верой стали ленинские строки: «Дайте нам организацию революционеров, и мы перевернем Россию!». И что же, Владимир Ильич, разве не перевернули? По-прежнему прищурясь, Ленин смотрит из книги на Онисимова, на возвышающегося над его головой единодержавного генералиссимуса.

Отодвинувшись от стола, чтобы не испачкать мундир, Александр Леонтьевич быстро перекидывает страницы, ища сделанные сыном пометки. А, какие-то строки отчеркнуты карандашом. Глаз уже схватил: «...марксист должен учитывать живую жизнь...» И далее еще одна карандашная черта. Понятно. О различии между марксизмом и анархизмом. И на сердце уже отлегло. Признаться, Александр Леонтьевич опасался, что сын, этот маленький книжник, станет предвзято подбирать выдержки из Ленина, как делают некоторые нынешние, осмелевшие без Сталина молодые фрондеры. Опасался, ибо после Андрея книга была лишь наскоро просмотрена матерью. К тому же Онисимов и дома придерживался своего правила, давно ставшего привычкой: «доверился — погиб!». Сейчас он воочию убеждается в невинности пометок сына. Однако продолжает листать, находит еще черточку. Что же, опять ничего страшного. А дальше и вовсе нет следов карандаша. Это знакомая Андрюшкина манера: почитал, почитал и бросил. Ладно, в данном случае помиримся на этом. Как говорится, могло быть хуже.

Исхудалые пальцы Александра Леонтьевича тянутся к коробке с вытисненной мордой пса, забирают сигарету. Чиркнув спичкой, он закуривает. Дрожь пальцев в эту минуту лишь едва уловима.

Еще раз — теперь уже с легким сердцем — он переворачивает десяток-другой страниц. Том открывается на сложенной вчетверо вклейке — факсимиле Ленина. Но что это? Оттуда выглядывает и уголок какого-то другого листка. Нет, не зря Онисимов заслужил у металлургов прозвище следователя! Выразительно взглянув на жену,— «так-то ты смотрела!»— он извлекает бумажку. Фу-ты ну-ты, стихи! Нет ни названия, ни имени автора. Но, несомненно, это рука сына. Кривульки-буковки выведены

совсем еще по-детски. Да, не перенял Андрюша ни отцовского, ни материнского — тоже неизменно отчетливого — почерка.

— Если, Андрюша, это твой секрет,— произносит Александр Леонтьевич,— я читать не буду.

Сыну не в новинку покраснеть. Смущенный, он держит ответ:

— Никакого секрета... Просто списал девчачьи стихи.

— Девчачьи? Чьи же?

— Не знаю... Списал тут у одного.

Серые Андрейкины глаза выдерживают испытующий отцовский взгляд. Елена Антоновна возмущена. Что за поветрие: заходили по рукам разные стишки, нигде не напечатанные.

Онисимов говорит:

— Отбросим дипломатию и прочтем.

Он оглашает строки:

Ты обо мне не думай плохо,
Моя жестокая эпоха.
Я от тебя приму твой голод,
Из-за тебя останусь голой...*

Елена Антоновна не выдерживает:

— Почему голой? Какой голод? Что за ерунда?

Движением руки Александр Леонтьевич останавливает жену. И продолжает во всеуслышание:

На все иду.
На все согласна.
Я все отмерю полной мерой.
Но только ты верни мне ясность
И трижды отнятую веру.
Я так немного запросила
За жизнь свою —
Лишь откровенность.
А ты молчишь,— глаза скосила,
Всевидящая современность.

— Хватит!— прерывает Елена Антоновна и поворачивается к Андрею:— Какая же это у тебя в четырнадцать лет отнятая вера? Может, объяснишь?

Отец говорит:

— Не он же сочинял.

— Пусть и не списывает такую глупость!

Водворяется молчание. Александр Леонтьевич безмолвно перечитывает:

За жизнь свою —
Лишь откровенность.

* Стихи И. Лисянской.

Нет, он не может, не умеет быть откровенным. Разучился этому давным-давно. Возможно, сейчас следовало бы мягко, задушевно сказать сыну: «Твой отец был и остается солдатом своей партии. А солдат думает о бое, а не о всем ходе войны. О войне думают другие...»

Он оставляет невыговоренным такое признание. И, подойдя к сыну, погладив его мягкие русые волосы — эта ласка тоже нелегко дается Александру Леонтьевичу,— говорит иное:

— Не смотри вот так.— Уткнувшись взглядом вниз, отец приставляет с обеих сторон к глазам ладони наподобие шор.— Надо смотреть вот как...

Отцовская большая голова теперь приподнята, руки козырьком приложены ко лбу, зеленоватые глаза будто озирают горизонт. Нередко и на заводах, и в разговорах с цеховыми инженерами, с директорами Онисимов вот так же показывал, каким должен быть взор каждого работника.

Дав мальчику этот завет, Александр Леонтьевич сует в карман вышитого золотом мундира коробку «Друга» и, захватив с собой том Ленина, уходит в кабинет.

В простенке висит скромно окантованный снимок Сталина и Орджоникидзе. Онисимов на минуту останавливается перед этой фотографией.

В уме неожиданно всплывает:

Ты обо мне не думай плохо,
Моя жестокая эпоха.

15

Самолет, на каком Онисимову и сопутствующим ему нескольким сотрудникам предстояло оторваться от московской земли, уходил в шестом часу утра. В эти ноябрьские дни 1956 года в Москве после растаявшего первого снега установилась осенняя мокрядь. По черно блестевшему асфальту, пролегшему среди полей, машина Онисимова, рассекая лужицы, шла к аэродрому.

Жена и сын занимали заднее сиденье. Невыспавшийся Андрейка, под утро разбуженный Варей, сейчас, нахохлившись, привалился к мягкой обивке. Елена Антоновна была бодра, как всегда. Ее несколько беспокоила мысль: как-то пройдут проводы? Будет обидно, если приедут лишь немногие. Еще накануне она предрекла, что Серебрянников поостережется, не появится на аэродро-

ме. Она бы и сейчас высказала несколько предположений, но лучше при шофере помолчать.

Показался ярко освещенный подъезд авиавокзала. Машина подкатила к нему ровно за тридцать минут до отлета. Втроем — впереди Онисимов в темной мягкой шляпе, в осеннем непривычно модном пальто, следом статная, строго одетая, в шапочке серого каракуля Елена Антоновна и бледноватый, щурящийся на свету Андрюша — они зашагали к широченному крыльцу. Тут же, откуда ни возьмись, Онисимова окружили провожающие. В зале поджидали еще несколько его давних сотоварищей, вместе с ним пошли в особую правительственную, или депутатскую, комнату. Как-то вдруг вся она заполнилась. Более полусотни человек съехались в этот неудобный рассветный час проводить Онисимова.

Будто одетые по некой форме, почти все они носили, как и Онисимов, мягкие темные шляпы. Андрюша, отогнавший наконец сонливость, с интересом озирался. Коекого из съехавшихся он знал в лицо, иногда по воскресным дням встречая их в подмосковном поселке, где, как положено, одна дача была предоставлена Онисимову. Вон сосед по участку, седоусый, уже потерявший былое здоровье, о чем свидетельствовала иссеченная морщинами кожа, министр моторостроения Семенов, три десятилетия протрубивший в индустрии плечом к плечу с Онисимовым. А там толстогубый, с тяжелым, выбритым до блеска подбородком, богатырь сложением, заместитель Онисимова по Комитету, принявший у него дела.

Все здесь как будто разные, и, однако, что-то в них есть схожее. И, разумеется, не только в шляпах. Да, тут сошлись работяги. И в отошедшие годы, и ныне они тянут, вытягивают взваленную на них ношу. С гордостью несут свое звание: кадры хозяйственного руководства. В газетах их называли еще так: бойцы за выполнение директив. Онисимов, впрочем, не пользовался этакими красотами стиля, предпочитая, как знает читатель, лаконичное определение: солдат партии. Избегая банальностей, автор все же обязан повторить здесь ходячую истину, что людей такого склада в истории еще не было. Эпоха дала им свой чекан, привила первую доблесть солдата: исполнять! Их девизом, их «верую» стало правило кадровика-воина: приказ и никаких разговоров!

Толки о близящихся переменах, о пересмотре, ломке прежних принципов строго централизованного управления, о ликвидации министерств, ведающих различными

отраслями хозяйства, об инициативе с мест, инициативе снизу ими встречались настороженно. И, пожалуй, недоверчиво. Чем черт не шутит, видывали и не такое, пронесет. Конечно, смещение Онисимова было явным признаком, что надвигается нечто впрямь нешуточное, однако бывалые служаки, его сподвижники, рассудили так: угодил-де Александр Леонтьевич под горячую руку, переждем, все утрясется.

И они пришли проводить Александра Леонтьевича. Что же, разве не был он образцовым, лучшим среди них? Почти все сошедшиеся здесь, в депутатской комнате, так или иначе его выученики. Правда, иные воздержались. Насчет Серебрянникова, например, предположения жены, как видно, оказались верны. Не пожелав следовать за границу с прежним своим шефом, он уже и тут не соизволил появиться.

Вот прибыл пожать на прощание длань Онисимова министр стали здоровяк Цихоня. Румянец во всю щеку и выпирающая верхняя губа, налезавшая на нижнюю, придавали ему вид простака. Онисимов улыбнулся ему:

— Здравствуй.

— Здравствуйте,— ответил румяный министр.

Они издавна так друг к другу обращались, один на «ты», второй на «вы».

— Буду теперь издалека за тобой следить. И не сомневайся, позвоню, если узнаю, что не выполняешь план.

— Хотелось бы, Александр Леонтьевич, чтобы вы позвонили, когда выполню.

Первый урок, полученный некогда от Александра Леонтьевича, Цихоня, наверное, никогда не позабудет.

Произошло вот что. В 1940 году Онисимов стал народным комиссаром стального проката и литья. Одного за другим он вызывал к себе начальников главных управлений, долгими вечерами и ночами досконально разбирал с ними работу разных отраслей стальной промышленности. Очередь Цихони наступила не скоро. Он в ту пору ведал Главтрубосталью. С виду недалекий, благодушный, наделенный, однако, недюжинной энергией, наблюдательностью, памятью, сметкой, он спокойно ожидал вызова к новому наркому. Все заводы Главтрубостали выполняли план. Главк в целом дал за последний квартал сто два процента программы. Когда нарком, уже прослывший строгим, наконец, пригласил Цихоню, тот уверенно, ничуть не волнуясь, зашагал к нему. Поздоровавшись, следуя короткому «садитесь», Цихоня уселся,

безмятежно созерцая красиво прорезанные, будто бесстрастные глаза, классически прямой, с чуть раздвоенным кончиком нос своего нового шефа.

— Приступим,— произнес нарком.

Доклад Цхони был недолог, достижения главка не нуждались в пространных комментариях. Онисимов сказал:

— Что же, пройдемся по заводам.

Цхоня перечислил заводы, назвал цифры, всюду дела были благополучны.

— Так. Теперь по цехам.

Оказалось, что кое-где некоторые цеха отстают.

— Почему?— спросил Онисимов.

Цхоня слегка затруднился. Положение в цехах он представлял себе не вполне отчетливо. Все же в течение полутора-двух часов разговора вопрос о работе цехов был более или менее прояснен. Цхоня полагал, что беседа на этом закончится. Однако Онисимов неумолимо сказал:

— Теперь по печам.

— По печам?

— Да. И затем по станам.

— Но дело в том, что... Я этого не знаю. Этих сведеиий у меня нет.

— Не знаете? Что же вы тут делаете? Для чего вы тут сидите? За что вам выдают зарплату?

Начальник главка, еще только что довольный собою, был нещадно высечен. Его круглые щеки уже не румянились, а багровели. Онисимов продолжал свой допрос-экзамен.

— Как идет реконструкция Заднепровского трубного завода? Укладываетесь в график?

— Да. Но беспокоюсь, что некоторое оборудование запаздывает.

— Какое?

Цхоня дал обстоятельный, точный ответ.

— Покажите график доставки оборудования.

— Я это, товарищ нарком, знаю на память.

— На память?— протянул Онисимов.— Какой же срок ввода в эксплуатацию вам указан?

Цхоня без затруднения назвал срок.

— Где это задокументировано?

— В постановлении Совнаркома от 12 мая 1938 года.

— Неверно.

Цихоню прошиб пот. Как так неверно? Он отлично помнил эту дату.

— Нет, товарищ нарком, я не ошибаюсь: постановление от 12 мая.

— Неверно,— повторил Онисимов.

Его бритая верхняя губа приподнялась. Жесткая улыбка приоткрыла крепкие белые зубы.

— Неверно,— сказал он в третий раз.— Не постановление, а распоряжение. Память-то, как видите, вас подвела.

Не однажды Онисимов еще муштровал, школил начальника Главтрубостали. Великая война наново его, Цихоню, проэкзаменовала, как и всякого иного. Из-под носа у немцев был вывезен уникальный трубный Заднепровский завод. Цихоня оставался там, пока не был погружен последний состав. И лишь с этим составом уехал. Минометные стволы, трубочки самого малого диаметра для авиации, мощные трубопроводы для развертываемых на Востоке предприятий — все это давали и давали заводы Главтрубостали, которым по-прежнему командовал Цихоня. В конце войны вслед за Тевосяном, за Онисимовым и он был награжден звездой Героя. Уйдя в Комитет, Онисимов передал ему свое место министра. Признаться, имелись и не менее достойные кандидатуры, однако Цихоня, сохранивший во всех передрягах вид простака-увальня, доброго малого, пожалуй, был самым покладистым, оставался послушен во всем главе Комитета. А Онисимов не терпел возражений. Думается, это была его слабость. Впрочем, быть может, тут лишь выразилась черточка времени: он и сам никогда не прекословил тем, кого был обязан слушаться, но зато вспыхивал, обрывал, если какой-либо подчиненный отваживался ему перечить. В молодости — а он уже в тридцать лет стал начальником главка — Онисимов еще умел слушать и принимать возражения, но затем перестал выносить людей, которые с ним не соглашались. «Делай мое плохое, а не свое хорошее»,— нередко повторял Александр Леонтьевич. Единственным, кому дозволялось противоречить Онисимову, был в свое время Алексей Головня — первый его заместитель. Однако, перейдя десяток лет назад в свою новую резиденцию — в здание Совета Министров,— Онисимов вместо себя на посту министра оставил Цихоню. И по-прежнему вникал в разные мелочи, тонкости безостановочного металлургического произ-

водства столь же оперативно, как и раньше,— это было его страстью,— управлял стальной промышленностью.

Еще какие-то мгновения они, Цихоня и Онисимов, посматривают друг на друга, безмолвно вспоминают прошлое. А что же в будущем? Как знать, как знать, может быть, и доведется опять вместе поработать.

16

Андрюша стоит рядом с отцом, неприметно проводит кончиками пальцев по ворсу отцовского пальто. Он, диковатый, думающий мальчик, как бы со стороны наблюдает за этим сборищем министерских высших служащих, за воротилами и тружениками индустриальных штабов,— нет, сам он не сможет стать таким, да и не тянет его к этому,— с сыновьей гордостью видит: ими признаны, чтутся заслуги отца.

В поместительную, но ставшую сейчас тесноватой комнату входят еще и еще люди, отмахавшие сюда из Москвы по сорок километров на машинах лишь для того, чтобы обменяться поклоном, рукопожатием с Александром Леонтьевичем, пройти вместе с ним к самолету.

На дородном, порозовевшем лице матери мальчик подмечает удовлетворение. Она вежливо кивает входящим, немало друзей — не друзей, но товарищей мужа, так сказать, однополчан индустрии, явились выказать ему уважение.

Андрей замечает: еще кому-то вежливо кивнула мать. В ту сторону взглянул и Александр Леонтьевич. На его лице ничего не выразилось, хотя он узрел, что провожать прибыл и Серебрянников. Так сказать, соблаговолил. А тот, никого не толкнув, благопристойно пробирается к Онисимову, почтительно глядя голубыми навыкате глазами.

Александр Леонтьевич мгновенно оценивает появление Серебрянникова: не означает ли оно, что незримая стрелка некоего незримого барометра указывает на «переменно»? И сухо здоровается со своим бывшим ближайшим сотрудником. Серебрянников с достоинством отходит, останавливается в нескольких шагах от четы Онисимовых, каждый может видеть, что и он исполняет долг — провожает Александра Леонтьевича.

Онисимов кладет руку на плечо Андрюши. Мальчика волнует эта прощальная скупая ласка. Он на миг прини-

кает щекой к рукаву отцовского пальто. Конечно, Андрюша и не подозревает, что тринадцать лет назад он, в те дни лишь годовалый, был как бы косвенным участником некоего события, после которого отец возвысил, приблизил Серебрянникова.

Пожалуй, расскажем и эту историйку. Так или иначе где-то в нашем романе ей надо найти место.

...Итак, 1943 год. На втором этаже наркомата — этаже, недоступном рядовым сотрудникам,— где размещались нарком, его заместители и члены коллегии, был устроен бесплатный ночной буфет. Как известно, продовольствие в это суровое военное время выдавалось в тылу только по карточкам. Однако работники, продолжавшие в наркомате и после полуночи свой трудовой день, могли воспользоваться этим спецбуфетом, выпить стакан чая или кофе, съесть один-другой бутерброд. Это дополнительное питание не было нормированным, но Онисимов подавал пример умеренности. Всякий раз, когда в буфет стараниями начхоза, общительного Филипповского, знавшего, как говорится, всю Москву, попадали яблоки или икра, или копченая красная рыба, Онисимов неумолимо распоряжался отослать в детский сад такого рода лакомые редкости. Сам он неизменно ограничивался чаем и одним скромным бутербродом. И лишь сигарет забирал помногу.

Как-то проходя коридором к себе в кабинет в предрассветный час, он заприметил молодого референта, чинного Серебрянникова, показавшегося из дверей буфета. Почудилось, будто референт вздрогнул. Вздрогнул и остановился на пороге, уважительно уступая путь наркому. От острого глаза Александра Леонтьевича не укрылось, что при этом он заложил, спрятал руку за спину.

— Покажи. Что ты там держишь?

Серебрянников покорился. В его руке оказался аккуратно завернутый в пергаментную бумагу объемистый кубик.

— Что это?

— Сливочное масло.

Уже в те времена Онисимов не сдерживал свою вспыльчивость, вспыхивал, как спичка. Он гневно прокричал:

— Как вы посмели?

Это обращение на «вы» уже заключало приговор. Было известно: Онисимов мог простить какую угодно ава-

рию, но не спускал нечестности, нечистоплотности. Серебрянников, потупившись, молчал.

— Вот на что вы способны!

Мертвая тишина водворилась в буфете. Все, кто находился там, прислушивались. Референт по-прежнему не отвечал.

— Идите за мной,— скомандовал нарком.

И, не оглядываясь, направился быстрым шагом в кабинет. Там у него сидели Алексей Головня и два директора заводов. С виду сохраняя спокойствие, без каких-либо суетливых движений вошел в кабинет со своим злосчастным свертком и лупоглазый референт.

— Положите на стол,— произнес Онисимов.

Серебрянников тотчас исполнил повеление. Нарком закурил. Его била дрожь негодования.

— Использовать свое положение ради этого куска! Как вам не стыдно!

Виноватый молчал. Это упорное молчание лишь еще более раздражало, накаляло Онисимова.

— Что вас толкнуло на эту подлость?

Серебрянников вымолвил:

— Я могу это вам сказать лишь наедине.

— Говорите сейчас! У меня с вами секретов нет!

Серебрянников лишь отрицательно повел лысой головой.

— Вон!— крикнул Онисимов.— Сегодня же вы будете уволены как бесчестный человек.

Не пытаясь ни единым словом защищаться, референт под презрительным, безжалостным взглядом наркома покинул кабинет.

Примерно час спустя Онисимов закончил разговор с директорами, отпустил и Головню. И потянулся к трубке внутреннего телефона, чтобы позвать к себе начальника отдела кадров. Следовало сегодня же — Онисимов слов на ветер не бросал — сформулировать и подписать приказ об изгнании Серебрянникова из наркомата как мелкого гнусного самоснабженца. Однако вспомнилось: «Я могу вам сказать лишь наедине». Черт с ним, выслушаю его справедливости ради.

И вот немногословный референт вновь у наркома. Теперь они в кабинете вдвоем. Брусочек в желтоватой пергаментной бумаге, уже чуть подтаявший, по-прежнему возлежит на столе.

— Ну-с, могу вас выслушать. Хотя сомневаюсь, чтобы вы нашли оправдание этой пакости.

Серебряннников негромко проговорил:

— Ваша жена позвонила мне. Просила взять ей это для вашего ребенка.

Наступила очередь помолчать и для Онисимова.

— Ступай,— сказал, наконец, он.— И никогда больше так не делай.

Серебрянников, поклонившись, повернулся, но нарком еще задержал его.

— Возьми это,— Александр Леонтьевич указал на сверток.— Отдай в буфет.

Так поступил Онисимов. Он остро любил своего Андрейку, целовал, приезжая домой, крохотное тельце, прижимал к лицу сыновью подушечку, рубашечку, но не позаимствовал для сына из спецбуфета хотя бы кусок масла.

Месяца через два после этого случая Онисимов назначил лысого референта начальником своего секретариата. Помимо других свойственных ему достоинств, Серебрянников удовлетворял и требованию, которое Александр Леонтьевич не раз строго высказывал: аппарат не должен болтать! В дальнейшем нарком так привык к своему доверенному, что однажды в его присутствии разрешил себе ироническую реплику в а д р е с — читателю придется простить нам и этот канцеляризм,— в адрес своей Елены Антоновны.

Как-то, еще в те времена, когда рабочий день Онисимова неизменно заканчивался лишь в четыре, в пять часов утра, она позвонила ему в кабинет после полуночи. Ограничившись в последовавшем телефонном разговоре несколькими односложными ответами, он положил трубку, посмотрел на стоявшего с бумагами пристойного Серебряннникова, вымолвил:

— Деловая женщина. Заработалась за полночь.

Так он сыронизировал. Но только единственный раз. Подобных шуток больше никто от него не слышал.

...Вот в депутатской комнате аэровокзала чуть ли не в последнюю минуту появляются быстроглазый, загорелый, чему-то смеющийся Малышев и черноволосый, с белозубой улыбкой Тевосян — два заместителя Председателя Совета Министров СССР. Впрочем, насчет Тевосяна упорно поговаривали, что начавшиеся перемены коснутся и его. Вероятно, и он будет направлен за границу. Уже называли и предназначенную ему миссию: посол в Японии. И все же, хотя его положение и впрямь

было непрочным, он присхал проводить давнего товарища, крепко, без слов пожал руку Онисимова.

Предводительствуемые девушкой, одетой в изящную, сшитую по фигуре темно-синюю форму Гражданского воздушного флота, все они — Онисимов, маленькая его семья, несколько улетающих с ним работников посольства, гурьба провожающих,— пройдя через особый выход, шагают в рассветной мути по освещенному рефлекторами мокрому летному полю к белеющему невдалеке, опирающемуся на расставленные тонкие ноги, длинному красивому Ту-104.

Путь пересекает, заставляет на минуту остановиться осторожно ползущая автоцистерна. Онисимов оборачивается. Туда же, на вереницу провожающих, посматривает и Елена Антоновна. Даже не переглянувшись, супруги понимают друг друга. Получилась ведь своего рода небольшая демонстрация. Можно сказать и, наверное, так скажут: демонстрация солидарности. Бойцы за выполнение директив, вышколенные государственные люди решились проводить снятого, смещенного Онисимова, пройти вместе с ним толпой, если не колонной, по аэродромному плацу. Конечно, пределы дозволенного ничуть тут не нарушены. Но все-таки... Все-таки колеблются, колеблются еще весы истории. Быть может, поухает, поурчит гром и угомонится. И Онисимова вновь призовут в индустрию.

Путь освобожден, все двигаются дальше. Вот и трап, ведущий к дверце самолета. Дальше провожающих не пустят. Онисимов обеими руками машет всем, потом обращается к сыну:

— Ну, Андрюша, до свидания.

— Папа, я тебе буду высылать книги. Все интересные новинки.

— Куда мне все? Но некоторые посылай.

— Хочешь, я тебе подберу самые лучшие труды по мировой истории? И ты изучишь там историю.

— Идет. А про новые времена извещай в письмах. Хорошо?

Андрей вдруг привстает на цыпочки, тянется к уху отца, задорная улыбка морщит губы мальчика. Понизив голос, он говорит:

— У новых времен еще зубки не прорезались.

Александр Леонтьевич опять, не в первый уже раз, с удивлением взирает на худенького сына. Тих, тих, а иногда выложит такое, что хоть разводи руками. Неуже-

ли и он, этот беленький мальчик со вздернутым иосом, уже все понимает?

Кто-то из аэродромного персонала вежливо просит Онисимова подняться в самолет. Он чмокает в щеку жену, целует сына, вновь машет обеими руками всем, кто ради него сюда приехал, взбирается по трапу и, обернувшись напоследок, скрывается в кабине самолета.

Посадка продолжается еще минуту-другую. Шагают, шагают по ступенькам пассажиры. Но вот отодвинут трап, дверца задраена, Ту-104 тяжело трогается, выруливает на стартовую дорожку. Вскоре летящий огненный хвост возникает в небе: струю раскаленных газов извергают два сопла, изготовленные из особой жароупорной стали, той, ради которой Онисимов, председатель Комитета по делам топлива и металлургии, простаивал некогда целыми днями на рабочей площадке сталеплавильной печи завода «Электрометалл». Вот потускнели, померкли в вышине последние огненные росчерки, самолет ушел по своему курсу.

17

Скажем лишь несколько слов о том, как складывался на новом месте быт и рабочий день Онисимова.

Равнодушный к уюту, он обитал один в пустынной трехкомнатной квартире, обставленной отличной новой мебелью. Ни одну вещь он не велел переменить, ни одну не переставил по-своему. Расположенная на втором этаже в здании посольства, эта квартира была соединена дверью с кабинетом, который, таким образом, являлся как бы четвертой личной комнатой посла и вместе с тем уже служебным помещением. Написанный маслом огромный портрет Сталина во весь рост красовался над письменным столом — источали блеск звезды на груди и на погонах, сияли сапоги, а руки, спокойно сложенные на животе, лишь подчеркивали величие. Уже свыше года истекло со дней Двадцатого съезда, где был развенчан скончавшийся, но его бюсты и портреты, обязательные в каждом советском селении, в каждой конторе, пока оставались неприкосновенными. Наверху, как имел основание полагать Онисимов, не чуждый, понятно, партийных и государственных тайн, продолжалась скрытая от непосвященных борьба. И снова, как и при отлете из Москвы, зачастую чудилось, что некие весы истории, поколе-

бавшись, замерли. Замерли, но ненадолго. С такого рода ощущением и жил в те месяцы Онисимов.

Опять ровно в девять, минута в минуту, лишь не по-московскому, а по-здешнему, среднеевропейскому, времени, он появлялся в кабинете. Александр Леонтьевич и здесь носил черный в едва заметную полоску пиджак — правда, новехонький, современного кроя,— белоснежную сорочку, скромный серый галстук. Лишь для приемов, подчиняясь этикету, он надевал сшитый тоже в Москве смокинг. Сохранил привязанность и к привычным сигаретам «Друг». В письмах домой он ничего не просил ему прислать — только сигареты «Друг». Приглушая в себе ноющую нотку — Онисимов не называл ее тоской,— он выкуривал по две, по три пачки в день. Выпадали промежутки, когда запасы московских сигарет исчерпывались. Приходилось курить американские —«Кемел», «Честерфильд». Кашель Онисимова, случалось, усиливался, стал каким-то лающим, натужливым. Он объяснял это сменой табака.

Итак, ровно в девять он появлялся в кабинете, садился в кресло, надевал очки. И колесо рабочего дня сразу же набирало обороты, обретало полный ход. Прежде всего — почта. Затем — пресса. Между сотрудниками — знатоками Северной Европы — были распределены все более или менее значительные выходящие в Тишландии и прилегающих странах газеты. Один за другим молодые помощники излагали Онисимову содержание газетных страниц, реферировали сегодняшнюю прессу. Некоторые важные статьи ему целиком переводили вслух. Как всегда нетерпеливый, он раздраженно морщился, если сотрудник запинался, медлил, искал слов. Пожалуй, раздражительность Александра Леонтьевича здесь даже усилилась: непонятный внутренний зуд — словно бы где-то в сосудах, в крови — не давал покоя, хотелось вспылить, накричать. Онисимов себя сдерживал, лишь заметнее становилась дрожь, как бы беспричинная, его маленькой руки.

Прессе он посвящал два или три часа. Далее занимался подготовкой очередного большого приема. Ни один приглашенный в советский особняк не должен скучать, надо каждого занять, оказать ему внимание, поддержать с ним разговор. Вот этот экономист... Кто прочел его труды? Почему это не сделано? Мы обязаны знать работы, выступления, биографии всех, кто придет в наши залы на прием. Двум своим советникам, приехав-

шим с ним из Москвы, Макееву и Новикову, инженерам-металлургам, которые свыше десятка лет потрудились в его секретариате, приноровились к напору, к требовательности Александра Леонтьевича, он говорил:

— Прием — это наша работа в цехе.

Однако этой нагрузки, которую он сам создавал себе, в которую с обычной готовностью впрягался, хватало ему лишь до обеда. Что же делать дальше? Чем заполнить день? Он заставлял себя посещать выставки, музеи, осматривать столичные достопримечательности. Но оставался еще вечер. Нередко советского представителя приглашали на приемы. Облачившись в смокинг, он ехал туда — на свою вечернюю упряжку. И добросовестно ее отбывал: поддерживал или завязывал вновь знакомства, любезно улыбался, открывая красивые кремовые зубы, умел быть приятным, пошутить. Приходилось и выпивать рюмку-другую. Нельзя было отнекиваться, когда возглашался тост за здоровье короля или королевы.

Александр Леонтьевич почти не переносил алкоголя, на утро после банкетов он вставал разбитым, чувствовал непривычное для него утомление среди дня.

И все же многие вечера оставались пустыми. В своей необжитой, словно временное гостиничное обиталище, квартире Онисимов отыскивал уже прочитанные московские газеты (они прибывали сюда на третий день), шелестел листами «Правды», еще и еще вчитывался даже в мелкие заметки, чего-то искал меж строк, уносился мыслями в Москву.

Иногда он звонил Макееву:

— Приходи. Сыграем в шахматы.

Еще в мальчишескую пору Онисимов потянулся к шахматам, обнаружил способности и, быть может, одаренность в этих сражениях на шестидесяти четырех клетках. Но и тогда для игры у него почти никогда не было времени. А далее и подавно. Пожалуй, лишь в вагоне, выезжая с группой помощников на восточные или южные заводы, он мог предаться любимому развлечению и два-три часа, покуривая, проводил за доской. Остро нападал, цепко защищался. Бывал глубоко уязвлен, если доводилось проигрывать. Втайне из-за этого злился и, хотя старался подавить досаду, становился угрюмым, мог негаданно вспылить. Макеев был его давним партнером.

В чинной просторной гостиной под люстрой, льющей холодный яркий свет, они расставляли на шахматном столике фигуры. Обычно отличающийся быстрой реак-

цией, отнюдь и в шахматах не тугодум, Онисимов среди партии вдруг задумывался. Макеев незаметно взглядывал на Александра Леонтьевича. Тот размышлял явно не над ходом: куда-то смотрел мимо стола. Потом спохватывался, продолжал игру, но без вкуса, без агрессии, которая и за шахматной доской была свойственна ему. Встревоженный вялостью Александра Леонтьевича, преданный ему советник развивал азартную атаку, угрожал и наконец с облегчением видел, что Онисимов обретает себя, ищет защиту, наносит жестокий ответный удар.

Но снова выпадали минуты, когда Александр Леонтьевич словно бы отсутствовал. В Москве Макеев не видывал Онисимова таким поникшим, погасшим. Не болен ли шеф?

Однако спрашивать об этом не полагалось. Онисимов недовольно отстранял всякие вопросы о самочувствии, о здоровье. Порой за шахматами он заговаривал про московские дела, про Комитет, оживлялся, вспоминал, как дрался с Госпланом за капиталовложения для развертывания рудных баз. Или, будто с кем-то споря, доказывал экономическую целесообразность сооружения металлургического комбината на Шексне. Макееву чудилось, что бывший министр, бывший председатель Комитета здесь, на далекой чужбине, опровергает чьи-то обвинения, стремится оправдать себя хотя бы перед ним, партнером в шахматах, скромным подчиненным. Случалось, Александр Леонтьевич начинал вслух размышлять о готовящейся, еще не совершившейся перестройке управления промышленностью и, будто опять от кого-то защищаясь, отстаивал необходимость осторожности, но быстро осекался, пускал в ход тормоза, оставлял свое мнение при себе.

И снова погаснув, замкнувшись, возвращался к игре, доводил партию до конца. Прежнего удовольствия шахматы ему уже не доставляли. Даже победа — а деликатного Макеева он и теперь частенько побеждал — не радовала его.

— Александр Леонтьевич, час еще не поздний. Сыграем вторую?

— Хватит. Спасибо. Пойду лягу, посплю.

И Онисимов ложился в свою одинокую постель. Ложился необычайно рано, в десять, в одиннадцать часов и, привыкший годами и десятилетиями гасить в Москве огонь под утро, конечно, не мог уснуть. К снотворному не хотелось прибегать. В эти бессонные часы он опять

многое перебирал в памяти, думал и думал. Нет, не о Северной Европе.

18

В июне этого же 1957 года в стране, которую Онисимов окрестил Тишландией, предстояло некое событие: открывалась международная промышленная выставка. В Москве для поездки на выставку была сформирована группа инженеров и ученых. В составе этой своего рода делегации три места из шестнадцати принадлежали металлургам. Среди них находился и академик Василий Данилович Челышев, доменщик по специальности, который мельком уже фигурировал в нашей хронике.

Однако, прежде чем характеризовать далее Челышева, позволю себе небольшое отступление. Мне довелось близко его знать, я пользовался его устными рассказами, советами, когда еще в тридцатых годах писал повесть о дерзновенном Курако, учителе Василия Даниловича. И недавно вновь имел случай убедиться, что сохранил его доверие. Он познакомил меня со своими дневниками, порой на удивление подробными. Они стали, с его разрешения, одним из главных источников или даже истоков этой летописи.

Накануне отъезда на международную выставку Челышев — назовем, кстати, его тогдашнюю должность: директор научно-исследовательского Центра черной металлургии и член президиума Академии наук — понаведался, как это можно установить по его дневниковой записи, в Министерство стали. Среди дел, которые привели его туда, Василий Данилович упоминает лишь письмо-слезницу инженера Лесных. Несколько лет назад из-за этого Лесных, упрямо отказавшись применять в промышленности, в заводских масштабах, его изобретение, новый способ плавки, Василий Данилович заработал подписанный Сталиным выговор и, мало того, по приказу свыше был вытурен, как говаривал сам Челышев, из заместителей министра. А ныне, не угодно ли, тот же Лесных, потерпевший, как и следовало ожидать, страшный конфуз, осмеянный, ославленный, изгнанный с завода, выстроенного, чтобы плавить сталь по его способу, ищет заступничества у того же Челышева, просит взять под крыло науки, спасти хотя бы одну из остановленных, заброшенных его печей. Что же, надобно, ничего не попишешь, вступиться.

Нет сомнения, у Челышева имелись и еще разные дела в министерстве: они неизменно поднакапливались. Кроме того, он не прочь был тут услышать и напутствие в дорогу, пожелания, а заодно и последние новости, слухи,— этого не гнушался чуждый ханжества старик,— слухи, которые жадно ловила служилая Москва, гадающая: грянет или не грянет ликвидация министерства. Василий Данилович знал, что в чужеземной столице его будет расспрашивать Онисимов, хотелось привезти ему самые свежие, горяченькие вести.

Как обычно, машина Челышева подкатила не к главному подъезду, отмеченному золоченой надписью-вывеской под толстым стеклом, а к расположенному в переулке неприметному боковому входу, предназначенному для министра и членов коллегии.

Держа завязанную тесемками голубоватую папку,— с портфелем Челышев хаживать не любил,— он вылезает из машины, длинный, костистый, наживший, однако, небольшое брюшко, которое слегка обозначается под свободного покроя темно-серым пиджаком. Мягкая серая шляпа сдвинута несколько назад, открывая залысину и большое, непородистое, торчащее в сторону ухо. Крутой выгиб крыльев хрящеватого нервного носа, пожалуй, выдает скрытую страстность. Маленькие, глубоко запавшие глаза как бы прикрыты выступами сильно развитых бровных дуг, поросших лохматым сивым волосом. Когда-то Челышев постоянно казался нахмуренным, но уже очень давно (далее мы, возможно, расскажем, как и когда это случилось) словно бы приподнял голову, то и дело выказывая живое посверкивание в тени глазниц.

Он и сейчас поглядывает по сторонам — не покажется ли в переулке кто-либо знакомый? Посмотрел и на соседнее многооконное здание — там, еще при Орджоникидзе, он, заядлый заводской инженер, начал свое новое житье-бытье. Приглашая Челышева со знаменитого завода «Новоуралсталь» на работу в наркомат, Серго не нашел для него в штатном расписании подходящего звания и тут же учредил для него единственную в своем роде должность: Главный доменщик Наркомтяжпрома. Этаким Главным доменщиком советской металлургии Челышев, несмотря на разные превратности судьбы, остался и поныне.

Василий Данилович входит в подъезд. Вахтер в форме, обязанный проверять пропуска, стоит у столика. Рука

Челышева тянется в боковой карман за постоянным пропуском, но страж улыбается:

— Проходите, Василий Даиилович.— Молодой чистенький солдат знает Главиого доменщика и смотрит с улыбкой, как тот не по возрасту легко берет ступени лестницы, устланной ковровой дорожкой.

У Челышева еще много сил. Частенько бывая в металлургических районах Востока и Юга, он лазает на колошники, спускается в скиповые ямы, исхаживает миогие километры по заводской территории, по цехам, запускает глаз и на задворки.

Василий Даиилович шагает по широкому сумрачному коридору на втором этаже министерства. По обеим сторонам виден ряд полированных дверей. Тут служебные обиталища заместителей министра. А дальше, в коице коридора, расположеи отсек, где сосредоточены и секретариат, и приемиая, и кабинет миинстра, и примыкающая к этому кабииету комната, так называемая бытовка, где можно прилечь или поесть. Неподалеку размещен и буфет. Сейчас дверь в буфет раскрыта, оттуда доносятся голоса, чей-то басовитый смех.

Раньше, когда министерство возглавлял Онисимов, можио было даже здесь, в коридоре, сразу определить: иа месте ли он. Напряжениая тишина, изредка быстро, сосредоточенио пройдет какой-либо работник, если кто-нибудь и заговорит, то понизив голос,— зиачит, Алексаидр Леоитьевич у себя. И все несколько меиялось, как только ои уезжал: в коридоре прохаживались, гуторили, уже и из буфета долетали какие-то живые звуки. Но все же приглушенные. Даже и отсутствуя, Онисимов в те времеиа наводил тут строгость.

А теперь из раскрытых дверей буфетного зальца громогласио приветствуют идущего мимо Челышева. И поди-ка угадай — пребывает ли сейчас в своем кабииете ынешний миииистр, жизнерадостиый румяиый Цихоня.

Двойная дверь, ведущая из приемиой к нему, настежь распахнута,— этим способом по иеписаной ииструкции прииято сообщать, что кабииет пуст. Дежурный секретарь Валерия Михайловиа, которую Челышев помиит в миииистерстве еще с довоеиных лет, радостио встречает академика:

— Накоиец к нам загляиули! Только что звонил Павел Георгиевич — (таково имя-отчество министра),— сказал, что скоро будет. Проходите, Василий Данилович, располагайтесь у него.

— Нет. Пока тут поброжу, потолкую с тем, с другим.
— Может быть, кого-нибудь вам пригласить сюда?
— Зачем? Сам отыщу.

И все же он входит в кабинет, шагает по ковру серо-желтых тонов. При Онисимове тут не было ковров, Александр Леонтьевич их относил к предметам роскоши, которые неуклонно изгонял из своего обихода. Но требовал навощивать, натирать светлый паркет до зеркального блеска, до сияния. И этим еще не довольствовался: по его велению паркет ежегодно циклевали. Ни в одном уголке пол тогда не был тускловатым, сверкал столь же безукоризненно, как и весь тот обнаженный паркетный простор. Теперь же появился и ковер, в меру лоснится и паркет, но поражающий строгий блеск уже исчез.

Василий Данилович подходит к столу, приостанавливается. На стене еще висит оставшаяся тут со времен войны географическая карта. Можно различить чуть заметные проколы,— сюда в страшные месяцы 1941 года нарком Онисимов собственной рукой втыкал булавки со значками, отмечая передвижение эшелонов, что эвакуировали, вывозили на Восток южные заводы.

Эта карта, испещренная вереницами флажков, висела здесь и в тот памятный вечер, когда над Москвой впервые появились гитлеровские бомбардировщики. Василий Данилович тоже находился тогда тут, в этом кабинете, приглашенный на совещание к Онисимову. Внезапно завыли сирены воздушной тревоги. Онисимов, как ни в чем не бывало, даже не покосившись в сторону наглухо зашторенных окон, по-прежнему вел заседание, не прерывал дела. Загремели выстрелы зениток. Донеслись тяжелые взрывы сброшенных авиабомб. От близкого удара содрогнулось здание, задребезжали стекла. Онисимов сказал:

— Потушим-ка свет. Посмотрим, что творится.

Он сам выключил настольную лампу, была быстро погашена и люстра. Тьма завладела кабинетом. Онисимов распахнул окно. Неверные отсветы скользнули по лицам. Прожекторные лучи шарили в небе, разноцветный пунктир трассирующих пуль уходил ввысь, красноватые разрывы возникали в вышине.

Александр Леонтьевич молча стоял у окна, наблюдая. Некоторые подошли к нему, другие держались поодаль. Челышев сказал:

— Вы, Александр Леонтьевич, смельчак. А я, признаюсь, трус. Пойду в убежище.

И зашагал из кабинета. Никто не осмелился за ним последовать.

А впоследствии... Впоследствии случались и еще испытания мужества.

Старик академик садится к столу в одно из удобных кресел,— у Онисимова и кресла, помнится, были пожестче,— раскрывает папку, проглядывает бумаги. На глаза попадаются и письма этого, черт его дери, Лесных. Вот как пошутила жизнь. Невеселая шутка. Василий Данилович не забыл: в тот далекий час странная дрожь затрясла пальцы Онисимова. Тогда, собственно, и развернулась вся эта невероятная история внезапного возвышения, а затем и падения инженера Лесных — одна из драм отошедшего времени, записанная в дневниках Челышева.

19

Это произошло ровно пять годов назад — летом 1952-го.

Василий Данилович сидел на этом же месте у стола и, так же раскрыв принесенную с собою папку, что-то обсуждал с Онисимовым. И раздался тот памятный звонок по телефону-вертушке. Онисимов спокойно взял трубку и вдруг красные пятна проступили на щеках. Он порывисто встал и далее вел разговор стоя. Василий Данилович знал, что лишь перед единственным человеком Онисимов вот этак вытягивался у телефона. Да, Александру Леонтьевичу действительно позвонил Сталин.

Челышев, естественно, слов Сталина не различал, слышал лишь ответы Онисимова.

— Да, слушаю, товарищ Сталин... Способ Лесных? Да, знаю.

Онисимов нервно нажал несколько раз кнопку звонка в секретариат. На эти звонки-вызовы тотчас в кабинет вбежал Серебрянников, несмотря на поспешность, отнюдь не суетящийся, нимало не утративший постоянного благообразия. Онисимов четко отвечал:

— Да, товарищ Сталин. Да, лично знакомился.

Прикрыв раструб рукой, он прошипел:

— Сейчас же сюда все, что у вас имеется относительно Лесных.

Не переспрашивая, схватив приказание на лету, Серебрянников с той же целеустремленной быстротой исчез. Онисимов проговорил в трубку:

— Могу сообщить, что года два назад инженер Лесных обращался со своим предложением в министерство. Была произведена...

Сталин, очевидно, его перебил. Онисимов мгновенно замолчал. Он слушал, выпрямившись, как и раньше. Маленькая рука твердо держала телефонную трубку. Волнение по-прежнему пятнами жгло щеки, но небоязливый, сосредоточенный взгляд свидетельствовал о присутствии духа.

— Да, его жалобу я сам разбирал. Была привлечена и авторитетная комиссия. Кроме того, дал заключение и Василий Данилович Челышев.

Только тут Челышев, наконец, вполне уяснил, о чем и о ком расспрашивает Сталин. Вначале как-то не укладывалось, что речь идет о том самом одутловатом, страдавшем одышкой человеке, который... Ну, Лесных, преподаватель из Сибири. Предложил способ выплавки стали прямо из руды, минуя доменный процесс. Объявил, что кокс более не нужен, что взамен минерального горючего будет служить электроток. С невероятным упорством, с маниакальной убежденностью отстаивал, продвигал свое предложение. Пробился и к Челышеву. Отзыв Василия Даниловича был новым ударом, новым разочарованием для изобретателя. Челышев написал, что способ Лесных технически осуществим, но экономически нецелесообразен, так как чрезвычайно дорог. Это дело не нынешнего десятилетия. Пусть изобретатель, увлеченный своей выдумкой, возится, экспериментирует, некоторую помощь в разумных пределах ему надо оказать, эта работа, возможно, прояснит некоторые теоретические вопросы металлургии, но не следует — по крайней мере в обозримой перспективе — рассчитывать на какой-либо практический эффект, на практическое применение способа Лесных в промышленности.

Настырный изобретатель не остановился и перед жалобой в Центральный Комитет партии. Оттуда жалобу и все материалы переслали министру Онисимову. Пришлось и тому рассматривать заявку Лесных, его чертежи и вычисления, а также многочисленные отзывы, отклонявшие изобретение. Александр Леонтьевич проделал это со всей свойственной ему тщательностью. С карандашом он высчитал, что химизм процесса по способу Лесных потребует практически недоступных температур. Если же реакция, паче чаяния, все же пойдет, то шлаки

приобретут такую едкость, перед которой не устоит никакой огнеупор. Конструкция предложенной печи, как убедился Онисимов, изучив чертежн, тоже была несостоятельной, не устраняла, напрнмер, слипания руды, нисходящей в ванну. Его выводы были еще более категоричны, чем заключенне Челышева. Как-то в те дни он даже попенял Василию Даниловичу:

— Вы проявнлн мягкотелость.— Словечко «мягкотелость» было весьма неодобрительным у Александра Леонтьевнча.— Лишь по доброте могли вы написать, что способ техннческн осуществнм.

— Почему? Теоретически он мыслим.

— Однако мы же с вами не сомневаемся, что из этой затен ничего не выйдет. Так и следовало сказать, никого не обнадежнвая.

— Да пускай он там копается.

— Не нам это решать. Он работает не в нашей системе, а в Министерстве высшего образования. Не думаю, чтобы оно нуждалось в наших невинных пожеланиях.

И вот два года спустя вдруг Сталин спросил по телефону об инженере Лесных. Как могло это случиться? Каким образом предложенне Лесных проникло к Сталину сквозь нескончаемые заграждения? Прислушиваясь к объяснениям Онисимова, Челышев вспомнил некие мутные толки о том, что ведомство лагерей, подчнненное Берии, занятое проектнрованием гигантских гидроэлектростанций в Восточной Сибири, подкинуло де какие-то средства Лесных на его опыты.

Разговор по телефону продолжался. Безмерное уваженне к собеседнику по-прежнему читалось в крайне внимательном лице, в недвижности выпрямленного корпуса. Стоя как бы по команде «смирно», при этом, однако, не вскинув голову,— она казалась втиснутой в плечи еще глубже, чем обычно,— Онисимов не пытался уклоняться от прямых ответов. Не следует думать, что ему было чуждо умение ускользать. Однако эта способность будто бесследно испарялась, когда к нему обращался Сталин. Сугубая точность, пунктуальность бывала тут не только делом чести, святым долгом, но и щитом, спасением для Оннсимова.

— Как инженер не могу поддержать, Иосиф Виссарионовнч, этот способ.

Опять он осекся, стал слушать. Неожиданно вновь изменнлся в лице, побледнел.

— Нет, не был информирован. Впервые сейчас об этом слышу.

И тотчас справился со своим смятением, вернул хладнокровие:

— Была проведена солидная экспертиза, Иосиф Виссарионович. Я, разумеется, несу полную ответственность. Кроме того, как я вам уже докладывал, этим занимался и товарищ Челышев. Он, кстати, сейчас здесь у меня сидит.

Василий Данилович понимал, что Онисимов стремится получить передышку хотя бы на несколько минут, чтобы опамятоваться, оправиться от какой-то страшной неожиданности, затем достойно ее встретить. Этот ход удался. Александр Леонтьевич протянул трубку Челышеву:

— Иосиф Виссарионович вас просит.

20

Мембрана донесла медлительные интонации Сталина:

— Товарищ Челышев? Здравствуйте.— Телефон будто усиливал его всегдашний резкий грузинский акцент.— Вам известно предложение инженера Лесных о бездоменном получении стали?

— Да.

— Что вы об этом скажете?

— Поскольку я с его замыслом знакомился, могу вам...

— Сами знакомились?

— Да.

— Так. Слушаю.

— На мой взгляд, Иосиф Виссарионович, предложение практической ценности не имеет. В промышленности применить его нельзя.

— То есть дело, не имеющее перспективы? Я правильно вас понял?

Что-то угрожающее чувствовалось в тоне, еще как бы спокойном. Василий Данилович ответил:

— В далекой перспективе мы, может быть, действительно будем выплавлять сталь только электричеством. Пока же...

— И изобретателю, следовательно, не помогли?

Пришлось промолчать. Челышев не хотел заслоняться строчками своего заключения — изобретателю-де надо оказать небольшую разумную помощь,— не хотел

подводить этим Онисимова. А ссылка на другое министерство, ведавшее преподавателем Лесных, казалась и вовсе чиновничьей, претила Василию Даниловичу. Сталин, однако, не позволил ему избежать ответа.

— Так что же, не помогли?

Челышев буркнул:

— Не знаю.

— А я знаю. Вы с товарищем Онисимовым не помогли. Вместо вас это сделали другие. И хотя вы придерживаетесь взгляда, что изобретение практической ценности не имеет...— Сталин выдержал паузу, словно ожидая от Челышева подтверждения.— Я правильно вас понял?

— Да.

— Тем не менее у меня на столе, товарищ Челышев,— голос Сталина зазвучал жестче,— лежит металл, лежат образцы стали, выплавленные этим способом. Я вам их пришлю. Вам и товарищу Онисимову.

Челышев понял — вот к какому известию относилось восклицание Онисимова: «Впервые сейчас об этом слышу». Василий Данилович тоже лишь теперь услышал эту новость.

— Выплавить-то можно,— сказал он.— Но сколько это стоило?

— Почти ничего не стоило. Плавку провели в лаборатории Сибирского политехнического института. Помощниками товарища Лесных были несколько студентов.

Опять в кабинет бесшумно вбежал Серебрянников, держа две папки. Онисимов их почти выхватил, стал быстро листать, поглядывая и на Челышева, разгадывая, если не по его взору — маленькие глаза академика совсем скрылись под хмуро нависшими бровями,— то по мимолетным теням на сухощавом лице, о чем говорит Сталин.

Серебрянников встал за спиной Онисимова, слегка к нему склонился и, как прежде, не утрачивая достоинства, был наготове для дальнейших поручений.

— А посчитать все-таки бы надобно,— сказал Челышев.— К тому же и печь пришла в негодность, кладка сгорела.

— Кто вам сообщил?

Василий Данилович позволил себе усмехнуться.

— Не маленький. Могу сообразить. Но это, Иосиф Виссарионович, было бы не страшно, если бы...

Сталин нетерпеливо перебил:

— Зачем, товарищ Челышев, подменять мелочами главное? Разве что-либо значительное рождается без мук?— Удовлетворенный своей формулой, он помолчал. Затем опять обрел медлительность.— Главное в том, что новым способом выплавлена сталь. А остальное приложится, если мы, товарищ Челышев, будем в этом настойчивы. Не так ли?

Уловив прорвавшиеся в какое-то мгновение раздраженные или, пожалуй, капризные интонации Сталина, Василий Данилович не дерзнул возражать. А возражения просились на язык. «Зачем подменять мелочами главное?» Так-то оно так, но когда-то вы, товарищ Сталин, не чурались мелочей. И допытывались, выспрашивали о всяческих подробностях. А ведь способов прямого получения стали из руды предложено уже немало, и у нас, и в мировой металлургии. И каждый способ — это мелочи, тонкости, подробности. «Будем настойчивы». Нет, не все в технике, в промышленности можно взять только настойчивостью. Сначала надо иметь верное решение.

— Таким образом, вы совершили ошибку, товарищ Челышев.— Сталин помедлил, дав время Челышеву воспринять тяжесть этих слов.— Но поправимую. Давайте будем ее поправлять. Этот металл нам нужен.

21

Признаться, Челышев заколебался.

Когда-то в декабре 1934-го он, вечно насупленный главный инженер «Новоуралстали», держал речь в Кремле, приветствовал Сталина. Приветствовал от лица сотоварищей, участников той встречи, да и от всех металлургов, которые впервые в истории России выплавили десять миллионов тонн чугуна в год.

Челышеву за два или три дня сообщили об этом предстоящем ему выступлении. Он лишь буркнул в ответ:

— Ладно.

Оратором он был никудышным. В устных преданиях, что еще и ныне заменяют не записанную никем историю отечественной металлургии, отмечено его выступление на митинге новоуралсталевцев по случаю пуска первой домны. Каждый оратор, по обычаю тех времен, заключал речь здравицей, выкрикивал, например: «Да здравствует героический рабочий класс!», «Да здравствует великий Сталин!» и тому подобное. Челышев же,

огласив, или, верней, пробормотав несколько цифр, характеризующих мощность построенной домны, самой большой в Европе, ее вооруженность механизмами, тоже под конец речи рявкнул: «Да здравствует!». Ему хотелось сказать: «домна номер первый»,— она, эта могучая печь, была его любовью, его страстью, воистину делом его жизни,— но, постеснявшись, он так и не закончил своего возгласа. Проорал: «Да здравствует!» и, к этому ничего не добавив, умолк.

Время от времени в центральной печати появлялись его статьи. Каждую из них, собственно говоря, делал, исполняя поручение редакции, тот или иной журналист, разумеется, сперва задав Челышеву ряд вопросов, занеся в блокнот его высказывания. Политическое «верую» Василия Даниловича было лишено какой-либо двусмысленности. Одушевляя свои домны, распознавая, как подчас ему казалось, их язык, понимая их жалобы, желания, ощущая себя как бы их депутатом, представителем, Челышев является сторонником Советской власти, сторонником партии, совершавшей небывалую индустриализацию. Единожды решив это для себя, он затем предоставил журналистам уснащать его статьи политическими фразами, нередко размашистыми или пустыми. Изготовленные за него статьи он легко подписывал, исправляя лишь неточности, относившиеся к технике, к его инженерной специальности.

Вот такому-то оратору и поручили сказать приветственное слово Сталину.

По брусчатке Красной площади Челышев шагал среди других металлургов к Спасским воротам Кремля.

— Ну как, Василий Данилович, приготовили речь?— спросил кто-то из спутников.

— Какую речь? Я ведь от всех буду выступать. Прочту, что дадите. И все...

Лишь тут для него выяснилось, что никакого общего приветствия не составлено, что ему, уже прожившему полвека инженеру, строителю «Новоуралстали», заслужившему честь говорить от имени сотоварищей, предстоит высказать собственными словами свои чувства. Как же это так? Через десять-пятнадцать минут он встанет перед Сталиным, а в мыслях нет никакого плана речи.

Вот Челышев уже поднимается вместе со всеми по лестницам Кремлевского дворца. Никто не говорит громко; мягкие ковры, разостланные на ступеньках, глу-

шат шум шагов. Смутно ощущая эту особую торжественную тишину, Челышев сосредоточивался, стремясь усилием мысли выделить самое существенное, самое главное из того, что пережил и передумал.

В зале он уселся в углу, но его отыскали, нашли ему стул впереди.

Первые обращенные к Сталину слова он произнес, опустив голову и запинаясь. Однако удивительная искренность делала речь сильной. «Под вашим руководством, товарищ Сталин, создана новая промышленность, вы совершили революцию в технике, о которой мы, старые инженеры, едва могли мечтать не только в целом, но и частностях. История промышленности не знает подобного примера ни в сроках, ни в обстановке, а главное, в методах и приемах. Это революционно с начала до конца». Тогда-то Челышев и приподнял голову, взглянул прямо в глаза Сталина — неискристые, лишенные живой игры.

В глубине души Василий Данилович сознавал, нехорошо, недостойно превозносить человека в лицо, но уступил уже общепринятой в те годы манере, стилю времени, уступил, не погрешив против своей инженерной страсти, совести: у него, выстроившего, наконец, завод по планам и заветам Курако, было немало оснований благодарить Сталина.

Сталин и тогда, после той речи Челышева, сказал ему в ответ:

— Вы ошибаетесь, товарищ Челышев.

Прохаживаясь, глядя в затихший зал, Сталин с минуту помолчал. Для Челышева это была минута мучения. Легко ли услышать от Сталина: «Вы ошибаетесь». А тот длил мучение Василия Даниловича. Затем повторил:

— Вы ошибаетесь. Партия не могла одна провести работу, о которой вы говорили. И тем более неправильно приписывать ее мне, скромному ученику Ленина.

Повернувшись к Челышеву, он с улыбкой чеканно добавил:

— Вместе с партией в этой работе участвовали и беспартийные специалисты, такие, как вы.

Так Сталин вернул комплимент, что, кстати скажем, делал не часто. Челышев в тот миг ощутил смутную неловкость. Показалось, что он втянут в какую-то не нужную ему игру. Впрочем, это ощущение быстро развеялось: он же по совести излил свои чувства.

Вот и теперь Сталин сказал: «Вы совершили ошибку». Черт знает, может быть, и впрямь он схватил своим геиием, чутьем нечто такое, чего не узрел и не понял Челышев? Схватил и повелел: «Такой металл нам нужен. Такой способ будет жизненным».

Онисимов меж тем распахнул папку чертежей, выиул, развернул лист кальки — общий вид печи Лесных. Оба — и Челышев, и Онисимов — взглянули на этот чертеж, потом взоры повстречались. На миг в зеленоватых серьезных глазах Александра Леонтьевича просквозила боль, затем снова выказалась крайняя сосредоточеиность, напряжение мысли. Конечно, нелегки были ему эти минуты. Сейчас зашаталось его положение, все его будущее. Разумеется, и Василию Даниловичу не поздоровится. Но к черту колебания! Он, академик Челышев, обязан сказать Сталину: эта печь непригодна для промышленности, для промышленных масштабов. И делайте со мной, товарищ Сталин, что угодно, но никогда вас я в заблуждение не вводил, скажу и теперь, что думаю. Одиако опять заговорил Сталин:

— Поручаю вам, товарищ Челышев, этим заияться. Нужна дальнейшая научная разработка и технологическая доводка металлургического процесса, предложенного товарищем Лесных. Потом займитесь проектом завода для получения стали по его способу.

— Если такие заводы начнем строить, то...

Все же Василий Данилович не закончил фразу, замялся, ощущая даже и по телефону, как давит воля Сталина.

— Что вы хотели сказать?

— Не возьмусь, Иосиф Виссарионович, за это. Не верю в этот способ.

— Ну, как знаете.

— Не верю и не могу.

— Как знаете,— сухо повторил Сталии.— Дело ваше.— Он еще подождал каких-то слов Челышева. Но ие дождался.— Передайте трубку товарищу Онисимову.

Сжав маленькой рукой черную пластмассу телефоиной трубки, Александр Леонтьевич снова стал навытяжку.

— Слушаю вас, товарищ Сталии.

В этом возобновившемся диалоге между геиералисси-

мусом и министром Челышев опять мог внимать лишь одной стороне.

— Разрешите, товарищ Сталин, доложить. Предложение товарища Лесных рассматривалось трижды. Комиссия под председательством доктора технических наук профессора Богаткина...

Сталин, видимо, оборвал Александра Леонтьевича, срезал его каким-то безапелляционным замечанием. Некоторое время Онисимов сосредоточенно слушал, повторяя:

— Понятно. Понятно.

Затем произнес еще раз:

— Понятно.— И добавил:— Будет исполнено. Да, под мою личную ответственность.

Эти слова были тверды. Глаза Онисимова уже не выдавали мучений. Василий Данилович тотчас понял: Сталин вверил Онисимову судьбу изобретения — того изобретения, которое Онисимовым же было отвергнуто,— поручил лично ему, министру, ведать дальнейшей разработкой способа и постройкой завода с печами Лесных. И Онисимов без запинки ответил: «Будет исполнено!». Прежние его возражения уже будто и не существовали: повеление Сталина он воспринимал как непререкаемый высший закон.

— Слушаю. Записываю.

Сталин из своего кабинета продиктовал сроки, предоставил восемнадцать месяцев для возведения нового завода в Восточной Сибири, для выдачи первой промышленной плавки по технологии Лесных. Затем, как понял Челышев, вернул Онисимова к списку, которого ранее, несколько минут назад, не захотел слушать.

— Сейчас вам прочитаю.

Мгновенно отыскав в подшивке нужный лист, Онисимов огласил одну за другой фамилии членов комиссии, единодушно утвердивших отрицательное заключение по поводу предложения Лесных.

— Всех снова включить? Слушаюсь. Кого? Записываю. И представителя «Енисейэлектро»? Будет назначен товарищем Берией? Слушаюсь. Понятно.

Так завершился разговор. Зловещее имя Берии вплелось в самую завязь будущего огромного, как скомандовал Хозяин, предприятия.

Трубка положена. Онисимов опустился в кресло, взглянул на Серебрянникова, все еще стоявшего за его спиной, сказал:

— А ведь и он там сейчас сидел.

Благообразный начальник секретариата на миг прикрыл ресницами в знак понимания выпуклые голубые глаза. Понял и Челышев, кого следовало разуметь под этим «он».

Руководствуясь дневником Василия Даниловича, а также и некоторыми другими материалами, мы можем с достаточной долей достоверности представить, как в данном случае произошло вмешательство Сталина. Да, пластинки металла, выплавленные упорным Лесных в лабораторной печи, принес Сталину Берия. Конечно, Берия ранее и не ведал, что где-то в далекой Сибири работники проектируемой грандиозной гидростанции «Енисейэлектро», которую тоже предстояло воздвигать Управлению лагерей, подбросили некоему фанатичному изобретателю малую толику средств, как говорится, наудачу. Подобные мелкие затраты были вне его, Берии, масштаба. Но об опытной плавке ему доложили. С блестящими тонкими пластинками металла — изобретатель дал ему название первородной стали,— полученного прямо из руды путем электроплавки, особой технологии, отменившей применение кокса, да и весь доменный процесс, Берия пошел к Сталину. И не только с пластинками, но и с исчерпывающим подбором доказательств, уличающих Онисимова в том, что он душил изобретение. Наконец-то настал час, которого Берия выжидал годами и десятилетиями: Онисимов поставил себя под удар, немилосердный удар Сталина.

Отливающие благородным блеском серебра тонкие стальные полоски легли на письменный стол генералиссимуса. Как мы уже говорили, он исподволь обдумал, подготовил еще одно великое дело своей жизни, выносил план индустриального наступления в Восточной Сибири. Новое небывалое строительство, сооружение беспримерных по мощи гидростанций станет точкой приложения бурлящих, бунтующих сил молодежи, подвигом поколения. Вместе с тем неисчислимые трудовые колонны заключенных тоже найдут там применение. Правда, ученых беспокоило, что будущие потоки электроэнергии окажутся в избытке. Где же еще взять потребителей? Как повысить энергоемкость тяжелой индустрии?

А между тем, оказывается, уже есть электропечь, которая будет выплавлять сталь, не нуждаясь в коксе, уже есть и металл — вот он на столе!— полученный в

этой печи. Выслушав Берию, раздраженный Сталин тут же велел соединить его с Онисимовым.

Итог разговора читателю известен. Сталин вопреки чаяниям Берии не расправился с Александром Леонтьевичем, который, отшвырнув свои прежние соображения инженера, занял единственно спасительную для него позицию: «Будет исполнено!». Причем поступил так не из-за того, что утратил мужество, нет, из убеждения всей жизни, повторим это вновь, уже действовавшего автоматически чуть ли не силой инстинкта: превыше всего дисциплина, верность Сталину, каждому его слову, указанию. Да и Сталин, в свою очередь, не сомневался, что Онисимов — пусть он отрицал изобретение, когда оно шло, напирало снизу,— теперь лучше, энергичнее кого-либо иного сделает все возможное и сверхвозможное, чтобы внедрить в промышленность способ Лесных. И не тронул, не отбросил прочь Онисимова. К побледневшему лицу Александра Леонтьевича постепенно возвращалась обычная легкая коричневость. Близкая грозная опасность не увлажнила его лоб, даже и легкая испарина не проступила у корней приглаженных светло-каштановых волос.

Серебрянников скромно удалился, оставив Челышева и Онисимова наедине. На столе в беспорядке, словно после сражения, покоились две раскрытые папки с бумагами, относившимися к изобретению Лесных, и косо расстеленный, в складках, лист кальки — общий вид печи.

Неодобрительно мотнув головой, Челышев договорил то, чего не отважился выпалить Сталину:

— Если такие заводы начнем строить, без штанов будем ходить.

Онисимов ничего не ответил. Привычно потянулся к неизменной пачке «Друг», взял в рот сигарету, чиркнул спичкой и... Что такое? Огонек заходил, заплясал в дрожавших его пальцах. Удивленный, он, не прикурив, загасил спичку. Приказал пальцам не дрожать. Но и следующая спичка тоже вибрировала в его руке. Глаза были ясными, небоязливыми, губы твердо сомкнуты, а вот руку била дрожь.

Таким было первое проявление странной болезни Онисимова, этого, словно бы беспричинного, неотвязного сотрясения пальцев, с которым не совладала медицина,

23

Прошло несколько дней с тех пор, как в министерство позвонил Сталин. И неизбежное свершилось. Онисимов пригласил Василия Даниловича в свой кабинет, протянул постановление Совета Министров СССР, подписанное Сталиным.

Маленькие глаза академика побежали по строчкам. Он сразу узрел свою фамилию... Челышеву объявить выговор и снять с работы. Что же, этого он и ожидал. Ну, теперь можно прочесть все по порядку... Признать государственно важным изобретение инженера Лесных... Электроплавка, исключающая доменный процесс... Министру Онисимову объявить выговор... Челышеву... Ну, это уже читано. Далее указывались мощности и сроки, уже названные Сталиным: через восемнадцать месяцев пустить завод, рассчитанный на выплавку полумиллиона тонн металла в год... Приступить к выбору площадки в районе будущей Енисейской гидростанции. Одновременно вести технологическую доработку... Ответственность возлагается лично на Онисимова. Особым пунктом изобретение Лесных причислялось к строжайше секретным... Принять меры, чтобы сведения о его способе не просочились за рубеж... Совершенно секретным было и само постановление.

Дойдя до подписи, Челышев хмыкнул, отложил бумагу.

— Получил, значит, по шее. В чем могу и расписаться, если это требуется. А затем и попрощаемся.

— Прощаться с вами я не собираюсь. Хочу просить вас, Василий Данилович...

Однако мысли Челышева еще притягивало постановление. Не дослушав, он спросил:

— Но вы-то, Александр Леонтьевич, как же? Неужели считаете это возможным?

Неизменно носивший вместе с жестковатым, всегда чистым воротничком некую бронь официальности, служебной строгости, Онисимов и теперь замкнулся:

— Извините, не могу обсуждать этот вопрос.

Но старик гнул свое:

— Один из нас тут легко отделался. И знаете кто? Я. А вам придется солоно.

Александр Леонтьевич не ответил. Челышев взглянул на него пристальней. Онисимов в эту минуту вновь ему показался измученным. Глаза, как всегда, остро

блестели, но в белках залегла желтизна. Вновь хмыкнув, Челышев смирился, больше не затрагивал больной темы.

Кстати ворвалась и всякая живая текучка. Глухо протрещал телефон внутренней министерской связи. Оказалось, позвонил Алексей Головня, первый заместитель Онисимова, вот только что — чуть ли не сию минуту — вернувшийся из командировки на Урал. Онисимов позвал его к себе:

— Да, да, Алексей Афанасьевич, сейчас же заходи.

И вновь обратившись к Челышеву, повел речь о научно-исследовательском центре металлургии, сказал, что прочит туда Василия Даниловича, предложил ему взять там начальствование. Академик хмуро слушал.

Вошел, широко шагая, Алексей Афанасьевич, одетый в свой излюбленный полувоенный костюм.

Нет, тягаться в выносливости с Онисимовым он, некогда богатырь, здоровяк, неутомимый инженер-доменщик, все-таки не смог. Он нажил болезнь сердца, мерцательную аритмию. Бывало, сунув в рот таблетку, прикусив побелевшую крупную нижнюю губу, он справлялся с внезапной резкой болью, но порой повторные приступы все же валили его с ног. Он проводил неделю-другую в больнице, опять поднимался, вновь впрягался в ту же лямку. Как первый заместитель он дублировал всю работу министра — тот мог в любую минуту уехать, Алексей Афанасьевич с ходу перенимал все его дела — и, кроме того, специально ведал заводами Востока.

Немало индустриальных побед — их не обойдет не написанная еще история советской металургии — было отмечено его близким участием. Случалось, Алексея Афанасьевича, что называется, бросали на прорыв. Он наваливался коренником, упорно, умело тянул и вытягивал. Вытягивал и, казалось бы, гиблые дела.

Возможно, немногие краски, которые затрачены нами на его мимолетный портрет, создали превратное впечатление некоего славного папаши, добряка. Нет, Алексей Головня бывал и непреклонно жестким, непрощающим. Его излюбленное ругательное словечко «барахольщик» обрушивалось словно удар. Он, случалось, и сам предупреждал: «Имейте в виду, у меня тяжелая рука». Жесткость, немилосердность ради дела и вместе с тем природная мягкость, человечность — вот что сочеталось в нем, вызывало к нему не только уважение, но и чувства потеплей. И все же по своим деловым качествам он, согласно общему признанию, уступал

Онисимову. Правда, инженерская жилка, понимание металлургических процессов, всяких тонкостей заводской практики — это в нем, Алексее Головне, было основательно заложено и развито. Он по праву тут считал себя посильней, чем Онисимов. Алексей Афанасьевич и вырос на заводе, был старшим сыном доменного мастера. Однако в пунктуальности, в страстной привязанности к особого рода министерской работе он не был, конечно, ровнею Онисимову. Перейдя по решению Центрального Комитета, или, верней, по велению Сталина, с предприятия в министерство, Головня тосковал по заводскому духу, так и не сумел за много лет разделаться с этой тоской. Он с удовольствием выезжал в командировки, стремился еще и еще задержаться на заводах, терпеливо выносил, хотя и был хорошим семьянином, разлуку с домом. И возвращался, словно бы испив живой воды,— сбросив некую толику лишнего жирка, посвежев.

Он и в ту минуту вошел помолодевший, загорелый — его большой, что называется, картошкой, нос по-мальчишечьи облупился. Пожалуй, особенно молодила Головню располагающая открытая улыбка, опять к нему вернувшаяся,— министерские будни, болезнь, бывало, надолго стирали ее, делая черты изможденными.

Поздоровавшись, он живо проговорил:

— Заезжал, Василий Данилович, и на «Новоуралсталь», на вторую вашу родину. Там вас так и считают навечно новоуралсталевцем.

Старик ничего не ответил. Онисимов сдержанно сказал:

— Садись, Алексей Афанасьевич. Почитай.

И без каких-либо пояснений подал постановление. Головня опустился в жестковатое кресло, достал очки — они уже стали необходимы и ему,— внимательно, строка за строкой, прочитал подписанную Сталиным бумагу. Провел пятерней по еще вьющимся, темно-русым прядям. Исчезла его славная улыбка, глаза перестали источать веселый блеск, явственней проступили глубокие складки, пролегшие от увесистого носа к углам рта. Не позволив себе никакого восклицания, он лишь вздохнул. Такова была его не столь давно приобретенная манера, вызванная, вероятно, сердечным недомоганием: работая, он время от времени тяжко вздыхал.

— Что же это за печь?— спросил он.— Как она действует?

Онисимов молча вынул из стола чертеж печи, развер-

нул, придвинул Головне. Тот всмотрелся ясными глазами инженера, еще раз взглянул на Онисимова, на угрюмого Челышева, опять обозрел разрез печи.

— Значит, руда будет сползать по этой плоскости?

Онисимов кратко ответил:

— Чертеж у тебя в руках. Смотри.

Привычным движением он взял сигарету, чиркнул спичкой. Челышев заметил, что огонек теперь не дрожал в пальцах министра, маленькая рука была тверда. Головня опять склонился над листом. Губы сложились так, будто он намеревался свистнуть. Но, разумеется, не свистнул. Положил чертеж и ничего не произнес. Опыт, разум инженера-металлурга не оставляли сомнения, что предложенный новый процесс в лучшем случае потребует еще годов испытаний, терпеливой доводки. В лучшем случае... А возможно, от него придется вовсе отказаться, ибо в опытах выяснится, жизнеспособна ли, годна ли самая основа или суть изобретения. Перенести же одним махом, одним мановением новый процесс в промышленность, в заводской масштаб, пустить через восемнадцать месяцев завод, оборудованный печами Лесных, это... Головня опять вздохнул.

Онисимов не продолжал разговора об изобретении Лесных. Он произнес:

— Ты, кажется, хотел рассказать про «Новоуралсталь?»

Однако Алексей Афанасьевич не смог сейчас рассказывать. Его огорчила, расстроила обида, нанесенная Челышеву. Еще подростком, впервые проходя практику у домен, Алексей уже знал в лицо всегда насупленного главного инженера Василия Даниловича. И с тех давних пор в его, Головни, жизни, а также и в сердце некое место всегда принадлежало Челышеву, о котором — так гласили заводские предания — Курако, первый на Руси отчаянный доменщик, однажды сказал: настоящий инженер.

Открытая натура, Головня не в силах был сейчас вторить Онисимову, говорить на другие темы.

— Если позволите, об этом после.

— Ладно, успеется... Так вот, предлагаю Василию Даниловичу наш научный центр. Тем более, это его тайная любовь. Как на сей счет думаешь. Алексей Афанасьевич?

— Насколько я знаю, даже и не тайная. Василий Данилович, не откажетесь?

— Я бы пошел... Но опять мне там навяжут это.— Челышев кивком показал на чертеж и постановление, которые белели на обширном, не загроможденном бумагами столе.

— Нет,— сказал Онисимов,— **эту** часть ваших обязанностей я, с вашего разрешения, возьму на себя.

— Ну, ежели так...

Онисимов довольно воскликнул:

— Отлично! Подвели черту.

В пепельнице еще дымился его непогасший окурок, а он уже потянулся к следующей сигарете. Опять он зажигает спичку. И — черт побери!— маленькое пламя мелко сотрясается, выдает начавшуюся вновь дрожь руки. Вот этак, исподволь, то как бы исчезая, то опять оживая, к нему подбиралась эта странная болезнь.

Он не понимал ее истока. Но скажем мы. Еще никогда не переживал он такой сильной сшибки — сшибки приказа с внутренним убеждением. Доныне он всегда разделял мыслью, убеждением то, что исполнял. А теперь, пожалуй, впервые не верил — но все же приступил к исполнению.

24

Эпизод, который нам далее предстоит воспроизвести, тоже отмечен сравнительно подробной, занявшей почти три тетрадных страницы записью в дневнике Челышева.

Местом действия был опять вот этот кабинет, где, как всегда в прежние времена, безукоризненно лоснился простор светлого паркета, а затем и пустынный, привыкший к строгой тишине коридор.

Василий Данилович, уже месяца три назад ставший директором Научно-исследовательского центра металлургии, приехал в тот стылый ноябрьский денек в министерство, чтобы согласовать тут план работ, а заодно вырешить некоторые другие вопросы. Он прошагал прямо в приемную министра, кивнул в ответ на поклон поднявшегося со стула дежурного секретаря, буркнул:

— Можно?

— Конечно. Пожалуйста, Василий Данилович.

Отворив полированную дверь, Челышев увидел, что попал на заседание. В первую минуту он не понял, какой предмет тут обсуждается. И что за публику собрал у себя Онисимов, вежливо улыбнувшийся Челышеву со своего кресла. Приподнявшаяся в улыбке впалая верхняя

губа обнажила плотный ряд белых с кремовым отливом зубов. Открылись и выступавшие острые клычки. Этот онисимовский характерный оскал был, как знал Челышев, признаком скрываемого раздражения. Василий Данилович сразу же заметил и чью-то незнакомую, красиво посаженную голову, почему-то притянувшую взгляд. Однако незнакомую ли? Где-то Челышев встречал это, вопреки седине вовсе не старое, красноватое, будто только что с ветра, с мороза, лицо. Слегка прищуренные, в сети морщинок, глаза с интересом вглядывались в Главного доменщика Советской страны. Э, так это же писатель! Депутаты Верховного Совета, в состав которого входил и Василий Данилович, называли попросту писателем своего сотоварища депутата Пыжова, автора нескольких снискавших широкое признание и, несомненно, незаурядных романов. Никак не ожидая встретить писателя, далекого от так называемых производственных тем, на заседании у министра стального проката и литья, Челышев не вдруг его узнал. Что же тут надо писателю? Впрочем, кажется, где-то промелькнула заметка, что писатель, задумав новое произведение, провел несколько недель в семье сталевара на Урале. Да, да, это припомнилось Челышеву.

Кто же здесь еще? Два-три члена коллегии, несколько московских профессоров-металлургов, стенографистка за отдельным столиком и... Кто этот, болезненного вида, с отечным, лишенным румянца лицом, грузноватый мужчина, расположившийся в кресле напротив министра? Добротный пиджак вольно расстегнут, толстый зеленоватый свитер облегает туловище. На вошедшего этот человек даже не взглянул. Обращаясь к Онисимову, он недовольно говорит:

— Нет, как хотите, а мне московское представительство необходимо.

Э, сейчас, наверное, министр влепит ему за такой тон. Капризные нотки никому здесь не дозволены. Однако с той же вежливой улыбкой, открывающей клычки, Онисимов терпеливо отвечает:

— Я ваш московский представитель. Вам остается лишь приказывать.

— Но не могу же я гонять вас по всяким пустякам. Меня это стесняет.

— Напрасно. Любое малейшее ваше пожелание передавайте мне. И вы незамедлительно будете удовлетворены. Требуйте хоть личный самолет, вы его получите.

А понадобятся, скажем, малеиькне гвоздики,— поручайте тоже мие. Я лншь буду рад вам это доставить. Повторяю, я ваш агент снабжения, ваш представнтель.

Раздумывая, человек в расстегнутом пиджаке поглядел по сторонам. Глаза былн, что называется, горящими. Пожалуй, его самой резкой чертой как раз и являлся такой необыкновенно сверкающнй взор.

Коиечно же, это Лесных! Да, тот самый Лесных, которому было посвящеио подписанное Сталнным секретное постановленне. Лишь однажды, несколько лет назад, Васнлнй Даииловнч вндел этого, тогда иепризнаиного, иепрнкаянного нзобретателя — Лесных пришел к академику жаловаться в обтрепаниом, заиошенном до блеска костюме. И, разумеется, этак вольно в кресле не рассажнвался, с этакой властностью не разговарнвал. Но глаза, как н сейчас, маниакально сверкали.

Как нн удивнтельно, Васнлий Данилович мог бы многое простить этому, виднмо, занесшемуся, заважннчавшему нняженеру единственно радн того, что тот сохраннл такой взгляд.

Было время — маньяком счнтался и Челышев, иеукротимо стремнвшнйся выстронть завещанную Курако, невнданную еще в Россин, послушную человеку громаднну — домну. Много лет утекло с тех пор, Челышеву дано было сполна удовлетворнть свою иижеиерскую страсть, он и сам стал затем нным, ио вот этот редкостный блеск глаз, будто устремленных внутрь, в какую-то одну притягательную точку, вот этот блеск н теперь несколько прнмирял его с Лесных.

Еще секунду-другую старнк академик взнрает нз-под лохматых бровей на ннженера, которому грозный мннстр готов служнть в качестве снабженца, доверенного лнца для поручений. И еще снльней насуплнвается. Под Москвой на опытном заводе Научно-нсследовательского центра металлургии — этому заводу Челышев уделял немало временн, еженедельно наезжал туда — была выгорожена площадка для Лесных, для его печн, привезенной на самолете из Новоснбнрска. Челышев ин разу не загляиул в этот пролет, скрытый за стенкой нз листового железа, проходил мнмо, не задержнваясь. Зато Оннсимов появлялся не однажды на заводе, пропадал по многу часов у печн Лесных, сам, не прнвлекая Василня Даннловича, отдавал распоряжения днректору завода, предоставлял все, что проснл изобретатель. Наведывались к Лесных н профессора-металлурги из Мо-

сквы. Да вот же они и теперь тут заседают: худощавый, подтянутый Богаткин, непроницаемо посматривающий сквозь очки, и лысый, принадлежащий к племени жизнелюбивых толстяков, тут, впрочем, мрачноватый, Изачик. Они, два выдающихся авторитета в электрометаллургии, некогда были членами комиссии, которая единодушно и категорически отклонила предложение Лесных. Жестким приказом Сталина они оба назначены теперь содействовать изобретению, дорабатывать технологию, способ, который они отрицали.

Слава богу, он, Челышев, в это не впутался. И ничего не желает знать про это дело. Так и не войдя в кабинет министра, лишь постояв в двери, он круто поворачивается и уходит.

25

Почти тотчас вновь открывается дверь кабинета, оттуда появляется писатель.

— Василий Данилович!— в коридоре окликает он Челышева.

Приостановившись, академик оборачивается. Писатель быстро шагает, по-прежнему высоко, красиво неся свою седую голову. Походка пружиниста, по-мужски грациозна. Да и вся его осанка на редкость хороша: стан удивляет прямизной, плечи широко развернуты. Шерстяной, серый в клеточку костюм безупречно сидит, хотя брючные складки и отвороты пиджака, пожалуй, нуждались бы в свежей утюжке. Однако эта некоторая, едва приметная, небрежность в одежде тоже привлекательна. На красном, словно у шкипера в старинных романах, лице — из-за этой красноты некий друг писателя дал ему прозвище «Малиновый кот»— видна смущенная улыбка. Странно, что у столь известного, даже, как говорится, прославленного писателя, к тому же и политического воителя, закаленного в потрясениях эпохи, отмеченного доверием Сталина — доверием и, конечно, подозрительностью,— могла проглянуть эдакая неуверенная, как бы испрашивающая извинения улыбка.

— Василий Данилович, разрешите представиться. Мы с вами, так сказать...

— Ну, да... Я вас, товарищ Пыжов, знаю. И читал. Что же вас привлекло в нашу епархию?

— Решил, Василий Данилович, писать роман о металлургах.

— Как же дошли вы...

— До жизни такой?— подхватывает писатель.

И заразительно хохочет на высоких нотах, чуть ли не повизгивая. В чинной тишине коридора странны, небывалы эти звуки. Отворяется чья-то дверь, кто-то удивленно выглядывает и снова скрывается.

Тем, кто более или менее часто общался с писателем, знаком этот его сохранившийся с юности заливистый смех. Но синие — в прошлом удивительно чистые, яркие, а с годами поблекшие — глаза Пыжова сейчас не смеются. Да, за ним эдакое водится: он хохочет и тогда, когда ему вовсе не весело. Порою таким смехом, что почти неотличим от настоящего, он прикрывает жизнь души, затаенную нескладицу.

Как бы с маху оборвав свой хохот, писатель становится серьезным, объясняет:

— Ведь я молодым человеком учился в институте стали. Имел серьезные намерения, хотел стать инженером. Но ушел со второго курса, выбрал, так сказать,— Пыжов нередко, особенно в минуты даже и легкого смятения, употреблял это «так сказать»,— в спутницы жизни другую профессию. С Онисимовым знаюсь еще с тех пор. Уже и тогда ребята говорили мне: напиши что-нибудь про нас... И вот только теперь потянуло написать и о них, нынешних металлургах. Видите, у меня есть тут какие-то корни. Да и охота испробовать, так сказать, на своем горбу, что это за штука производственный роман.

Пыжов говорит, а синие глаза схватывают облик Челышева, его втянутый рот, крутой изгиб ноздрей, выпирающие бровные дуги — схватывают взглядом художника, уже решившегося писать это лицо, этот характер.

Несомненно, Пыжов выложил Челышеву правду о себе. Однако лишь поверхностную. Впрочем, знал ли, уяснил ли сам писатель глубокую правду о себе? Предугадывал ли недалекую уже — рукой подать,— последнюю трагическую страницу своей жизни? Но не будем и тут забегать вперед.

Возможно, в следующей повести, если мне ее доведется написать, мы еще встретимся с Пыжовым, одним из интереснейших людей канувшего времени. Пока же законы композиции, соразмерности главных кусков произведения позволяют уделить ему лишь немного места.

Перед самим собой, да подчас и перед товарищами по профессии, писатель не скрывал: он замыслил новую вещь (уже было известно ее звучащее вызовом заглавие

«Сталелитейное дело») также и для того, чтобы дать пример и образец всей пишущей братии, проложить новый путь литературе.

И не только литературе. Беспокойное честолюбие Пыжова,— он сам в какие-то минуты прозрения или, быть может, отчаяния проклинал эту свою роковую слабость,— охватывало, употребляя опять терминологию эпохи, весь фронт искусств. Писателю не терпелось первенствовать, вести за собой все художественные таланты Советской страны. Вести за собой... Это для Пыжова означало: с блеском, с воинствующей убежденностью отстаивать, разъяснять точку зрения партии, или, что считалось этому тождественным, требования, оценки Сталина. Еще в двадцатых годах, во времена страстных партийных дискуссий, однажды и навсегда уверовав в Сталина, а позже затаив и страх, иногда с мучительным стыдом это осознавая, он, коммунист Пыжов, даже запивая, или, как он сам красно говаривал, бражничая,— с ним это случалось все чаще,— бражничая и отводя душу в бесконечно грустных давних народных, а то и блатных песнях, никогда ни в большом, ни в малом Сталину не изменял. Ради этого приходилось порой идти на сделки с совестью, ибо грозный Хозяин не отличался, как известно, тонким художественным вкусом и, признавая порой истинно сильные творения, тем не менее поощрял и мещанскую помпезность, и грубо-льстивую услужливость. А совесть-то у писателя была жива... Думается, мы тут притронулись к его трагедии.

О новом своем замысле Пыжов объявил на большом литературном вечере, устроенном в честь его пятидесятилетия. Медленно проводя обеими руками по красивым седым волосам, как бы их зачесывая,— таков был характерный жест Пыжова-оратора,— сосредоточенно глядя куда-то в пространство, как бы выискивая самые чистые, проникновенные, точные слова, он произнес свою клятву, присягнул на верность Сталину. Его незвонкий в повседневности голос вдруг обрел необычную звучность: «Клянусь, буду до последнего дыхания верен его делу, его знамени, его имени». Чувствовалось, эта клятва — не пустые слова, примелькавшиеся в те времена. Волнение Пыжова, внутренняя дрожь, не оставшаяся скрытой, сообщили им силу. Видевший виды зал притих.

Некоторое время спустя писателя пригласил один из секретарей Центрального Комитета партии. Пыжов нередко наведывался в ЦК. Месяца три назад он вот так

же был вызван к секретарю. Тогда проектировалось некое объединение или своего рода Федерация мастеров литературы и других искусств. Секретарь, между прочим, спросил: «Не откажешься стать там председателем?» Пыжов согласился без жеманства. И даже с воодушевлением. Собеседник усмехнулся: «Любишь властишку-то?» «Грешен, батюшка»,— ответил Пыжов. И по своей манере захохотал на высоких, до фистулы, нотах. В дальнейшем Федерация литературы и искусства не состоялась. Вероятно, Сталин охладел к этой идее.

Теперь секретарь заговорил с Пыжовым про иное:

— Пишешь о металлургии?

— Пока только примериваюсь. Еще весь в поисках.

— А жизнь позаботилась тем временем дать себе свою подсказку. Вот, Иосиф Виссарионович поручил ознакомить тебя с этим документом.

С таким предисловием — кратким, но в достаточной мере выразительным — писателю было передано подписанное Сталиным решение Совета Министров о новом электрометаллургическом процессе, об изобретении инженера Лесных.

— Обдумай, не спеши,— добавил секретарь.— А потом позвони, дай знать, сгодилось ли тебе это для романа. А то Иосиф Виссарионович вдруг невзначай спросит.

Писатель, по собственному позднейшему признанию, сразу оценил документ, оказавшийся волею Сталина в его руках, мгновенно зажегся. У него к этому дню уже накопились впечатления нескольких поездок на заводы, образы заводских людей — сталеплавильщиков, наметились некоторые драматические столкновения, но все это еще оставалось зыбким, нестройным, неясным, было как бы лишено некоего главного узла или главной истории, куда стягивались бы все нити романа.

И вот, наконец, он ее заполучил — да еще как и от кого!— эту центральную историю, ему столь необходимую. И он тотчас,— возможно, с быстротой мысли,— увидел заново сложившуюся или, как говорится, выстроившуюся вещь, ее драматургию, ее философию. В тот же день он занес в записную книжку: «Ядро романа — переворот в металлургии. Небывалый революционный способ получения стали. Академик Ч., ученик знаменитого Курако, герой первых пятилеток, не понял. Министр О., член ЦК, инженер-металлург, не разобрал-

ся, не понял. Дошло до Ст. Он понял. И открыл дорогу этой революции в технике».

Увлекшись подсказанным ему не в счастливый час сюжетом, в самом деле поразительно эффектным, заключавшим редкие возможности обширной художественной панорамы, исполненной страсти, действия, борьбы, писатель уже с заранее вынесенным приговором подошел в министерском коридоре к академику. Но совесть-то, как мы сказали, была в Пыжове жива. Наверное, ее голос был невнятен, и все же она выказалась в неловкой, как бы испрашивающей извинения улыбке, вдруг придавшей ему, именитому автору, зрелому деятелю, молодое обаяние.

Некоторые поклонники и, особенно, поклонницы писателя считали, что единственной некрасивой чертой в его наружности были великоватые, оттопыренные, постоянно красные уши. Однако Челышеву понравились именно они, эти уши лопухом, как бы вбиравшие жизнь, ее шепоты, шумы.

Спрятав глаза под лохматыми бровями, как бы нахохлившись, Челышев слушал писателя без малейшего предубеждения. Наоборот, ощущал к нему расположение. Но буркнул хмуро:

— Что же вам от меня надо? Ежели вы насчет вот этих дел...— Он взглянул в сторону кабинета, где Онисимов вел заседание.

— Да, да, да,— не скрывая интереса, зачастил писатель. Это пулеметное поощрительное «да-да-да» стало у него с годами машинальным или, лучше сказать, стереотипным.

— С Онисимовым вы об этом говорили?— спросил, в свою очередь, Василий Данилович.

— Еще бы. Конечно.

— Ну, и что же он? Сказал вам свое мнение?

— А у него правило: мое мнение — это моя работа. И, пожалуйста, садись, смотри и суди сам.

Челышев хмыкнул. Неужели Онисимов даже писателю, товарищу студенческих лет, не дал понять, не намекнул, что вся эта затея — постройка завода с печами Лесных — не чем иным не кончится, как только провалом? Да, видимо, не высказался, не открылся и перед другом молодости.

— Хм... Если вы надумали писать про это дело...

— Да, да, да.

— То тут я вам не помощник. Считаю эту,— Василий

Данилович запнулся, но все же позволил себе выразиться грубовато,— эту заваруху несерьезной. И разговаривать об этом, извините, не буду.

С беспощадностью, свойственной политике, писатель тотчас определил (и поздней внес в записную книжку): Челышев достиг своего предела, отстал на каком-то перегоне от мчащейся революционной эпохи. Но проговорил писатель так:

— Зачем же об этом? Я хочу порасспросить вас о Курако. И о временах, когда строилась «Новоуралсталь». И о Серго...

— За этим приходите. Милости прошу. С кем-нибудь из металлургов-старожилов вы уже беседовали?

— Да, повезло. Попал в больницу.— Опять на будто опаленном, обветренном лице проступает неловкая, детски виноватая улыбка: писатель-то ведает, из-за чего его, бражника, не знающего края, порой неделями выдерживают в больнице.— Там на мое счастье лежал Алексей Афанасьевич Головня. И каждый день он, так сказать, отбывал упряжку, рассказывал мне историю нашей металлургии в лицах.

Пыжов снова хохочет на весь коридор, а синие — некогда яркие, а теперь как бы с примесью неживой белесоватости — глаза невеселы. Он условливается с академиком о дне и часе будущей встречи. И возвращается на заседание.

26

Все еще сидя в знакомом кабинете, в просторной комнате, ныне застланной необъятным серо-желтым ковром, Челышев перебирает принесенные с собой бумаги.

Все эти годы он не желал впутываться в дело Лесных. Однако вместе с тем выдвинул перед Научно-исследовательским центром задачу искать действительный способ, истинный путь прямого получения стали из руды, то есть путь к бездоменной металлургии. Один из лучших учеников Василия Даниловича решился с его благословения стать бездоменщиком, исподволь сколачивал сильную группу для разработки этой темы.

Все же, конечно, вести о строительстве и затем пуске предприятия «почтовый ящик № 332» (так был зашифрован сооруженный в Восточный Сибири для выплавки стали по способу Лесных мощный завод стоимостью в 150 миллионов рублей) доходили к Василию

Даниловичу. Он знал о непрестанных авариях, закозлениях, прогарах, о всяких переделках, реконструкциях возведенных печей, о бесчисленных командировках в распоряжение Лесных авторитетных производственников и людей науки, в том числе и тех же злосчастных профессоров Изачика и Богаткина, о поездке на завод Онисимова с бригадой специалистов.

Время от времени мелькали в печати сообщения о том, что писатель трудится над своим новым романом.

Шел 1953 год. В один мартовский день вдруг завершилась некая историческая полоса, забрезжила другая: умер Сталин. Смерть оборвала последний период его власти — период его старчества.

Однажды летом этого же года Челышев был приглашен на заседание Президиума Совета Министров. В повестке дня среди прочих вопросов значился доклад Онисимова: предварительные итоги создания жароупорных сталей для реактивных двигателей. Заседание вел Берия, в чем-то переменившийся после смерти Хозяина. Пожалуй, он еще располнел, белые руки оставались, как и прежде, холеными, но безукоризненно выбритые, гладкие щеки, ранее обычно лоснившиеся, будто потускнели, подернулись некой тенью озабоченности. Впрочем, держался он уверенно. Поглядывал голубоватыми с поволокой глазами сквозь голые, без оправы, стеклышки, подчас властно прерывал того или иного из выступавших, задавал вопросы или высказывал свои замечания и не ведал, думается, ни сном, ни духом, что несколько дней спустя он будет открыто обличен.

Подошла очередь и для сообщения Онисимова. Александр Леонтьевич, как всегда кратко, точно, деловито доложил о ходе опытных плавок, о первых удачах, еще не вполне устойчивых, которые предстояло закрепить. Закрепить и идти дальше, к еще более прочным сталям.

Закончив сообщение, он продолжал стоять, ожидая вопросов. Кто-то, занимавший место неподалеку от Берии, поинтересовался, каковы перспективы получения стали по способу инженера Лесных.

Александр Леонтьевич ответил:

— Никаких обязательств насчет этой стали я на себя взять не могу.

Прозвучал тот же голос:

— Не понимаю. Имеется же постановление.

— Постановление выполнено. Завод построен, принят правительственной комиссией, пущен. Акт приемки

подписан и изобретателем. Все его претензии, пожелания удовлетворены. А технологией, согласно постановлению, я там не распоряжаюсь.

Вмешался Берия.

— Поскольку об этом зашла речь,— веско, неторопливо заговорил он,— я обязан сказать, что в данном случае товарищ Онисимов был не на высоте. Сначала он просто отверг предложение Лесных, а затем, когда выяснилась несомненная ценность этого нового способа, не известного мировой технике, занял позицию критически мыслящей личности, думал лишь о том, чтобы доказать, что способ Лесных не осуществим. Такое поведение было не партийным.— Берия, как и прежде, без малейшего смущения поучал партийности.— Не партийным и не государственным. В результате дело приведено на грань провала.

Онисимов, не перебивая, выслушал это назидание. Он издавна умел, если так подсказывало чутье, не вступать в схватку, уклоняться или, говоря точнее, владел искусством ускользания. Но, случалось, бывал и отважен. Сейчас впервые за много-много лет он принял вызов своего недруга.

— Я вам отвечу,— хрипло сказал он.

Бумага, которую Онисимов держал в руке, дрожала. Он, конечно, понимал, сколь силен был еще Берия, опиравшийся на подчиненные ему особые войска, и, казалось бы, еще шагнувший вверх, когда сошел со сцены Сталин. Казалось бы... Однако острый ум, тончайший инстинкт уже подсказали Онисимову, что без Хозяина Берия пошатнулся. Ранее ведь только от Сталина исходила непомерная ужасающая власть этого холеного мужчины, по-прежнему, хотя ему уже перевалило за пятьдесят пять, прикрывающего специально отращенной длинною прядью просвечивающую лысину.

Отдадим же должное Онисимову: еще требовались в тот день мужество, отвага, чтобы в открытую поспорить с Берией. Онисимов на это решился. Его причесанная с неизменной тщательностью голова, всегда словно вдавленная в плечи, теперь казалась вскинутой. Берия простер к нему свою белую руку, как бы указывая: садитесь. И пояснил:

— Вопрос о стали Лесных мы не обуждаем. А на мои замечания, товарищ Онисимов, можете ответить в заключительном слове.

Но Онисимов твердо произнес:

— Нет, я должен ответить сейчас же. Я не позволю себя оскорблять. Я требую доверия как член ЦК, как член правительства. Да, я утверждал, что идея Лесных в основе порочна и не может получить практического осуществления. Эта моя оценка задокументирована. Но мне было приказано выстроить завод для плавки по способу Лесных. И никогда в позу критически мыслящей личности я не становился. Это клевета. Я создал инженеру Лесных самые благоприятные условия. Максимально благоприятные. Своего истинного отношения я нигде более не высказывал. Я был, оставался и останусь дисциплинированным, государственно мыслящим работником. И я все сделал для Лесных, удовлетворял любое его притязание, хотя и понимал, что дело обречено на неудачу.

Берия со своего председательского места бросил:

— Надо было не только создать ему условия, но и вместе с ним доработать технологию.

— Для доработки были привлечены лучшие научные силы. Но не доработаешь, если технология в основе неверна, теоретически безграмотна.

Раздался еще вопрос:

— Что же, этот Лесных — авантюрист?

— По моему впечатлению, с жилкой авантюриста. Завод для плавки стали по его способу это, несомненно, техническая авантюра.

Сидевший у стены Челышев проговорил:

— Скорее не авантюрист, а неудачник.

Берия снова напомнил, что сегодня не обсуждается этот вопрос. Однако его уже ослушались.

— Сколько стоит эксперимент?

Онисимов назвал цифру. Назвал с точностью до одной тысячи. Кто-то крякнул. Прозвучал и еще новый голос:

— Пыжов как будто пишет про это?

Пожалуй, лишь высокое партийное и должностное положение Пыжова, уже всенародно объявившего о новом своем замысле, делало допустимым здесь такой вопрос. Онисимов сдержанно ответил:

— Возможно. Полагаю, это к делу не относится.

— Ему-то свое мнение вы сказали?

— Не считал себя вправе. Повторяю: получив приказание, своего истинного отношения не высказывал никому.

На какие-то мгновения водворилось молчание. Челы-

шев вдруг ощутил жалость к Онисимову, сохранявшему под пронизывающими взглядами самообладание, как бы одетому в броню. Старик понимал, как мучался, терзался вынужденным своим двоедушием этот небоязливый, не терявший рассудка, хладнокровия в минуты опасности, преданный делу человек со словно вычеканенным красивым профилем.

Сев, Онисимов машинально вынул из кармана коробку «Друг», повертел, положил перед собой — курить в зале воспрещалось. Челышев, разглядевший из-под бровей клыкастый оскал изображенного на коробке сторожевого пса, посмотрел затем на Александра Леонтьевича. И вдруг усмехнулся. А вечером, занося в свою тетрадь впечатления дня, уделил две строчки выведенному золотом на красном фоне короткому слову «Друг».

...Истекла еще неделя-другая. В один поистине знаменательный день Берия был низвергнут. Когда-нибудь историки, а возможно, и писатели в подробностях восстановят этот захватывающий эпизод. Мы же будем держаться своей темы. На завод, где главный технолог, он же и главный конструктор Лесных тщетно пытался наладить выплавку в своих печах, отправилась комиссия Министерства стального проката и литья — в ее состав, словно нарочно, опять были введены те же Богаткин и Изачик, уже люто возненавидевшие изобретателя,— затем еще одна, назначенная Советом Министров СССР.

Выводы и той и другой комиссии были, что называется, уничтожающими. Лесных уже именовался не иначе, как лжеизобретателем, чуть ли не мошенником, который ввел в заблуждение, обманул государство. Его способ был объявлен попросту безграмотным, ничего не сулящим и в дальнейшем, кроме новых напрасных затрат. Комиссия Совета Министров выслушивала неоднократно и Онисимова. Глядя опасности в лицо, Александр Леонтьевич сам потребовал расследования и оценки своей роли в этой тяжелой истории. И вышел из нее благополучно.

Совет Министров отменил некогда подписанное Сталиным постановление, предложил министерству прекратить опыты плавки по способу Лесных.

Что же дальше случилось с Лесных? Он, волей Сталина,— правда, еще лишь под грифом «совершенно секретно»,— объявленный великим техником, автором революционного переворота в металлургии, был столь ошеломлен своим падением, что, изгнанный с завода,

опозоренный, был вдобавок сражен инфарктом миокарда. Далее последовал вторичный инфаркт. Затем и кровоизлияние в мозг.

И вот только теперь, когда Онисимову пришлось распроститься с индустрией, уехать в Тишландию, несчастный изобретатель, проведший с некоторыми перерывами без малого два года на больничных койках, обратился с письмом к академику Челышеву, просил сохранить хотя бы одну печь своей конструкции, как-то призреть ее в научно-исследовательском центре металлургии.

С этим-то делом, а также и с другими, не отмеченными, однако, в дневнике Челышева, он и приехал к министру.

27

Так — долго ли, коротко ли — сидел Челышев в пустом министерском кабинете. Возможно, он вовсе и не вспоминал в те минуты про то, о чем мы только что поведали. Просто еще раз проглядывал бумаги в своей папке для предстоящей беседы с министром.

Из приемной, куда дверь рукой секретаря была деликатно оставлена полуоткрытой, но уже не отверстой настежь,— такого рода половинчатость тоже входила в неписаный министерский этикет, служила знаком, что, хотя министр и отсутствует, все же некий уважаемый посетитель пребывает в его кабинете,— из приемной доносится шумок, невнятный разговор.

Не министр ли приехал? Не его ли это раскатистый басок? Василий Данилович встает, подходит к двери.

Действительно, в приемной стоит крупнотелый румяный Цихоня. Несколько человек ожидают приема. Все тоже стоят, как и министр. Он, еще не замечая академика, с кем-то недовольно разговаривает. А-а, перед ним Головня-младший, директор завода имени Курако, или попросту Кураковки. Министра он слушает с усмешкой, что может вывести из себя кого угодно. Петр Головня противоречил, случалось, и Челышеву. Для поездки в Москву Петр — разрешим себе называть его, младшего из братьев, лишь по имени — явно приоделся. Светло-коричневый с красноватой искоркой костюм выглядит чуть ли не щегольским. Но волосы, в которых отливает рыжинка, с утра, разумеется, причесанные, успели слегка растрепаться. С виду Петр словно бы легок, но вместе с тем и тяжеловесен: мощна нижняя че-

люсть, сильна шея, да и вся стать, особенно сзади, с сутуловатой спины, кажется такой же медвежьей, как у брата.

Цихоня укоряет Петра:

— Что же ты, Петр Афанасьевич, сразу адресуешься в ЦК? Не мог, что ли, прийти ко мне? Или написать нам в министерство?

Упрек звучит беззлобно. Нет и в помине резкости, неуступчивости, остроты — не передал этого Онисимов покладистому своему преемнику. Петр отвечает:

— Как член партии, использую свои права. И если считаю, что я прав, буду бороться до победы.

— Господи, мы сами бы тебе все организовали.

— Знаком, товарищ министр, с вашей организацией.

— И, по-твоему, плоха?

Петр не успевает ответить. Кто-то уже завидел в приоткрытой двери Челышева, поклонился ему. Цихоня оборачивается:

— Здравствуйте, Василий Данилович. Извините, задержался.— И вновь обращается к Петру:— Экий ты... Ладно, посиди. Сейчас займусь вот с Василием Даниловичем. Потом с тобой...

В кабинете министр усаживает академика в кресло, устраивается и сам не за столом, а в таком же кресле напротив.

Василий Данилович без дальних слов раскрывает папку, которую привез с собой, говорит министру:

— Получил письмо от этого бедняги... От Лесных.

— А... Где же он обретается?

— Да почти два года скитался по больницам. Теперь немного, кажись, оклемался. Просит, чтобы я забрал к себе хотя бы одну из его печей. Что же, надобно взять.

— Э, вы, сдается, поздновато спохватились. От его печей, сколько я знаю, и духа не осталось.

— Как? Ни одной? Куда же они делись?

— Дорога известна: в лом.

— Хм... А маленькая, экспериментальная, которую он смастерил в Новосибирске? Он ее тоже с собой взял на завод.

— Сейчас, Василий Данилович, выясним точней.

Подавшись к телефонному столику, Цихоня набирает чей-то номер.

— Иван Александрович? Здорово. Тут у меня вопрос насчет Енисейского завода. Да, да, знаю, что ты там побывал. Осталось там что-нибудь от печей Лесных? Так,

так... Даже сам присутствовал? Ну, а маленькая, которую он привез с собой? Тоже? Понятно. Ну, бывай, бывай...

Положив трубку, Цихоня сообщает:

— Разрезали автогеном на куски и на переплавку.

— И маленькую?

— Все подчистую. Иван Александрович сам присутствовал. Да еще Богаткин, Изачик. Уж очень злы были на этого Лесных.

— Черт, азиатчина. Форменная азиатчина. Шарахаемся, как...

Не найдя подходящего выражения, Василий Данилович еще раз чертыхается. Цихоня шутит:

— Это теперь вам материал для мемуаров.

— Благодарю покорно.

Ограничившись этакой репликой — что же еще скажешь? — академик переходит к другому вопросу. Некоторое время министр и Челышев еще занимаются разными делами научно-исследовательского центра. Неслышно открывается дверь, к столу подходит Валерия Михайловна:

— Василий Данилович, вас вызывают по городскому. Будете говорить?

Беспокойно заерзав, Челышев смотрит на часы. Хм, уже почти половина третьего. У него вырывается:

— Она?

Валерия Михайловна понимает: «она» — это жена Челышева, Анна Станиславовна. Старожилы металлургии знают, что еще во времена Новоуралстроя она в два часа дня неизменно звонила Челышеву в кабинет или по телефону разыскивала его в цехах, приказывала идти обедать. И главный инженер разводил руками перед участниками разговора, обсуждения, объявлял перерыв, но Анны Станиславовны не ослушивался. Теряется он и сейчас:

— Скажите ей... Скажите, что уже уехал. Пожалуйста, Валерия Михайловна.

Улыбнувшись, бывалая секретарша уходит. Есть чему улыбнуться. Удивительный этот Челышев. Не боялся аварий, побегов чугуна, взрывов у доменных печей, не испугался рассерженного Сталина, а перед женой трусит.

Василий Данилович наскоро заканчивает свои дела. Прощается. Цихоня провожает почтенного посетителя в приемную. Там снова все встают, едва появляется ми-

нистр. Этой субординации послушен и директор Кураковки, он тоже поднимается.

Челышев пожимает крупную пятерню Цихони. Да, вот еще что. Надо же узнать, каковы новости насчет ликвидации министерства. И разразится ли она, эта нависшая гроза? Академик без стеснения спрашивает:

— Что же я скажу Александру Леонтьевичу? Уезжаю-то я из министерства, а что застану здесь, когда вернусь?

— Министерство и застанете. Нас это не коснется,— благодушно ответствует Цихоня. И добавляет:— Передайте ему сердечный мой привет.

Все, кто находится в приемной, в один голос присоединяются:

— И от меня ему привет.

— И от меня тоже.

Все? Нет. Петр Головня молчит.

Улыбку и поклон Онисимову шлет и Валерия Михайловна:

— Скажите Александру Леонтьевичу, что мы все ждем его снова в Москву.

— Да, да,— подтверждает Цихоня.— Ждем. И, глядишь, дождемся.

Петр Головня по-прежнему безмолвствует. Рот плотно сомкнут. Серые, цвета стали, глаза непримиримы. Василий Данилович невольно косится на него. Да, этот взял курс и не вихляет. И, видно, ничего не забыл, ничего не простил.

Еще раз кивнув всем, Челышев оставляет кабинет.

28

В столицу Тишландии шестнадцать советских людей — делегация на международную промышленную выставку — прилетели вечером. Из аэропорта отправились на такси в отель.

Описание северного города с его уютными особняками, внушительными офисами, тянущимися к небу кирхами и католическими храмами, описание его вечерних огней, его магазинов и лавчонок, ресторанов и уличных кухонек-закусочных пусть останется за пределами нашего рассказа.

Наутро покатили в советское посольство. В приемной не пришлось ждать ни минуты. Едва туда вошли, дверь кабинета распахнулась, на пороге стоял улыбающийся

Онисимов. Заблестевшими глазами он радостно смотрел на земляков, одетых в московские нещегольские пиджаки, в широковатые, незаграничного покроя брюки.

— Прошу, товарищи, ко мне. Прошу.

В кабинете уже находились и несколько сотрудников представительства. Давно они не видели Александра Леонтьевича таким воодушевленным. Даже и впалые щеки, в последнее время еще побледневшие, сейчас приобрели более свежую окраску. Казалось, приезжих встречал прежний, как бы заряженный электричеством, источающий энергию Онисимов.

В обширном кабинете гостям не пришлось тесниться. Один за другим они называли себя, здоровались с Александром Леонтьевичем. Некоторых Онисимов уже знавал, общался так или иначе по работе, которая теперь казалась столь далекой, будто принадлежала некой иной, уже закончившейся жизни Онисимова. Пожимая руки, находя для каждого несколько радушных слов, он все поглядывал на Челышева, не торопящегося подойти к послу. Длинный, с брюшком, не особенно, впрочем, заметным под легким, светлым, хорошо сшитым пиджаком, нет-нет посверкивающий зрачками-искорками, далеко угнездившимися под сильно выступающими бровными дугами, Челышев был тут среди всех шестнадцати гостей самым дорогим для Онисимова. Ровно тридцать два года назад, летом 1925-го, молодой Онисимов, студент-практикант впервые увидел сумрачного, необщительного Василия Даниловича, главного инженера на едва теплившемся, разоренном заводе, и с тех пор... Сколько раз с тех пор их сводило вместе дело — металлургия, которой оба они принадлежали.

Наконец и Василий Данилович крепко пожал руку Онисимова.

— Свежие газеты привезли?— спросил Александр Леонтьевич.

Нет, Челышев московских газет не захватил. И никто в группе не догадался сделать этого.

Василию Даниловичу, уже с первого взгляда заметившему, как изменился, исхудал Онисимов, и сейчас подумалось: «Не тот. Раньше всегда у него дело, только дело, а теперь газеты...» Однако тут же мелькнула и иная мысль: «Газеты для него, пожалуй, тоже работа».

И, словно опровергая чьи-либо малейшие сомнения в своей преданности обязанностям службы, Онисимов заговорил о делах, расспросил, как встретили делегацию

тишландцы, ладно ли товарищи устроились, указал, куда следует съездить, наметил несколько интересных экскурсий, продиктовал маршруты, дал советы. Просил о нем не забывать, обращаться к нему с любым затруднением, рассказывал о поездках, о всех впечатлениях. Ему явно не хотелось отпускать гостей, которые еще лишь вчера ходили по тротуарам Москвы, но долг требовал иного.

— Вам, товарищи, дорог каждый час. Не имею права вас задерживать.

Провожая гурьбу приезжих до дверей, Онисимов тронул рукав академика:

— Заходите ко мне, Василий Данилович. Почаще заходите.

Челышев увидел просящие глаза, совсем не онисимовские.

— Конечно, Александр Леонтьевич, зайду.

...В день открытия выставки Общество промышленности и торговли устроило прием в честь советской делегации. Одетый в визитку, бледноватый, с четкой полоской пробора на массивной голове, Онисимов прохаживался по залам, которые заполнила толпа приглашенных. К нему подходили представители местной элиты, а также и дипломаты различных государств, он был внимателен, любезен с каждым, приветливая улыбка то и дело открывала его зубы, он, как и обычно, располагал к себе отсутствием какой-либо чопорности, важности, обаянием простоты, которая была и высшей светскостью. В этом блистательном шумливом многолюдии он не мог улучить минутку, чтобы заняться соотечественниками. Со скрытой тоской изредка посматривал на них. Сейчас он не принадлежал себе, принадлежал своим обязанностям. Эта фраза, возникшая в уме, вдруг кольнула его. Ведь раньше, в пронесшиеся десятилетия, во времена миновавшей своей жизни, он так бы не подумал, не сказал. Своим обязанностям — значило: себе. Одно от другого было тогда неотделимо.

То останавливаясь, то опять бродя в толпе, отвечая на поклоны, улыбаясь, вступая в мимолетные или более долгие беседы, он все же разыскал Челышева. И опять попросил:

— Заходите же, Василий Данилович.

Вскоре Челышеву удалось высвободить вечерок, чтобы посидеть у Онисимова.

Александр Леонтьевич впервые принимал здесь на дому, то есть в своей пустынной квартире, близко знакомого человека с родины. Из прихожей он повел старика в гостиную. Люстра, искусно выполненная из ничем не украшенной — так требовал новейший конструктивизм — полоски металла, смело изогнутой в виде острого зигзага, освещала низкие, броского контура, кресла и овальный, тоже под стать креслам низковатый, ничем не покрытый полированный стол. Поодаль возле дивана, в очертаниях которого опять же соединились простота и вычурность, приютился шахматный столик и два обыкновенных стула, несколько здесь странные. Сейчас на этом столике покоился телефонный аппарат. Оклеенные сиреневыми, лишенными рисунка, обоями стены были голы. Предполагалось, что тот, для которого было отремонтировано, подготовлено это жилище, подберет несколько картин по своему вкусу. Однако, равнодушный и здесь к убранству квартиры, Онисимов так и оставил в неприкосновенности наготу стен этой гостиной.

Челышев кинул вокруг взгляд из-под бровей и со своей грубоватой прямолинейностью сказал:

— Что-то тут у вас, Александр Леонтьевич, не пахнет русским духом. В кабинете, где вы нас приняли в первый день, мне было, с вашего позволения, вольготнее. Там хоть казенщина, да наша.

Онисимов тотчас откликнулся:

— Фу-ты ну-ты, мне тоже тут более всего приятен кабинет. Теперь вы мне дали право туда вас потащить.

Гость подошел к окну, еще не задернутому занавесью. Где-то вдали, резко сменяясь, пробегали нерусские буквы светящейся рекламы, а выше, во мгле неба виднелись неяркие звезды.

— Славно,— буркнул Челышев.

Онисимов понял: Василий Данилович был бы не прочь выбраться под звезды, посидеть, походить вдвоем в обширном, темнеющем за стеклами парке посольства. Однако Александр Леонтьевич, и прежде-то почти не знавший прогулок, здесь нарочито избегал выходить по вечерам на свежий воздух. Он заметил, что под открытым небом после захода солнца его почему-то прони-

мает озноб. А затем ночью, в постели, вдруг выступал, случалось, пот, сразу делавший мокрой рубашку. Ничего подобного с ним раньше не бывало. Правда, эта непонятная потливость еще очень редко посещала его и то лишь — так по крайней мере казалось Онисимову,— если он бывал вечером на воздухе. Александр Леонтьевич не придавал значения этим неприятным странностям — не он один плохо переносил непривычно холодное здешнее лето. И все же предпочитал проводить свободные вечера в четырех стенах. Кстати, под крышей и не очень разыгрывался кашель, на воле же Онисимов обязательно раскашливался.

— Сыровато,— произносит он, глядя в окно.

Таков его ответ на невысказанное предложение Василия Даниловича.

— А не наплевать ли?

Склонив набок большую, словно бы тяжеловатую голову, Онисимов смотрит на красноватое, обветренное лицо Челышева. Сколько же лет этому трехжильному домещику-академику? Кажется, семьдесят три. А Онисимову лишь пятьдесят четыре. Подмывает откровенно сказать: «Для меня сыро». Нет, Александр Леонтьевич не разрешает себе жалобной нотки.

— Вы тут у меня на попечении. И извольте меня слушаться.

Он ведет гостя в кабинет. Туда проникает сквозь окно слабое свечение неба. Смутно поблескивает навощенный паркет. Различим запах табачного дымка. Она, эта комната, действительно излюбленная у Онисимова. Он с некоторых пор стал даже стелить себе здесь на ночь и, истребляя сигарету за сигаретой, все же одолевал бессонницу, забывался в недолгом, неглубоком сне.

Маленькая рука Онисимова притрагивается к выключателю. Вспыхнувшее под потолком созвездие лампочек озаряет увесистый, о двух тумбах, не причастный к мебельным модам письменный стол, телефонный круглый столик, громаду несгораемого шкафа, еще один круглый стол, что служит подставкой огромному глобусу, пару кресел, обтянутых исчерна-зеленой искусственной кожей, такой же обивки диван, несколько стульев, книжный шкаф, под стеклами которого видны тисненные золотом корешки томов Большой Советской Энциклопедии и различных справочников. На стене против дивана бликами электричества сияет написанный маслом портрет в золоченой раме. Стоя во весь рост, сложив на животе

руки, одетый в форму генералиссимуса Сталин глядит перед собой. Сколько раз в часы бессонницы Онисимов словно встречался с ним глазами. И предавался своим думам, перебирая прожитое.

На письменном столе лежит забытая здесь красная коробка сигарет «Друг».

Челышев располагается в кресле, удобно вытягивает длинные ноги. Онисимов пристраивается рядом на стуле, подымливает табаком. Сначала они говорят о делах. Корректные тишландцы под разными предлогами не пускают советских инженеров на свои металлургические предприятия, не показывают и судостроение. Онисимов пытался оказать содействие, но и он натолкнулся на вежливый отказ. Пока что, как видно, не придется осмотреть здешнюю металлургию. Но если наш брат, советский дипломат, здесь бездельничать не будет, то...

— Приезжайте, Василий Данилович, снова через год-другой. Возможно, некоторые двери нам откроются.

Челышев встает, широким шагом идет к глобусу, медленно вращает большущий, иноземного изготовления шар, по которому растеклась голубизна океанов, разбирает, не прибегая к очкам, нерусские мелкие и мельчайшие надписи. Нет, вряд ли он сюда вторично выберется. Надо и честь знать, другим тоже хочется свет повидать, а он, Челышев, наездился, пусть посидит дома.

Онисимов слушает с улыбкой. Конечно, наверху именно так и скажут, если Челышев через год-другой вдруг выскажет желание вновь посетить эту страну. Александру Леонтьевичу приятна откровенность гостя, его лишенный дипломатических околичностей тон. Этак же начистоту Василий Данилович держался с ним и в канувшие времена. Ей-ей, можно подумать, что он, Онисимов, разговаривает с Василием Даниловичем в далекой-далекой Москве в своем кабинете в Охотном ряду. Вот только глобуса у Онисимова там не было. Опять его посасывает знакомая тоска, усилием воли он с ней легко справляется, продолжает слушать.

Челышев говорит о предстоящем Всемирном конгрессе металлургов в Люксембурге. Намечена работа шести секций, в программу включены почти двести докладов. Десятка три сообщений готовят и советские металлурги. Он перечисляет важнейшие темы. Организационный Комитет конгресса кое-что в нашей заявке с почтением сократил, лишь доменщиков не обидел. Дело понятное. Всем интересно, как же эти русские на своих домнах

обставили американцев. Обзор доменного дела в СССР вынесен на пленарное заседание конгресса. С этим обзором там выступит Головня Петр.

Впервые в этот вечер тут произнесено имя Петра Головни. Уже его назвав, Челышев тотчас вспоминает: Петр Головня плотно сомкнул губы, ничего не произнес, когда министерские работники просили передать приветы Александру Леонтьевичу. Ну, а Онисимов? Нет, он никак не реагирует, даже ничтожная тень не пробегает по лицу, на четкого рисунка губах по-прежнему видна легкая улыбка. Возможно, для него давняя стычка с Петром Головней — или, пожалуй, лучше сказать, схватка — уже погребена под пеплом времени, не вызывает волнения. Что же, Челышев не намеревается теперь вновь в это встревать. Опять раздается его стариковски глуховатый голос:

— Меня тоже в обиде не оставили. Буду сопредседателем конгресса. Придется, может быть, сказать несколько любезностей великой герцогине Люксембургской. Боюсь. Вдруг, черт побери, что-нибудь ляпну.

И опять Онисимов дружески смотрит на него, немного склонив голову набок. Академик вертит глобус, отыскивает крохотное государство Люксембург. Есть надежда, что делегаты конгресса поколесят по прилегающим странам. Ну, и он отведет, конечно, душеньку. Можно рассчитывать на поездки в Бельгию, во Францию и к федеральным немцам. Эти господа, хоть и скрепя сердце, все-таки нас пустят на один-другой завод. Ну, а в дальнейшем...

Челышев опять поворачивает глобус. В дальнейшем до чертиков охота поглядеть Латинскую Америку. Прежде всего Кубу, затем Бразилию, Уругвай... Ну, конечно, на очереди снова и Соединенные Штаты — хоть раз в десяток лет надобно туда наведываться, пошляться там у станов и печей, потолковать с заводской публикой.

И еще поворот глобуса. Сколько поездок предстоит Челышеву и по своей стране. Осенью он снарядится, наверное, в пески Казахстана, увидит своими глазами, каковы эти новооткрытые месторождения руд редких металлов. А Восточная Сибирь? Край, где расположится наша третья металлургическая база? Там надобно опять прокружить всерьез... Да, вот еще кстати о Восточной Сибири. Товарища Лесных-то доконали. Взашей выгнали с завода. Впрочем, это было, Александр Леонтьевич, ка-

жется, еще при вас. А потом все его печи разрезали автогеном на куски и вывезли на переплавку. Получил от него письмо, хотел помочь, но что можно теперь сделать? Зря оторвали человеку руки-ноги. Одну печку следовало бы ему оставить, пусть бы возился. Кому от этого было бы плохо?

Онисимов невозмутимо слушает, не отвечает. Мальчишеским неожиданным движением Челышев заставляет глобус пуститься в бег, следит за его вращением. Значит, не ждите, Александр Леонтьевич, сюда вновь вашего покорного слугу. Во всяком случае, в ближайшей семилетке.

— Ну, и молоды же вы!— произносит Александр Леонтьевич.

И опять в этих словах — некий изменившийся, не прежний Онисимов. Раньше он не заводил разговоров о молодости, о здоровье, о старении. А теперь...

Теперь Онисимов не удерживается от вопроса:

— Вам, Василий Данилович, кажется, семьдесят три?

— Э, стукнуло уже семьдесят четыре.

— Удивительное дело. Живой водой, что ли, умываетесь?

Челышев со своей жестковатой откровенностью преспокойно отвечает:

— Старался как-никак держаться подальше от мест, где надо быть «чего изволите?». Поэтому и от вас, Александр Леонтьевич, сбежал.

Прежде Онисимов, наверное, не спустил бы собеседнику этакую реплику. Он умел мгновенно срезать и этого уважаемого доменщика, если тот излишне вольнодумствовал. Но сейчас спорить не тянет.

Онисимов молчит, откашливается. Кашель, однако, затягивается — сухой, лающий, надсадный. Василий Данилович ощущает жалость, насупливается, чтобы ее скрыть. Не зря ли он что думал, то и выпалил? Впрочем, почему, черт побери, он тут должен выбирать осторожные слова? С больным, что ли, разговаривает?

С больным? Хм... Челышев исподлобья косится на Онисимова, уже справившегося с приступом кашля. Да, нехорош, нехорош вид Александра Леонтьевича. Запястье, выглядывающее из-под накрахмаленной белой манжеты, совсем тонкое, худое. А к желтизне лица, тоже исхудалого, словно бы примешан цвет золы. Однако это, быть может, лишь игра освещения? Или вправду какая-то немочь точит, снедает Онисимова?

Василий Данилович меняет тему, передает Онисимову кучу приветов из Москвы, добрые пожелания Александру Леонтьевичу, называет одного за другим тех, кого привез сюда, в Тишландию. Беседа поворачивает в другое русло. Онисимов интересуется: каковы толки насчет будущей перестройки управления промышленностью? Да и произойдет ли она, эта перестройка? Челышев передает мнение румяного министра: «Нас это не коснется».

Онисимов оживляется. Если о технике, о научных сообщениях на предстоящем Конгрессе он слушал без огонька, то теперь входит во вкус, дотошно расспрашивает. Никуда не спеша, он как бы перебирает людей, которые ему были подначальны, вместе с которыми управлял стальной промышленностью. Министр, заместители, члены коллегии, начальники главков, отделов, директора заводов — его занимает весь этот широкий круг. Ему хочется знать позицию, точку зрения каждого относительно предстоящих реформ. Видно, что страсти, волнения Александра Леонтьевича принадлежат прежней работе, уносят его из чинной тишландской столицы в Москву, в министерство, в Комитет. Челышева же эти организационные проблемы, дела управления индустрией не очень занимают. Он тут не силен, может напутать, в чем без стеснения признается. Да и взгляды на сей счет того, другого, третьего он себе представляет нечетливо. Однако порассказать, потолковать о них, сподвижниках Онисимова, он, разумеется, не прочь.

Так они и сидят, поглощенные своим разговором,— Онисимов охотно слушает, как судит-рядит старик академик. Немало вечеров они провели когда-то вместе,— то на заседаниях у Онисимова, то разбирая вдвоем какое-либо проектное задание или проблему технической политики,— но вот этак без дела, не под рабочим напряжением, не под током, который ранее постоянно излучал Онисимов, они беседуют впервые. Василий Данилович примечает: бывший председатель Комитета рвется душой к поприщу, которое ему пришлось оставить, но волей-неволей уже интересуется этим как бы со стороны. Да, ничего предпринять, изменить, совершить там Онисимов уже не в силах. А здесь длинными вечерами зачастую он ничем не занят, порой живет будто на покое. И телефон на столе за время их беседы так ни разу и не зазвонил.

Уже за полночь Онисимов провожает гостя на нижний этаж к массивной входной двери. Потом, тяжело

переступая, держась за полированные перила, возвращается по лестнице в свой кабинет.

30

Ровно через сутки около часу ночи в номере Челышева раздался телефонный звонок. Василий Данилович, уже обрядившийся в пижаму, взял трубку:

— Ну-с...

— Не спите?

Академик с удивлением узнал голос Онисимова.

— Нет.

— Извините, сам знаю, что поздно.

Пауза. Челышев молча ожидает дальнейших слов Александра Леонтьевича:

— Василий Данилович, вы сможете сейчас ко мне приехать?

— Что-нибудь стряслось?

— Да... Факт совершился.

— Хм... Хорошо, выезжаю к вам.

— Посылаю за вами, Василий Данилович, машину. Она будет ждать вас у подъезда.

Быстро одеваясь, Челышев пытается угадать, что означает это необычайное ночное приглашение, эти слова: «факт совершился». Что же стряслось?

Онисимов встретил старика на широкой, слабо освещенной лестнице. Челышев пытливо взглянул на него. Нет, по внешнему виду ничего не распознаешь. Исхудалую короткую шею облегает, как обычно, безупречно белый, жестковатый воротничок. Темный галстук повязан с неизменной аккуратностью. Точеное лицо, послушное сдерживающим центрам, привыкшее к маске бесстрастия, и сейчас не выдает переживаний. Пожалуй, лишь заученно любезная улыбка, машинально проступившая, неуместная в эту минуту, своеобразно свидетельствует о смятении. Маленькие глазки Челышева замечают и еще один признак волнения: левой рукой Онисимов сжимает правую, чтобы, как догадывается академик, утихомирить разыгравшуюся дрожь.

Александр Леонтьевич ведет гостя в кабинет. Плотно затворяет дверь. Приглашает сесть. Идет к несгораемому шкафу, отмыкает его двумя поворотами ключа, из темнеющего раскрытого зева достает папку, трясущуюся в его руке. Челышев ждет. Что же, что же приключилось? Из папки Онисимов достает лист.

— Только что получеиа шифровка из Москвы. Можете прочесть. Факт совершился. Мииистерства лнквиднрованы.

Челышев берет листок, читает сообщение о ликвидации ряда министерств — все оии перечислены,— ведавших промышлеииостью. Отиыие их замеият оргаиизованиые иа местах Советы иародиого хозяйства. И что с того? Чего тут потрясающего? Ои вспомииает, как в 1923 году, получив постаиовлеиие о коисервацни завода, где был главиым инжеиером, теплившегося и во времеиа граждаиской войны, разореиия, приплелся домой, ударил в иеистовстве, в ярости иогой по стулу, прокричал: «Завод закрыт!» Неужели и Онисимов сейчас ощущает такую же боль?

— Ну, ликвидироваио,— говорит Челышев.— Чего же особеииого?

— Боюсь, что расшатается техиологнческая дисциплииа. И растеряем кадры.

— Каких-то потерь, иавериое, ие избежим,— соглашается Челышев.— На то н встряска.

Ои смотрит иа сверкающий лаком портрет Сталииа, иависший иад письмениым столом. И продолжает:

— Уходнт его эпоха. Мы с вамн помиим ее зарождеиие. Сами былн ие последиими ее работинками. Потрудилнсь, себя, кажись, не посрамили. Теперь иа смену ей ндет другая.

Лохматые сивые брови сейчас ие прячут маленьких умиых глаз.

Онисимов гасит, давит в пепельиице недокуреииую сигарету. И опять тянется к красной коробке. Но, так и ие коснувшнсь ее, поворачнвает голову к портрету. И вдруг будто что-то отверзается в Онисимове:

— Не могу так рассуждать! Для вас ои ушедшая эпоха. А для меня... Ои меия спас. Буквальио спас.

«Хм, спас Сталии, от кого же?— иронически думает Челышев.— Не от Сталнна лн?»

— Э, разве суть в том, что спас?— с неожиданной страстностью продолжает Онисимов.

Нервным, быстрым двнжением подавшись к распахиутому сейфу, ои извлекает оттуда еще одиу папку, переплетенную в коричневую, потускневшую от времени искусствеииую кожу. Откидывает верхиюю крышку. На свет появляется страничка блокиота — береженная долгие годы, взятая в чужую страиу. Онисимов передает ее вместе с папкой академику. Ясна каждая буковка, вы-

писанная каллиграфическим почерком Александра Леонтьевича. Наискось размашисто брошены строки, принадлежащие иной руке. Подпись, словно бы свидетельствующая о прямолинейности, грубоватости солдата, лишена росчерков: «И. Сталин». Челышев легко разбирает: «Тов. Онисимов. Числил Вас и числю среди своих друзей. Верил Вам и верю...»

— Это мой талисман,— не пытаясь прикрыться шутливой интонацией, выговаривает Александр Леонтьевич.

Гость мысленно дивится. Э, черт побери, как дорожит Онисимов этой бумагой. Не решился с ней расстаться, захватил с собой сюда. Похоже, он и поныне живет прошлым. И, быть может, настолько сросся нервами, сосудами, костями с прежним временем, за которым, наверное, так и останется навек название сталинского, что уже не в силах примениться к новому, перенести смену порядков.

Василий Данилович, однако, не задает вопросов,— он, несмотря на давнее и, что ни говори, довольно близкое знакомство с бывшим министром, бывшим главой Комитета, все же испытывает вопреки своему прямому праву некое стеснение беспартийного, которому не положено ведать партийные тайны.

Но Онисимова уже прорвало. Скрытая преграда, многими годами, десятилетиями замыкавшая его внутренний мир, вдруг словно распалась. И хлынула исповедь. Беспартийному Челышеву он поверяет то, о чем не рассказывал ни одному другу (впрочем, в его жизни давно нет места дружбе), товарищу по партии. Даже и с женой он оставался скрытным, не умел и ей отворить душу.

А тут скрепы порвались. Берия! Вот чья рука, поросшая рыжеватыми волосками, была всегда, где бы Онисимов ни обретался, занесена над ним. Оба они, Берия и Онисимов, были членами ЦК, разговаривали на «ты», Онисимов, случалось, встречал неясную его улыбку и не сомневался: за нею скрыта ненависть.

Еще и еще хлещут признания. Рвутся слова о непонятных, страшных арестах тридцать седьмого и тридцать восьмого годов. Василий Данилович безмолвствует, уставившись в пол. Непроизвольное пошевеливание крыльев хрящеватого носа свидетельствует, как захвачен, взволнован старик откровенностью Онисимова.

По-прежнему давая себе волю, входя в разные подробности — Онисимов сам удивлен, что они воскресают

в памяти,— он продолжает излияния. Слежка за его машиной. Мучительные думы, ожидание ареста. И решение: написать Сталину. Копию этого письма Онисимов тоже взял с собой, покидая Москву. Из сейфа он достает несколько страниц машинописи:

— Прочтите, Василий Данилович.

Гость углубляется в бумагу. Да, сильно написано. С достоинством. «Беру на себя полную ответственность за всю служебную деятельность моих подчиненных...» «Никакие вредительские акты не имели места в аппарате, которым, выполняя поручения Центрального Комитета партии, я руководил...» И затем просьба о расследовании.

— Даже и теперь я не мог бы, — убежденно говорит Онисимов,— ничего сюда прибавить. Не мог бы изменить ни одного слова.

— Э, теперь-то можно было бы влепить покрепче.

Онисимов не отзывается на эту реплику, он видит сейчас прошлое.

...Письмо передано в руки Хозяину. Это сделал Уфимцев, известный старый большевик, беспощадный ко всем, кто хоть раз шатнулся, мало-мальски усомнился в Сталине. Он знал Онисимова по армии и по Москве. Не только знал,— они давно уже породнились. Жене Онисимова, Елене Антоновне, Уфимцев приходился дядей. Он, конечно, мог бы резко отмести эти родственные отношения. Не вступился же он за арестованного своего воспитанника, прежде любимого, который в двадцатые годы, студентом, голосовал за оппозицию. Но Онисимову верил, был убежден в его готовности всегда, в любых условиях, исполнять волю Центрального Комитета партии, волю Сталина, и, рискуя вызвать недовольство, раздражение Иосифа Виссарионовича, подвергая и себя грозной опасности, положил перед ним письмо Онисимова. Сталин начертал резолюцию: «Создать комиссию».

Жадно закуривая, втягивая табачный дым, порой натужно, долго кашляя, Онисимов ведет дальше свой рассказ. Допросы, вызов в Кремль. Мерно прохаживающийся Сталин. Улыбка Берии, не сулящая добра. Александр Леонтьевич в подробностях воспроизводит этот грозный, исполненный почти нечеловеческого напряжения час. И вот он, уцелевший питомец Серго, вышел от Сталина, облеченный доверием и новым званием: народный комиссар танкостроения. Тогда он переступил некий порог, шагнул в переменившиеся времена.

Взбаламученные мысли несут Онисимова к воспоминаниям об Орджоникидзе. И опять он исповедуется.

За окном уже утро. Ясно светлеет полоска между неплотно задернутыми занавесями. Поглощенный своей исповедью, Онисимов их не раздвигает. Он так и продолжает говорить, не впуская утреннего света, словно пребывая еще во вчерашнем дне. Болезненно бледное лицо к утру вовсе посерело. И дыхание словно бы без причины участилось, стало слышимым.

— Бросьте себя мучить,— бурчит академик.— Вылезайте душой из тех времен. Чего к вам они цепляются? Перед вами еще будущее.

Мысли Онисимова, однако, по-прежнему обращены в прошлое.

31

И он говорит, говорит, облегчая душу. Да, с честью поработали. Помните, Василий Данилович, магнитогорскую ниточку жизни? Впрочем, к чему спрашивать? Разве этакое позабудешь!

...Сорок первый. Зима подмосковного сражения. Онисимов в ушанке, в полушубке, в темных бурках стоит среди курящейся бураном степи, отмахав на машине-вездеходе добрую сотню километров из Магнитки. Мимо по косячкам снега, заметающим дорогу, проламываются сквозь пургу грузовики, везущие в Магнитку островерхие кучки тяжелого исчерна-фиолетового камня. Это марганцовая руда — необходимая добавка, или, по словцу плавильщиков, присадка, без которой, как гласила технологическая грамота, не выдашь черного металла, что идет на снарядную заготовку, на танковую броневую плиту.

А марганцовой руды недостает. Давно освоенный богатейший Никопольский бассейн на Украине потерян в начале войны. Остались Чиатурские рудники в Грузии. Подвоз оттуда слаб, выходные пути с Кавказа достает, бомбит авиация врага, отсекая бакинскую нефть и заодно обостряя, делая невыносимее безмарганцовое удушье наших могучих заводов Востока.

Геологическая разведка Магнитки еще летом нащупала в пустынной округе несколько скудных марганцовистых гнезд. Туда были быстро переброшены отряды горняков Магнитогорска, сборные, некрашеного теса домики, брезентовые, со слюдяными окошками палатки. И к печам горстками потек-поехал добытый здесь же,

в Приуралье, черно-сизый камешек. Но ранняя в тот год зима, сразу же ударившая и немилосердной стужей и буранами, засугробила, перемела протянувшуюся по низинам и взгорьям дорогу.

Онисимову тяжело далась минута, когда он, находясь в Свердловске, где был развернут эвакуированный штаб стальной промышленности, решился воззвать к Государственному комитету обороны. Держа трубку телефона, вслушиваясь в невнятные посвисты, шумы, будто и провода доносили завывания вьюги, он на ногах ждал соединения, присесть было невмочь. Доложил мужественно: не справляемся, свои возможности исчерпаны, дорога-ниточка от марганцовистых гнезд занесена, непроходима.

Два автобатальона, подготовленные к отправке на подмосковный фронт, были переданы наркомату стали. И пробились к отрезанным снегами горнякам, повезли новые пригоршни черноватой сыпи в бункера многотрубного богатыря-завода, днем и ночью расстилающего по ветру и рыжие, и с прозеленью, и кипенно-белые, и густосажистые пологи.

Онисимов съездил на ниточку жизни, побывал на островках марганцовой руды, сумел еще форсировать выборку. И вернулся к себе в Свердловск. Зашел в кабинет Челышева. Маленькие глаза академика прятались под нависающими сивыми бровями, в уголках тонкого рта появлялась и упархивала и опять возникала непонятная улыбка, не то сконфуженная, не то, черт его дери, какая. Онисимов спросил напрямик:

— Чему посмеиваетесь, Василий Данилович?

— Да вот немного трушу. Взял на свой ответ...

— Ну, ну...

— Марганцовую-то руду добрые молодцы из шихты выбросили. Перетасовали весь процесс.

Привычное гневное «кто разрешил?», которого явно ожидал академик, не вырвалось из уст Онисимова. Он бросил:

— Кто? Где? Когда?

— Это, Александр Леонтьевич, приключилось на двух заводах сразу.

Челышев выложил подробности. Шихтованные без присадки марганца плавки дали некоторый сортамент сталей, которые выдержали испытание, строго соответствовали государственным стандартам, Сдерживая чувства, Онисимов внимательно, придирчиво просмотрел до-

кументацию, проверил с карандашиком формулы шихты. И все-таки у него вылетело:

— Почему же не просили разрешения?

Челышев почесал за большим непородистым ухом.

— Загиб!— весело объявил он.— Такое загнуть могут, что... Где уж нам, грешным...

...Да, Василий Данилович, хороши мы или плохи были, но казались не последними. Из коробки на своем чинном посольском столе Онисимов забирает еще сигарету, снова дымит. И неожиданно называет имя человека, про которого, как доселе казалось Челышеву, не хотел говорить:

— Наверное, Петр Головня презирает меня...

32

Бывший председатель Комитета продолжает взволнованный рассказ, торопится поведать еще многое. Порой он говорит скомканно, сбивается и, конечно, не живописует. Однако в уме, во взбудораженных мыслях, ярко проносятся картина за картиной. Передадим посвоему одну из них.

...Знойный июльский день 1952 года.

Не прошло и недели с того часа, как Онисимов наедине с собой в своем пустынном служебном кабинете читал и перечитывал только что полученное им постановление Совета Министров СССР об изобретении Лесных. В первых же абзацах этой подписанной Сталиным бумаги Онисимову объявлялся выговор. Формулировка была резкой: «Зажим ценнейшего новаторского предложения». И все-таки Онисимов, как он ни был уязвлен, как ни страдало самолюбие, мог с облегчением вздохнуть. Совсем близко, словно обдав дуновением лицо, пронеслась, просвистела гибель. Александр Леонтьевич тут вряд ли впадал в преувеличение. Если бы раздраженный Хозяин устранил Онисимова, Берия, конечно, нашел бы способ доконать недруга. Александр Леонтьевич отделался лишь этими двумя строками выговора, да еще заданием: выстроить, пустить мощный завод с печами системы Лесных.

Изнуренный нервным напряжением тех дней, даже для него, закаленного во многих передрягах, непомерным, с удивлением наблюдая, как, будто ни с того ни с сего, вдруг сотрясаются, мелко дрожат пальцы, он в кон-

це недели позволил себе отдохнуть, решил провести субботний вечер и воскресенье на даче.

Дача, которая, так сказать, по должности, была предоставлена ему, располагалась в сосновом бору близ Москвы-реки. Онисимов редко наезжал в этот загородный домик, его и по воскресеньям притягивала служба, кабинет. Переночевав в тот раз на даче,— ее тоже, как и квартиру в Москве, чьи-то чужие руки обставили погостиничному,— он в воскресный жаркий полдень вышел в одиночестве со своего участка, медлительно зашагал к реке...

Твердый белый воротничок был оставлен в спальне, подкрахмаленную сорочку заменила легкая голубая рубашка, верхние пуговки Онисимов не застегнул, открыв ветерку коротковатую шею. Разделенная пробором прическа, неизменно аккуратная, пряталась под белой, с широкими полями шляпой: в таком виде Александр Леонтьевич хаживал и на юге в отпуске.

Некоторое время он брел то полянами, то в напитанной испарениями смолы духоте бора.

В какую-то минуту с пригорка, круто сбегавшего к береговому песку, открылась блещущая гладь реки и луговой простор на низком другом берегу. По едва заметной тесемке шоссе, просекавшей зеленый, уже чуть желтеющий покров, катились вспыхивающие солнечными бликами маленькие издали машины. Катились, пропадали из глаз, взамен возникали следующие.

А тут на холме, который тоже принадлежал к территории поселка, раскинутого в стороне от шоссейных магистралей, было даже и в это душное воскресенье тихо, малолюдно. Лишь несколько купальщиков виднелись на воде и на пляже.

Шагая по некошеной, уже перестоявшейся, жестковатой, пружинящей под ногой траве, Онисимов неожиданно услышал:

— Александр Леонтьевич, ты?

Он повернулся на оклик.

Подставив солнцу черную до глянца шевелюру, хотя поблизости бросала тень разлапистая одиночная сосна, Тевосян, с детства привыкший к жаре Закавказья, полулежа расположился на траве и с мягкой улыбкой смотрел на Онисимова. Рядом покоились его снятый пиджак и серая фетровая шляпа. Заместитель Председателя Совета Министров СССР расстался тут, как и Онисимов, с

воротничком: в распахе светлой сорочки чернели вьющиеся волоски.

— Присаживайся,— дружески сказал Тевосян.

— Э, я тут зажарюсь,— пошутил Александр Леонтьевич.

— Что же, учтем твое пожелание.

Тевосян легко вскочил, чтобы перейти в тень. Его карие, почти черные глаза кого-то отыскивали на реке.

— Погляди,— сказал он.— Дочка. Вон Красная шапочка.

И, подняв над головой смуглую руку, помахал.

Тотчас подплывавшая к берегу Красная шапочка — дочь Тевосяна — вскинула руку, ответно замахала.

— Где-то тут и мой Володька,— продолжал Тевосян.— Сейчас его мобилизуем. В шахматы, Александр Леонтьевич, сразиться не откажешься? Отправим Володю за доской. Ага, он... Кажется, он меня уже узрел.

Жестом он поманил сына, которого Онисимов, признаться, еще не различил. Юноша в трусах, загорелый до шоколадного тона, поднялся с песка, побежал на немой призыв.

Минуту спустя Тевосян-сын, перенявший с удивительной точностью, вплоть до явно обозначившихся усиков, наружность отца, отвесил вежливый поклон Онисимову и воскликнул:

— Папа, я нужен?

— Не в службу, а в дружбу... Тебя не затруднит слетать за шахматами?

— Конечно. О чем говорить?

Онисимов перехватил обращенный на отца сыновний взгляд — в нем читалось обожание. Чуть защемило сердце. Белобрысый Андрейка, поздний плод брачного союза, единственное дитя четы Онисимовых, этак на него, Александра Леонтьевича, уже не поглядывал. Вот и в нынешнее воскресенье, в редкий приезд отца, Андрейка куда-то унесся.

В ожидании шахматной доски давние товарищи сели под сосной. Закурили. Онисимов дымил сигаретой. Тевосян неторопливо затягивался папиросой своей излюбленной марки «Дюшес».

— Знаешь,— произнес Александр Леонтьевич,— как-то мне наше медицинское светило профессор Соловьев дал такой совет: если вы уж курите, то получайте удовольствие. Расположитесь поудобней, работа две минуты подождет, и покуривайте со вкусом.

Оба усмехнулись. Как выкроишь такого рода минуты в стремительном беге рабочих ночей и дней?

Встретившись здесь, в дачном приволье, они о делах не говорили. Это было неписаным правилом — не касаться на отдыхе того, что охватывалось понятием «работа». Заместитель Председателя Совета Министров, разумеется, знал, что несколько дней назад Сталин объявил Онисимову выговор. Знал все постановление относительно способа Лесных. Однако и намеком не тронул этой темы.

Перебрасывались фразами о том о сем, порой молчали. Тевосян лег навзничь, заложив за голову руки. И вдруг средь незначащей беседы он, будто ненароком, произнес:

— Кажется, позавчера тебе переслали заявление Петра Головни. Получил?

— Получил.

Да, Онисимов уже ознакомился с письмом директора Кураковки, адресованным в ЦК партии и в Совет Министров. Письмо было неприятным. Головня-младший обвинял Онисимова в том, что тот на протяжении ряда лет не давал хода его изобретению, ныне все же признанному. И далее требовал... Ну, Онисимову не хотелось сейчас об этом думать. К чему же, однако, Иван Федорович спросил про Головню?

По-прежнему лежа, не поворачивая головы, Тевосян добавил:

— Мне вчера насчет этого звонили от Лаврентия Павловича.

Онисимов ничего не ответил, но, несмотря на зной, ощутил ползущий по спине холодок. От Лаврентия Павловича! То есть Берия уже проведал. И если удалось устоять в деле Лесных, то... Онисимов опять взялся за коробку сигарет. Пальцы мелко сотрясались. Усилием воли он хотел унять эту противную дрожь. И не унял. Сунул коробку в карман, не закурив.

А Тевосян уже заговорил об ином — о своем Володе, об институте, куда метит попасть сын.

Потом появились и шахматы. Смятение мешало Онисимову сосредоточиться. В первой партии он был начисто разгромлен. Но пустив в ход тормоза, он опять стал, как всегда, собранным. Покуривая — кстати, и дрожь пальцев улеглась,— внешне невозмутимый, Онисимов все-таки потеснил партнера, тоже, как и он сам, неплохого шахматиста, вырвал победу во второй партии.

...Хлещет и хлещет его исповедь.

В ту свою ночь откровенности, изливаясь старику академику, Александр Леонтьевич лишь изредка присаживался, нервная взвинченность, волнение подымали его на ноги. Он и теперь вышагивает, подходит к глобусу, смотрит на залитый подтеками голубизны большущий шар:

— Ни один человек на белом свете не презирает меня так, как Петр Головня. И все же... Все же он глядит вот этак...

Поднеся с обеих сторон к глазам распрямленные ладони — они словно служат шорами,— Онисимов ограничивает обзор.

— Пусть поглядит вот так.— Откинув руки, Александр Леонтьевич озирает потолок и пол, обегает взглядом комнату.— Пусть увидит все.

— А вы сами-то как смотрите? Не хотите видеть будущего.

Онисимов еще остается откровенным:

— Не знаю. Оно, наверное, не для меня. До нынешнего дня мне еще верилось, что вернусь в промышленность. А теперь... Пожалуй, там я теперь не нужен.

Академик встает. Впереди рабочий день, следует прикорнуть и самому, дать отдых и Онисимову, выговорившемуся нынче так, как ему еще, наверное, не случалось, утомленному, если не больному. Да, надобно сказать что-то утешительное:

— Ничего, немного потерпите. Глядишь, и организуется некий Центросовнархоз или Главиндустрия. У нас любят, чтобы под рукой был человек, с которого за все можно спросить. А то и спустить с него три шкуры. Вот тогда и скажут: «Подать сюда товарища Онисимова, как раз место для него». Я вам, Александр Леонтьевич, это предрекаю.

Онисимов провожает гостя вниз до входной двери.

Переживая минувшую необычайную ночь, Челышев по рассветной прохладе добрался к отелю пешком. И вопреки прежнему здравому намерению не лег соснуть. Присел к столу, раскрыл толстую тетрадь, сопровождавшую его и в Тишландию, стал на свежую память заносить в дневник историю Онисимова. И хотя в этот день предстояли интересные экскурсии, Челышев на телефонные звонки отвечал, что неважно себя чувствует и нынче

полежит. Он строчил почти до вечера, исполняя, как он сам считал, свою обязанность перед потомством. Уже почти три десятилетия он, доменщик-ученый, ведет такие записи, им движет немеркнущее убеждение: довелось жить в великое время.

Пользуясь (но, думается, не злоупотребляя) своей авторской властью, скажу еще раз: этот мой роман-отчет вряд ли был бы задуман — уже не говорю: написан,— если бы я не располагал таким человеческим документом, как дневник академика Челышева.

...Накануне вылета возвращавшейся на родину группы Онисимов вечером собрал у себя отъезжавших. Скромнейший трезвенник, изгонявший спиртное, всю жизнь остававшийся таким, Александр Леонтьевич и здесь себе не изменил — ужин был подан без водки, без вина, даже без пива.

После ужина слушали патефонные пластинки. Одна за другой звучали в превосходном исполнении известные русские песни — «Стенька Разин», «Есть на Волге утес», «Дуб и рябина», «Подмосковные вечера». Среди гостей, как почти во всякой русской компании, нашелся голосистый искусник-запевала, молодой инженер-судостроитель. Постепенно выветрилось, исчезло стеснение. Онисимов в черном вечернем костюме присел на ступеньку небольшого возвышения, служившего здесь своего рода эстрадой, безмолвно слушал, смотрел на земляков. Рослый, носатый, светловолосый запевала сбросил пиджак, остался в кремовой сорочке и, выразительно дирижируя обеими руками, выводил исполненную грусти колыбельную:

Когда станешь большая,
Отдадут тебя замуж
Да в деревню большую,
Да в деревню чужую.

Двигались простертые руки дирижера, возникал многоголосый припев:

В понедельник там
Дождь, дождь...
А-а-а-а-а...
Бай, бай...
Дождь, дождь...

Некогда в подворье святого Пантелеймона — так по старинке именовался отобранный у монахов дом, ставший студенческим общежитием института стали,— этак

же, протянув обе руки, вел песню, дирижировал и тонкий, синеглазый Володя Пыжов, по прозванию Пыжик. Теперь его нет уже в живых, но Онисимову не хочется думать об этом. Студент Пыжик мог петь вечер напролет. И тоже снимал пиджак, высился в светлой,— нет, не сорочке,— в сатиновой косоворотке, которую носил навыпуск, подпоясывая тонким ремешком. Пыжик, случалось, затягивал эту же тоскливую колыбельную, что привез с собой из родной Сибири:

Мужики там дерутся.
Топорами сякутся.
И в среду там
Дождь, дождь...

Словно нарочно, дождь и теперь монотонно стучит в окна посольства.

Бай, бай,
Дождь, дождь...

Разошедшийся белобрысый инженер заводит уже другую песню.

Живет моя отрада
В высоком терему...

Пыжов и эту певал в студенческие дни. Обычно он не позволял Онисимову подтягивать — тот был почти лишен музыкального слуха,— но, начиная «Живет моя отрада», не забывал всякий раз сказать: «Саша, можешь участвовать». Александр Леонтьевич и теперь решается присоединить свой голос к другим. Прочь, прочь неотвязные мысли!

Лишь далеко за полночь гости распростились с послом. Онисимов крепко пожал каждому руку. Челышеву сказал:

— Передайте привет всем.

Помедлил и повторил:

— Всем.

Челышев метнул на Александра Леонтьевича взгляд из-под бровей, понял, что тот разумеет и Головню-младшего. Ответил:

— Передам.

34

В нашей повести уже фигурировал имевший мировое имя, овеянный доброй молвой московский врач, автор

книги «Общая терапия» профессор Николай Николаевич Соловьев, который некогда осматривал Онисимова и дал совет: «Избегайте ошибок».

В августе 1957 года Соловьеву позвонили из Министерства иностранных дел:

— Николай Николаевич, не согласитесь ли полететь в Тишландию? Наш посол товарищ Онисимов болен.

— Что с ним?

— Лежал с воспалением легких. Теперь острый период миновал, но все же выздоровление не наступило. Мы вас просим, Николай Николаевич, дать свое заключение.

Моложавый, в венчике седых кудрей вокруг блестящей розовой лысины, похожий, как мы уже в своем месте говорили, скорее на художника или режиссера, нежели на медика, побывавший во многих странах, но еще не повидавший европейские северные государства, Соловьев охотно принял предложение.

В рассветный час ясного сентябрьского дня Николай Николаевич вылетел с аэродорма Внуково. Вместе с ним отправилась к мужу встревоженная, но сохранявшая обычную сдержанность, присутствие духа, строго одетая, строго причесанная жена Онисимова.

В пути, коротая пересадку в просторном, сооруженном словно бы лишь из стекла транзитном зале аэропорта, Николай Николаевич спросил Елену Антоновну:

— Муж что-нибудь писал вам о своей болезни?

— Почти ничего. Он вообще писать не любит. Разве лишь деловые бумаги. Иногда мы разговариваем по телефону. Я знаю, что он никак не приспособится к климату, почему-то без конца простужается. Но в письмах ни на что не жаловался.

— Как у него тонус, настроение?

Елена Антоновна ответила кратко:

— У него были неприятности. Некоторое время он и на новой работе, пожалуй, испытывал угнетение. Потом, как мне казалось, увлекся новыми обязанностями.

Свежий, розоватый, будто ему нынче не пришлось подняться в три часа утра, Соловьев с интересом слушал. Ни лысина, ни седина не угасили молодого интереса, с каким он относился к каждому больному, к каждой индивидуальности, встречавшейся на его пути врача. Возможно, именно такая черточка, родственная, думается, и профессии писателя, определила врачебный профиль Соловьева: общая терапия.

— Извините неделикатность,— продолжал он.— Вы никак не могли с ним поехать?

Жена Онисимова ничем не показала, что эти слова ее задели. Речь оставалась по-прежнему мерной:

— Я ведь тоже работаю. Да и сына надо воспитывать, переходный возраст, вы знаете...

Николай Николаевич в знак удовлетворения, понимания склонил голову. Этот беглый разговор, да и несколько часов, уже проведенных совместно в самолете, оставили у него ощущение, что ему сопутствует хорошо собой владеющая, рассудительная женщина-администратор. Ну, что ж, в трудную минуту она зато не наделает глупостей, не потеряет себя, не зарыдает, будет советчиком, дельным помощником.

В столицу Тишландии самолет прибыл к вечеру. С аэровокзала автомобиль повез Соловьева и Елену Антоновну в посольство.

В первую же минуту посол произвел впечатление тяжело больного. Очень исхудавший, он вышел к приехавшим в халате. Движения были вялыми, глаза не заблестели, когда он увидел жену. Слабо ее поцеловал, верней, лишь притронулся к ее щеке почти бескровными губами. На изжелта-бледном лице лежал сероватый налет. Казалось, к желтизне примешан пепел. Уже один этот специфический, пепельный оттенок как бы объявлял о болезни, называл ее по имени.

Впервые за много-много лет Онисимов не следовал привычке бриться каждый день. Щетинка проступила на подбородке, поползла вверх к скулам, явственно обозначившимся из-за худобы. Истонченный нос казался укрупнившимся, слишком большим.

Предоставив супругам без помехи поговорить, Николай Николаевич некоторое время спустя наведался к больному. Александр Леонтьевич принял профессора в спальне. Комната была тщательно убрана, возможно, уже руками Елены Антоновны. Свои места занимали, точно в Москве, две широкие кровати — одна без складочки застеленная, другая, тоже прибранная, но слегка откинутым у изголовья одеялом, как бы ждущая больного,— зеркальный платяной шкаф, тумбочки, столик с графином воды и пустующей вазой для цветов. Вооружившись очками в темной массивной оправе — осунувшееся лицо теперь в очках казалось еще меньшим,— Онисимов просматривал привезенные женой московские газеты.

Елена Антоновна оставила, в свою очередь, наедине врача и больного. Сняв очки, Александр Леонтьевич заговорил первый. Он не жаловался на самочувствие, даже был склонен, как показалось профессору, преуменьшать недомогание:

— Могу работать, хочу работать. Помогите, Николай Николаевич, разрешить все сомнения.

— Какие же сомнения?

Александр Леонтьевич стал рассказывать. По-видимому, он простудился. Это случилось около месяца назад. Температура сразу подскочила почти до сорока градусов. К нему вызвали врача, который оказался русским по происхождению, американцем по гражданству, тишландцем по месту оседлости.

— Гражданин мира. Интересная фигура. Имеет тут собственную поликлинику. И обслуживает почти все посольства. О нас, знаете, как он сказал? Ваши люди — закрытые люди. Не глуп. И дело свое. кажется, понимает.

Онисимов вел речь неторопливо. Николаю Николаевичу нравилась его манера — никакой важности или ломания, никаких манер сановника, рассказ мужественный, прямой. Александр Леонтьевич сообщил, что русско-американец нашел у него воспаление легких, применил антибиотики и сбил температуру. Затем повез посла в свою поликлинику, просветил легкие, сделал рентгеновские снимки. Счел необходимой консультацию профессоров. И вскоре приехал к Онисимову с двумя местными профессорами. Они сказали в лоб: «Есть основания подозревать рак легкого».

В дальнейшем автор, распутывая все узелки истории жизни и истории болезни Онисимова, выяснил, что Александр Леонтьевич не вполне точно изложил Соловьеву свой разговор с медиками-тишландцами. Позже мне довелось обоих встретить в Москве в дни международного противоракового конгресса. Оба они — пожилой крепыш и другой, помоложе, большеглазый — не забыли советского посла. С их слов дело обстояло несколько иначе. Они отнюдь не предполагали выкладывать Онисимову диагноз напрямик. Однако, назвав ему свои фамилии, они тем самым уже раскрыли тайну. Воспользовавшись минутой, когда врачи ушли совещаться в соседнюю комнату, он полистал справочник, содержавший имена всех более или менее известных тишландцев, и тотчас установил, что к нему пришли специалисты по раку, один из

которых является даже директором Центрального онкологического института. Вернувшихся профессоров он, что называется, припер к стенке. Почему к нему приехали именно они, специалисты-онкологи? Значит, для этого есть основания? Острые вопросы Онисимова — с такой остротой он, бывало, вскрывал истину, будучи начальником главка, министром, председателем Комитета — заставили большеглазого признаться: да, есть основания подозревать рак легкого.

Возможно, что и у Соловьева Александр Леонтьевич намеревался вырвать истину. Так или иначе он сказал:

— Здешние врачи находят рак.

Так и выговорил: «рак», не прибегнул к смягчающему, неопределенному «опухоль». Казалось, железный Онисимов сохранял спокойствие. На столике неподалеку от посла покоилась коробка сигарет «Друг». Онисимов к ней потянулся, повертел в исхудалых, трясущихся пальцах. Дрожь эта поведала, как напряжены его нервы. Поймав взгляд Соловьева, он отодвинул коробку:

— Пустая... С курением я покончил.

И, сложив руки, замолчал.

— Здешние врачи?— протянул Соловьев.— Какие же у них основания?

Взор Онисимова стал, как и в былые времена, пронзительным, острым. Речь вдруг обрела энергию:

— Не одобряете их прямоту? Но ведь есть больные и больные. У иных нельзя и не надо отнимать иллюзию. А другим следует говорить правду. В частности мне. Если у меня рак,— он опять без запинки произнес это слово,— скажите мне об этом прямо. И я буду действовать соответственно этому диагнозу. У меня есть дела, которые, возможно, уже надо закруглять. Дела серьезные. Поэтому я прошу ясности.

Николай Николаевич взял рентгеновские снимки. Легкие были затенены. Тень не являлась характерной для воспаления, заставляла предположить наличие опухоли. Попросив Александра Леонтьевича раздеться, Соловьев его прослушал. Сзади на короткой шее Онисимова у самого края его жестких волос слегка возвышалась папилома — шишечка, сходная с родинкой. Сравнительно большая — с ноготь большого пальца.

— Что это у вас?

— Сам недавно заметил.

Соловьев еще раз посмотрел на папилому. В своем курсе общей терапии он указывал, что появление папи-

лом нередко является предвестником, а то и спутником раковой опухоли. Однако верным симптомом это нельзя было назвать. Не найдутся ли на коже иного рода образования? Прославленный диагност тщательно осмотрел все тело больного, нащупал под мышкой опухшую уплотнившуюся лимфатическую железу, что являлось тоже дурным знаком, взглянул и на подколенные ямки — нет, кожа там была чиста.

Напоследок розоватые тонкие пальцы терапевта погрузились в онисимовскую шевелюру, прощупывая кожу и здесь. Правда, при раке легкого кожа головы, как и лица, почти никогда не бывает затронута, но Соловьев еще и еще прошелся восприимчивыми подушечками пальцев в зарослях каштановых волос. И что это? Едва ощутимый, величиной в просяное зернышко, плотный узелок. А вот второй... Э, а тут возвышеньице побольше — с чечевицу. Предварительно можно, пожалуй, определить, что дело запущенное, безнадежное.

— А эти вздутия на голове? Давно они у вас?

— Где?— Онисимов нащупал скрытые волосами узелки.— Про них я и не знал. Сейчас только заметил.

— Одевайтесь, пожалуйста.

Натягивая сорочку на бледное похудевшее тело, Онисимов вновь попросил:

— Жду от вас только прямоты. Она мне необходима. Буду знать, как поступить.

Сказал это с такой убежденностью, с таким напором, что опытнейший московский врач поколебался. Может быть, открыть Александру Леонтьевичу правду? Возможно, Онисимов действительно принадлежит к людям, на которых нельзя распространять общие мерки. Сумел же он поставить вопрос честно, здраво, остро. Однако традиционная врачебная осторожность взяла верх.

— Я нахожу воспалительный процесс в легких,— заявил Соловьев.

И далее понес нечто неправдоподобное:

— В легких, несомненно, есть очаги воспаления. Возможно, это продолжающаяся пневмония. Антибиотики притушили ее, но она гнездится, живет и вызывает все эти явления.

По привычке он интересно и живо рисовал некую мнимую картину. И заключил так:

— В общем, необходимо исследование в Кремлевской больнице. Лишь это, Александр Леонтьевич, внесет нужную ясность.

35

После осмотра Николай Николаевич поговорил с Еленой Антоновной, сказал, что подозрения тишландских врачей кажутся ему основательными.

Они сидели на скамье в саду посольства. Садящееся солнце мягко пригревало. Жена Онисимова встретила тяжелый диагноз без растерянности, без суеты. Стала расспрашивать:

— Почему вы так считаете? Какие признаки?

Он перечислил симптомы, которые в совокупности являлись вполне определенными.

— Что же можно сделать? Есть ли какие-нибудь средства?

— Не могу вас, Елена Антоновна, обнадежить. Оперировать, по-видимому, невозможно. А другие средства... Ни одного более или менее верного мы пока не имеем.

Елена Антоновна отвернулась. Соловьеву был виден край ее лба и висок, меченные родимым пятном. Утолщенная, словно бы рубчатая, красноватая, чуть с синевой кожа слегка темнела и под волосами, тут несколько изреженными. На языке медиков, в котором, скажем это от себя, порой употребляются завидно точные эпитеты, такое пятно зовется винным. Соловьев в уме определил: конечно, была бы возможна пластическая операция... Впрочем, в данном случае след на лбу оставило не темно-красное, а скорее розовое вино. Облик этой женщины, пожалуй, не испорчен. И, может быть, даже идет ее характеру.

Вот она отвернулась, однако плакать себе не разрешила. Лишь раз-другой поднесла платок к глазам. Потом опять обратила взор к врачу. Голос по-прежнему слушался ее, но веки и нос покраснели. Николай Николаевич передал свой разговор с Онисимовым, его просьбу сказать прямо: верны ли подозрения здешних профессоров.

— Ваш муж настаивает. Говорит, что у него есть незаконченные важные дела. И он будет поступать соответственно диагнозу.

Немного подумав, седоватая, строго одетая, сумевшая быть выдержанной и в такой час женщина ответила:

— Нет, этого не надо. Он отважный человек, готов смотреть опасности в глаза, но... Наша обязанность, если уже не будет надежды,— она опять вытерла слезу,— облегчить ему оставшиеся дни.

Соловьев и тут наклонил в знак согласия свою лысую, в нимбе белых кудрей голову: формулировка была правильна, разумна.

— Не надо,— повторила Елена Антоновна.— А то он будет переживать. Никому не скажет, а сам будет мучиться. Это для него самое мучительное — переживать молча, не делясь ни с кем.

Она, жена-деятель, видимо, глубоко знала, понимала мужа. Снова подумав, Елена Антоновна спросила:

— Не это ли его свойство вызвало...— Она недоговорила.

Московский терапевт еще раз мысленно отдал должное уму жены Онисимова. Он объяснил, что в медицине узаконен афоризм: «Рак готовит себе постель». Происхождение этой болезни науке доселе неизвестно — с этим связана и их, терапевтов, беспомощность в лечении рака,— однако все же можно с достаточной долей достоверности предположить, что в организме существуют защитные силы, противоборствующие, противостоящие заболеванию. И если они расшатаны, подорваны различными нервными потрясениями, расстройствами, ошибками, постоянным угнетением, то болезнь врывается сквозь ослабленную защиту.

— Мы, Елена Антоновна, понимаем эту взаимосвязь так: угнетение не вызывает злокачественной опухоли, но благоприятствует ее развитию. Она могла зародиться у него уже сравнительно давно. Кстати, ему перед отъездом сюда в Москве легкие просвечивали?

— Нет, он не обследовался.

— Вот как? Почему же?

— Понимаете ли, все это было не просто. Его освободили... Вы, если не ошибаюсь, беспартийный?

— Да.

Елена Антоновна помолчала, сморкнулась и, видимо, поколебавшись, принудила себя к откровенности с врачом:

— Конечно, он совершил ошибку, неправильно высказался. Только, пожалуйста, Николай Николаевич, это между нами. Но и наказание было очень строгим. Его совсем устранили из промышленности. Назначили сюда. А он всегда был образцом дисциплины. И если бы он пошел обследоваться, если бы врачи запретили ехать, то... Вы понимаете, это могло быть совсем превратно истолковано. А у меня не было и мысли о такой страшной болезни.

Наконец-то эта женщина, имя которой иной раз поминалось в газетных отчетах, не совладала с собой, уткнулась в рукав темно-синего жакета, расплакалась, виня себя. Однако лишь на минуту-другую она дала волю этой женской слабости. Глаза были опять вытерты. Елена Антоновна вновь обрела прямизну стана, ясный разум, готовность быть к услугам, исполнять долг. Теперь были явственно заметны ее по-бабьи обвисшие щеки, на которые тоже легла краснота,— да, она, партийка с двадцатого года, пронесшая без пятнышка, без единого порицания или выговора свое звание члена партии, государственной и общественной деятельницы, оставалась тем не менее женщиной, женой. И ради мужа сумела сейчас мобилизовать выдержку, сидела собранная, как на работе. Впервые при Николае Николаевиче, не постеснявшись его, она вынула из большого коричневого не то портфеля, не то сумки металлическую без украшений пудреницу, посмотрелась в зеркальце, запудрила щеки и нос.

Глядя на нее, Соловьев вспомнил где-то слышанную, понравившуюся ему поговорку: «Смерть и жена богом суждена». Человек, ради которого он сюда доставлен, прошагал свою жизненную тропу рядом с этой женщиной, тоже отформованной одинаковым прессом. А если бы его женой была другая? Праздный вопрос... Он некогда выбрал ее, этот выбор тоже часть его личности. Наверное, Онисимов не был бы самим собой, если бы женился на другой. Впрочем, случаются же роковые мгновения, развилки на пути. Возможно, некогда он тянулся и к иной, видел в мыслях другую спутницей жизни. Проницательный медик отметает эти досужие мысли. Сказано же: «богом суждена».

Московский профессор и Елена Антоновна принимают решение: сегодня же Николай Николаевич даст телеграмму в Москву. Он набрасывает в блокноте текст для шифровальщика: «Необходимо увезти Онисимова. Подозрение на рак легких. Соловьев».

— Теперь я ему,— произносит Соловьев,— собственно говоря, больше не нужен.

— Нет, заходите к нему, осматривайте. Или хотя бы делайте вид, что осматриваете. И что-нибудь прописывайте.

Николай Николаевич дважды в день приходил к Онисимову, старательно выслушивал, выстукивал его, про-

писывал какие-то общеукрепляющие средства, бромистые препараты. И не удивился, что больной стал заметно лучше себя чувствовать. Такого рода стадия как бы улучшения нередко случается в развитии ракового процесса под воздействием разных факторов, разумеется, и психологических. Субфебрильная температура продолжала держаться. Остались и быстрая утомляемость, слабость. Однако в какие-то часы, особенно по утрам, Онисимов не был уже вялым, заменял на полдня халат домашним пиджачным костюмом, стал опять бриться ежеутренне. Соловьеву, который с интересом знакомился со столицей Тишландии, а заодно и жене, нередко присутствовавшей во время посещений врача, Александр Леонтьевич охотно рассказывал об этой стране. Пожалуй, деятельность дипломата уже его впрямь несколько забрала.

— Тут сложнейший переплет,— говорил он.— Дух здешнего национализма препятствует экспансии американцев. Вы понимаете? Значительные слои интеллигенции, даже буржуазной, против Америки. И хотя с колебаниями, хотя и выделывая разные там фигли-мигли, тянутся к нам. Мы — сила. Здесь, далеко от нашей земли, особенно ярко это чувствуешь.

Онисимов с достоинством, с удовлетворением произнес это заработанное, завоеванное, гордое: «Мы — сила». Елена Антоновна внимательно слушала, не вмешивалась, подчас утвердительно кивала. Онисимов охотно посвящал врача в проблемы экономики. Тишландия быстро индустриализируется. В военном отношении она выглядит слабой, но ее скрытый потенциал — серьезная величина.

— Как металлургу,— добавил он с усмешкой,— мне это особенно ясно.

И жадно расспрашивал о Москве. Оживился, заулыбался, узнав, что решением Совета Министров здание, где когда-то располагался Главпрокат, передано институту, который возглавляет Соловьев.

— Я строил эти хоромы еще при Серго. Помните его?

Нет, Соловьев не встречался с Серго.

— Жаль, жаль... Пожалуй, те годы, когда я работал под руководством Серго, были в моей жизни самыми лучшими.

Елена Антоновна легким кивком опять как бы скрепляет слова мужа. Ей-то известно, как после гибели Серго навис над житьем-бытьем Онисимовых Берия, выжидавший случая посчитаться. Нет, ни о Берии, ни тем

более о Хозяине — вон видна небольшая его фотография, единственное украшение голых стен спальни — Онисимов не станет судачить с этим приятным и, кажется, умницей москвичом-доктором.

— Значит, как раз вы и займете мой кабинет,— продолжал Онисимов.

И счел это хорошим предзнаменованием. Он, ранее не бравший ничего на веру, изобретательно, остро изобличавший малейший обман, теперь склонен был верить, что у него действительно какая-то форма ползучего воспаления легких, поверил в выздоровление. Сколько раз Соловьеву доводилось наблюдать этот спутник рака, указанный и в его книге, так называемую эйфорию — своеобразное опьянение, возбужденное состояние, к которому присоединялась легкая доверчивость к обману, легкая внушаемость.

Вскоре из Москвы пришла телеграмма о необходимости выезда Онисимова для лечения. В обычный час к Онисимову заглянул Соловьев, неизменно элегантный, в галстуке бабочкой, подвижный, восторженно воспринимавший свою встречу с удивительной столицей северной страны. Ознакомившись с телеграммой, без раздумий воскликнул:

— Хотелось бы еще тут послоняться. Но долг службы призывает. Что же, Александр Леонтьевич, будем собираться.

Елена Антоновна, опять находившаяся тут же, спросила:

— Николай Николаевич, как вы считаете, совсем собираться?

Он с ясными глазами ответил:

— Зачем? Александр Леонтьевич скоро вернется.

Чинная московская партийка и всемирно известный русский терапевт, разрешивший себе обрести на чужбине легкомысленный вид, уже превосходно сыгрались, находчиво, тонко исполняли свои роли.

На аэродроме Александра Леонтьевича провожали не только советские люди, но и высокопоставленные чиновники Тишландии и главы посольств, аккредитованные при королевском правительстве. Каждый пожал на прощание руку этому нисколько не чопорному, умному, сумевшему заслужить общее расположение представителю великой и все еще несколько загадочной, раскинувшейся и в Европе, и в Азии социалистической державы. И свои, и иностранцы желали ему скорейшего выздоровления,

возвращения сюда к своим обязанностям. Посланник Канады пригласил его вместе поохотиться на рождественские праздники. Сборы, близившийся отлет, внимание, оказанное ему дипломатическим корпусом, что в какой-то степени, конечно, относилось и лично к нему, являлись каким-то плодом его здешней работы,— все это взбудоражило, взбодрило Онисимова. Он давно не чувствовал такого подъема, такого вкуса к жизни. Только что начался сентябрь — в том году неожиданно солнечный, теплый в Тишландии. Онисимов, в мягкой темной шляпе, в осеннем расстегнутом пальто, окруженный провожающими, стоял, улыбаясь, под нежно голубеющим небом у самолета, готового в путь. Улучив минуту, советник посольства, он же и секретарь тамошней парторганизации лобастый Михеев, постоянный партнер Онисимова в шахматах, спросил его:

— Александр Леонтьевич, кому поручить доклад к сороковой годовщине?

— Фу-ты ну-ты, до годовщины же еще больше месяца. Никому не поручай. Успею вернуться. И сам сделаю.

Державшийся вблизи больного Соловьев легко подтвердил:

— Конечно, никому не поручайте.

Но он-то знал: никогда больше Онисимов сюда не возвратится.

В Копенгагене предстояла пересадка на советский самолет. Оставив Онисимова в покойном кресле у стеклянной стены огромного помещения для транзитных пассажиров, врач и Елена Антоновна прохаживались по дорожкам аэродрома. Она спросила:

— Если все подтвердится, сколько он еще проживет?

— Кто знает, Елена Антоновна, неизвестно, как будет бороться организм. Несколько месяцев. Полгода.

В Москве на аэродроме Внуково приземлились вечером. Восемь месяцев назад Онисимова отсюда провожали сотоварищи, шли будто колонной по забетонированному полю. Теперь же никто из них, его бывших сподвижников, сотрудников, не приехал его встретить.

К трапу, по ступенькам которого не спеша сходил Онисимов, подкатила санитарная машина. Появились носилки. Об этом позаботилось лечебное управление Совета Министров — там, очевидно, предполагали, что Онисимов сам уже не передвигается. Он с усмешкой отстранил санитаров, но предвестие, несомненно, было плохим. Тоскливое знакомое предчувствие опять засосало Ониси-

мова. К нему подбежал сын, на миг приостановился, пытливо заглянул в глаза отца, в его изжелта-бледное, с сероватым оттенком лицо. Андрюша поразился, каким маленьким, словно бы усохшим, стало оно, это родное лицо. А нос совсем костлявый, восковой... Более не разглядывая, мальчик прильнул к груди отца. Взволнованный Онисимов провел рукой по лбу, по мягким волосам Андрейки, приник к ним губами.

Снова выпрямившись, Александр Леонтьевич увидел рослую, мужеподобную Антонину Ивановну, своего давнего лечащего врача. Она его встречала по обязанностям службы. Онисимов пожал ей руку, хотел пошутить насчет санитарной машины и носилок, но шутка не подвертывалась, и он, усмехнувшись, сказал:

— Вот, Антонина Ивановна, я и не курю...

36

На другой же день после приезда Онисимов лег в больницу, к которой давно, еще в качестве министра, был прикреплен.

Ему предоставили палату, носившую несколько странное название — полулюкс. Такого рода полулюкс вмещал кабинет и спальню, балкон, ванную комнату, прихожую с выходом прямо на лестницу, устланную ковровой дорожкой. В этом светлом, просторном обиталище многое пришлось Александру Леонтьевичу не по нраву — мягкие кресла, ковры, дорогие статуэтки, тяжелые позолоченные рамы развешанных по стенам картин. Какому-то умнику вздумалось поставить здесь и зеркальный шкаф. Только этого больным еще и не хватало — любоваться собой в зеркале.

Впрочем, пока что тут зеркало не было ненужным: Онисимов мог в этой отражающей поверхности видеть, как он со дня на день поправляется. Это как будто подтверждало тот же успокоительный диагноз, объявленный Онисимову и в больнице: вяло протекающее, длительное воспаление легких, или, выражаясь языком медицины, затянувшаяся пневмония.

Так или иначе в этой излишне обширной, излишне роскошной, на его взгляд, больничной палате он ощутимо пополнел, чему, думается, способствовал и отказ от курения. Впалость щек перестала быть пугающей. По утрам он нередко чувствовал себя бодрым. Боли в позвоночни-

ке, которые и раньше еще не были мучительными, теперь и вовсе редко давали себя знать, пошли на убыль.

Сын натащил ему книг; затем Онисимов с разрешения врача затребовал из МИДа всяческие дела, которые имели отношение к его дипломатической службе; позавтракав, он надевал пиджачную пару, вешал больничное облачение в шкаф, усаживался за письменный стол, очищенный, разумеется, от статуэток и прочих дорогих украшений, вооружался очками, излюбленным жестким, остро очиненным карандашом и, испытывая удовлетворение, удовольствие, несколько часов кряду проводил над присланными ему папками.

И все укреплялся в мысли: пожалуй, у него и взаправду вовсе не рак, а действительно какая-то форма пневмонии — хронический, ползучий, требующий систематического, долгого лечения воспалительный процесс. Однако трезвый внутренний голос, хотя и подточенный заболеванием, но далеко не заглохший, тот, что всегда повелевал Онисимову «не доверяйся», и ныне предостерегал от легковерия.

Как-то вечером к Онисимову пришел Андрюша — ему разрешалось навещать отца два раза в неделю, такое расписание установила мать. Мальчику, разумеется, не говорили, чем болен отец, но по различным признакам, даже по такому, например, что однажды в коридоре больницы Елена Антоновна прервала беседу с врачом, завидев идущего к ней сына, и строго отослала его, велев подождать на диване, даже и само это сокрытие тайны отцовского заболевания приводило негромкоголосого тоненького мальчика к верным догадкам. Давненько уже не стремящийся к славе первого ученика, легко удовлетворявшийся четверками, а порой и трояками, Андрюша теперь ради больного отца, неравнодушного к его школьным отметкам, старательней учился, приносил по воскресеньям папе на подпись свой школьный дневник. Белокурый подросток, по-прежнему отличавшийся вопрошающим взглядом, и сдержанный его родитель, не терявший контроля над собой, в эти дни несколько сблизились. Такому сближению способствовал и еженедельно посылаемый Онисимову каталог книжных новинок. Сын и отец вместе в больничной палате отбирали названия для покупки. Александр Леонтьевич, как и раньше, не прочь был пренебречь беллетристикой, но, уступая вкусам Андрюши, соглашался приобрести, перелистать ту или иную книгу художественной прозы и даже стихов. Этим боль-

шей частью и исчерпывалось общение приученного дома к замкнутости мальчика, и как некогда Андрюша в уме определил, великого молчальника — отца.

Случалось, текли, текли минуты, когда сын и отец ни словечком не прерывали молчания. Александр Леонтьевич тянулся к газетам или папкам, Андрей подолгу глядел в окно. И однажды некая подсказка сердца осенила мальчика. Он стал приходить в отцовскую палату с томом Ленина, с тетрадкой. Усаживался за круглый столик, раскрывал страницы «Что делать?»— одну из главных работ Ленина, которую решил одолеть: ведь когда-то и отец прочел ее тоже пятнадцатилетним.

Трудновато разбираться в прочитанном, но хочется доказать отцу и себе, что теперешние пятнадцатилетние тоже чего-то стоят.

И вот, облаченный по больничным правилам в белый халат, мальчик сидит у настольной, под зеленым абажуром, лампы; тонкая, почти девичья шея, востроносенький профиль склонены к книге. Андрей придвигает тетрадь, что-то выписывает.

Александр Леонтьевич, устроившийся на диване со свежей «Вечеркой», ему только что поданной, встает, отложив газету. Пройдясь, смотрит в тетрадь сына. Тот, не поднимая глаз, продолжает свое дело, заносит выдержку из Ленина: «...если бы эти авторы способны были продумать то, что они говорят, до конца бесстрашно и последовательно, как должен продумывать свои мысли всякий, кто вступает на арену литературной и общественной деятельности...» Да, сын уже пишет не кривульками, почерк стал потверже. Хочется тронуть его белобрысую голову, ощутить пальцами мягкие волосы. Однако Александр Леонтьевич отучился от ласки, уже к ней не способен.

И оба молчат. Зрачки Александра Леонтьевича вновь устремляются на строки, сейчас выведенные рукой сына: «Бесстрашно и последовательно...»

Всегда ли он, отец, именно так продумывал свои мысли?

Сын пишет дальше. Отца потянуло прилечь на диван. Немного спустя он негромко спрашивает:

— Андрейка, ты секреты хранить можешь?

Мальчик встрепенулся. Кажется, настала минута, когда он по-настоящему нужен отцу.

— Могу.

— Тогда вот что. Принеси мне терапевтический справочник. Знаешь, у меня в кабинете,

— Знаю, конечно.

— Сделай это незаметно. И никому не говори. Никому. Понимаешь?

Андрей ничего не вымолвил, только закивал. Опять, как уже не один раз, сердце защемила жалость, заставившая не смотреть в это желтоватое лицо, жалость и любовь к заболевшему, надломленному, может быть, непоправимо, отцу. Давно уже Андрюша — об этом на предыдущих страницах нам случалось говорить — перестал видеть в отце свой идеал, однако вместе с тем неизменно жалел его. Сейчас мальчик удерживает себя, чтобы ни взглядом, ни слезой не выдать пронизывающего сострадания. Не только принести отцу по секрету книгу, но и исполнить любую его просьбу, сделать что-нибудь большое для него — этого жаждет Андрюша.

Придя в неурочный день, он неприметно среди прочих книг притащил толстенный терапевтический справочник. А заодно, уже по собственной инициативе, захватил и стоявшую рядом на полке «Общую терапию» Соловьева. Эту книгу Александр Леонтьевич открыто положил на стол, а справочник припрятал, запер в ящик. И в одиночестве вчитывался, сопоставлял.

Очаговая пневмония... Симптомы более или менее соответствовали его состоянию: температура, кашель, одышка. У пожилых людей, гласила справка, болезнь нередко протекает вяло. При замедленном вялом течении пневмонии применяются средства, вызывающие общую перестройку организма: в частности внутривенные вливания глюкозы с аскорбиновой кислотой. Такого лечения он не получает. Видимо, не та, не та у него болезнь.

Снова и снова он обращался к справке о другом заболевании, опять взвешивал, сличал... Длительно сохраняется удовлетворительное самочувствие. Распознаванию помогает наличие увеличенных лимфатических узлов, иногда грибковидные кожные разрастания. Характерны загрудинные тупые боли. Всякие тепловые процедуры (грелки и т. д.) должны быть категорически исключены. Рентгенотерапия массивными дозами. Однако такого рода лечение (методом Диллона) с применением больших доз рентгеновских лучей до настоящего времени остается малоэффективным. Да, ему не применяют и рентгенотерапию. Возможно, у него все-таки не эта болезнь. Лечение в незапущенных случаях оперативное. Прогноз при запущенной опухоли безнадежный.

Да, много, много сходных симптомов. Лечение, прав-

да, не совпадает. Пичкают лишь пенициллином и какими-то пилюлями. Но надо, надо быть готовым к худшему. То есть к близкому концу. И достойно его встретить. Привести в ажур все свои дела. Уйти безупречным. Завершить жизнь так, как этого требует честь верного сына своего государства, своей партии. Времени для этого ему отпущено, может быть, уже в обрез.

Однако не зря ли он себя приуготовляет? Не исключено, что у него впрямь лишь пневмония. Сказано же в справочнике, что она, эта болезнь, знает немало разновидностей. Александр Леонтьевич вновь раскрывал толстенную книгу, листал, вчитывался, соображал. Но неясность оставалась: чем же, чем же все-таки он болен? И не пытаются ли его обморочить?

И если это так — неужели вранье он не раскусит?

37

Неужели не хватит ума, чтобы, как он некогда в министерстве, в Комитете говаривал, размотать это дело?

Качества следователя, который умеет застичь врасплох, поймать подозреваемого,— а на подозрении у Онисимова, «не привирает ли», был чуть ли не каждый,— еще изощрились в нем с годами.

И разве в угольной и стальной епархии, ему ранее подведомственной, кто-нибудь сумел бы его обдурить? Он тончайшим, что называется, верхним чутьем распознавал, разнюхивал всякую попытку втереть ему очки, приукрасить положение. К нему приросла поговорка, по-заводски грубоватая: «Этот до исподнего дойдет». Такая молва была ему известна, он ею гордился.

Нередко к его приезду на тот или иной завод цехи были свежевыбелены мелом, дорожки меж цехами подметены, посыпаны песком. Онисимов, однако, как в свое время и Серго, остававшийся во многом образцом для него, шел на задворки, забирался в литейные канавы, пролезал под рабочие площадки, обнаруживал там грязь, захламленность, беспорядок. И, приоткрыв белый оскал,— тут уж действуй по-своему: у Серго, подвластного порой неукротимой вспыльчивости, не было и в помине этакого жестокого оскала,— чуть ли не тыкал носом цеховое и заводское начальство в этот хаос, в эту грязь.

Безжалостно хлестал Онисимов и тех, кто нетвердо,

неточно знал свою специальность, свое дело. И умел таких ловить.

Вот он приходит в мартеновский или доменный цех, садится к столу, где лежат журналы плавок, изучает, перелистывает и, словно протыкая какую-либо цифру своим остро очиненным, наивысшей жесткости карандашом, требует у начальника цеха объяснений: почему тогда-то был превышен расход марганца, или нарушен температурный режим, или сорван график? Его в равной мере настораживала и скрытая неуверенность и, наоборот, бойкость ответов. Впрочем, и некая золотая середина — сдержанно-спокойная манера — не угашала онисимовской недоверчивости. В какую-то минуту он, глядя в журнал, спрашивал обычным строгим тоном:

— Почему вчера вторая печь полчаса шла тихим ходом?

Следовал какой-либо правдоподобный ответ. Например:

— Запоздали ковши. И вот пришлось...

— Ковши? Из-за чего? Вы это выяснили?

— Подъездной путь не принимал. Тут, Александр Леонтьевич, у нас...

Не дослушав, Онисимов словно огревал кнутом:

— Врете! Дела не знаете! Вчера ни одну печь на тихий ход не переводили.

Таким приемом сбив, что называется, с катушек подчиненного, вступившего было на стезю вранья, Онисимов затем уже легко вытягивал из него правду, заставлял выкладывать, открывать истинные грехи производства.

Подобного рода западня, однако, не всегда срабатывала. Как-то Головня-младший стоял перед Онисимовым в пирометрической будке доменного цеха Кураковки... Пожалуй, это была первая их встреча. Нет, Онисимов с ним познакомился раньше, еще не будучи наркомом стального проката и литья, кажется, в тридцать девятом году. Да, да, в тридцать девятом. Головня Петр ему сразу не понравился, показался зазнайкой, фанфароном, выскочкой.

В памяти без какой-либо логической последовательности живо возник тот давний час. Августовская теплая ночь. Москва утихла. Ушли в парки на ночевку последние трамваи и автобусы. На перекрестках погасли, отдыхают светофоры. Спят москвичи. Однако светятся кремлевские окна — машина Онисимова тогда как раз проезжала мимо. И продолжается рабочий день или, если

угодио, рабочая иочь иаркомов, замов, иачальииков отделов и главков, помощииков, секретарей.

Оиисимов, в ту пору иарком таикостроеиия, едет иа площадь Ногииа к наркому металла, чтобы предъявить серьезиейшие свои претеизии отиосительио качества стали, поставляемой таиковой промышлеииости. Правда, иарком металла в отъезде, а иа хозяйстве остался — таково привычиое, вошедшее в обиход служилого круга выражеиие — его первый заместитель Алексей Головия, сильиый работиик, зиающий дело металлург, ие склоииый, как известио Оиисимову, бросать слова иа ветер.

Уже иесколько погрузиевший — давало себя зиать сидячее житье-бытье — Алексей Головия в зелеиоватой коверкотовой куртке прохаживался по кабииету и сразу же, едва Оиисимов растворил дверь, пошел к иему. Когда-то в ииституте оии были одиокурсиикми, ио дружеское «ты» меж иими затем ие удержалось. Быть может, переходу иа «вы» способствовал свойствеииый Оиисимову отпечаток или иалет официальиости, как бы отстраиявший любые, ие отиосящиеся к делу разговоры, иалет, столь же для Оиисимова характериый, как и его белый иакрахмалеииый воротиичок.

Ступив в кабииет, Оиисимов увидел, что в стороике иа диваие сидит кто-то — загорелый, худощавый, молодой, не посчитавший иужиым встать, когда вошел иарком танкостроеиия. Осиовательио пожав малеиькую, почти жеискую руку Оиисимова, Алексей Афанасьевич кивком указал иа сидевшего:

— Это мой брат Петро. Директор Кураковки.

Тот иакоиец-то соизволил встать. Стоял и посматривал с улыбкой на аккуратиейше причесаииого, со втисиутой в плечи головой, зелеиоглазого иаркома. Эта улыбка, иеведомо что озиачавшая, показалась Оиисимову иеуместиой. Щеиок! Что ои испытывал в мииувших страшиых тридцать седьмом, тридцать восьмом? Как раз в эти времеиа в газетах много писали о старике домеищике Головие, а кстати, и о его сыиовьях — иижеиерах, тоже избравших домеииую специальиость. И вот... Коиечио, старый рыжий Головия и старший его сыи заработали известиость. А младший, еще иичем себя ие показавший, тоже, ие угодио ли, прииадлежит к дииастии. И, пожалуйте, уже директор!

Острыми зрачками Оиисимов еще иа миг вгляделся в Головию-младшего. На загорелом лбу белеет шрамик — навериое, метка драчуна. В отличие от брата нос ие круг-

лый, не картошкой, а тонкий, с горбинкой, как у отца. Однако глаза у братьев схожи — того цвета, который нередко зовется голубым, не лазоревые, ярко-небесного оттенка, а скорей пепельные, синевато-серые. Ворот легкой светлой рубашки младшего распахнут, цвет лица и шеи искрасна-коричневый — это не только печать южного знойного солнца, но и въевшаяся в кожу, ничем не отмываемая, мельчайшая рудная пыль, что выносится из старых, доживающих век домен. Да, возможно, труженик. Но слишком вольно держится. Небрежно встрепаны русые с рыжинкой волосы. Мог бы хоть привести волосы в порядок. И застегнуть сорочку. И этак самоуверенно не улыбаться.

Отвернувшись, Онисимов зашагал к столу. Алексей Афанасьевич с вопросительной интонацией произнес:

— Брат пока, пожалуй, прогуляется.

— Зачем? Мне он не мешает. Какие-либо особые секреты я обсуждать не собираюсь.

Сев, раскрыв портфель, Онисимов без околичностей перешел к делу. Как всегда пунктуальный, он выложил, предъявил Алексею Афанасьевичу тщательно подобранную документацию: лабораторные анализы, результаты испытаний, фотоснимки шлифов забракованной стали. И акты, акты, свидетельствующие, что целые партии листа, или осевой заготовки, или металла других профилей не пригодны, не отвечают кондициям, высоким требованиям танковой промышленности.

Алексей Афанасьевич, тяжко вздыхая, прочитывал бумагу за бумагой. И не пытался что-либо оспаривать. Ему-то было известно, сколь расстроена работа металлургии после того, как почти все директора, да и многие ближайшие их соработники безвестно сгинули, скошенные арестами. Предстояли огромные усилия, чтобы снова внести четкость и ритм в производство, поднять и наладить выпуск годного металла.

Продолжая разговор, Онисимов стал язвительно высмеивать скоростные плавки у так называемых сталеваров-рекордистов.

— Эти ваши знаменитости выдают не сталь, а какую-то кашу. Какой-то суррогат. Перегружают ванну. И заменяют отсебятиной технологическую дисциплину. Конечно, вчерашние ура-рыцари, неучи в технике, могли допускать сие, но мы-то, слава богу, технической грамоте обучены.

«Вчерашние ура-рыцари». Онисимов этак назвал бле-

стящее созвездие директоров, выдвинувшихся в начале тридцатых годов и затем, совсем недавно, со сталинской безжалостностью почти сплошь истребленных, созвездие, участь которого он и сам едва не разделил.

Однако ие разделил же! В своих тогдашних раздумьях о совершившемся Оиисимов склонялся к мысли, что уцелел закономерио. В чем же, как он полагал, эта закономериость? Конечио, сыграла некоторую роль его вкоренившаяся, ставшая второй натурой предаиность Хозяину, иерассуждающая готовность исполнять любое слово Сталина,— в такого рода исполиительности Онисимов иаходил высокое удовлетворение, наслаждение, но все же одно это, вероятно, его бы не спасло. Не однажды ему думалось, что, к своему счастью, ои вовремя успел получить техническое образование, стать прокатчиком-специалистом. А топор репрессий снес, свалил хозяйственников, ни черта, собственно — так с присущей ему категоричностью мысленно он формулировал,— в техике не смысливших, иикакой специальностью, кроме политики, не обладавших. Организаторы производства, оии, как не раз убеждался Онисимов, лишь весьма неконкретно, смутно знали заводское дело, производство, которым руководили. Бег времени сделал их ненужными. И, иаверное, опасными. История слишком хорошо их обучила тоикостям политической игры. Им на смену пришли люди совсем другого профиля, в большинстве молодые техники, вместе с которыми шагнул через порог лихолетья и он, ииженер Онисимов. Правда, в такую схему многие факты не укладывались. Онисимов все же ею в ту пору удовлетворился. Никому ие высказав эту самобытную свою теорийку, он затем вообще перестал думать на такие темы. К философствованию он не приспособлен. Его дело — работать, точно, безупречио исполиять веления партии, поручеиия Сталина, вооружать страну мощиыми танками, сотиями и сотнями танков, которые бронезащитой и маневренностью превзойдут немецкие, лучшие в Европе, не подведут в надвигающейся и, видимо, неотвратимой войне. И ои резко предъявлял свои требования наркомату металла.

— У вас есть же, Алексей Афанасьевич, надежная, отработанная технология выплавки. И следовало бы строжайше запретить любые ее иарушения. Особенно этим вашим скоростникам. И иеукоснительно их контролировать.

Неожиданио прозвучал голос с дивана:

— Смутная логика!

С усмешкой бросив эту реплику, Головня-младший пересел на край дивана, готовый ринуться в спор.

— Вы, товарищ Онисимов,— продолжал он,— как видно, весьма смутно представляете себе скоростные плавки.

Онисимов посмотрел на него через плечо. И, не удостоив возражением, отвернулся. Наглец! Ему, Онисимову, отлично защитившему диплом инженера-металлурга, два года затем проведшему рядовым вальцовщиком на заводах Англии, этот усмехающийся выскочка осмелился бросить именно то самое словцо —«весьма смутно»,— какое Онисимов в мыслях адресовал порубленным прежним работникам промышленности. Верный себе, он тотчас срезал Головню-младшего.

— Имеете случай убедиться,— едко проговорил он, обращаясь к старшему брату,— что у вас вольничают не только на заводах. Даже и здесь, у вас в кабинете, молодой, но отнюдь не скромный товарищ позволяет себе без разрешения влезть в наш разговор.

Больше никакого внимания он этому младшему отпрыску знатной семьи не уделил. И проучив — об Онисимове так и говорили: «Не учит, а проучивает», это ему было известно,— едва кивнул Петру, уходя из кабинета.

38

Затем, несколько месяцев спустя, Онисимов был назначен наркомом стального проката и литья, или, как говорилось, наркомом стали.

В те времена управление промышленностью разукрупнялось: получили самостоятельное бытие наркомат черной металлургии, ведавший и всем огромным хозяйством железорудных бассейнов, добычей флюсов, выжигом кокса, и несколько меньший по масштабу со своими специальными задачами наркомат, вверенный Онисимову.

Осенью 1940-го Онисимов уже в новом своем качестве выбрался в долгую поездку по заводам.

Ровно год назад в Европе, совсем под боком у Советского Союза, заполыхала вторая мировая война. Дивизии Гитлера чуть ли не одним рывком сломили Польшу. А через некоторое время танковыми колоннами ворвались во Францию, заставили ее капитулировать. И снова война на некий срок как бы затаилась. Надолго ли? Не пробьет ли вскоре и наш час?

В маршрут поездки наркома была включена и Кураковка. Онисимов там вновь повстречался с Головней-младшим.

Выдался теплый денек бабьего лета. Вдвоем они шли по тесному двору старой Кураковки, столь непохожему на просторные, с разветвленными автомобильными дорогами заводские территории вновь сооруженных комбинатов металлургии,— рослый, хотя и со втиснутой в плечи головой, не расстававшийся с темной мягкой шляпой, темной поношенной пиджачной парой, неизменной одеждой диккенсовского скромнейшего клерка Онисимов и шагавший с ним в ногу в легкой выцветшей синей спецовке, в кепке, порыжевшей от красноватой рудной пыли, окрасившей здесь ржавым оттенком землю и железо крыш, тонкий в кости, но с тяжелой нижней челюстью тридцатилетний директор.

Асфальтовая неширокая дорожка — по ней они шагали — вела к доменному цеху. Несколько в стороне виднелось зажатое между рельсовых путей кирпичное приземистое здание. Над ним чернели, уходя ввысь, две железные трубы.

— Здесь у тебя что?

— Это, товарищ нарком, тут самая древняя постройка. Две маленькие мартеновские печки.

— Какую сталь там сейчас делаешь?

— Легированную. Для подводных лодок.

— Номер заказа?

Головня затруднился:

— Не помню, товарищ нарком.

— Посмотри в записной книжке.

— У меня это не записано. Если разрешите, сейчас позвоню, справлюсь в плановом отделе.

— Я сам могу тебе дать справку,— жестко сказал Онисимов.

И на память назвал номер заказа. Он, конечно, не добавил, что лишь вчера, готовясь к обходу цехов, проштудировал номенклатуру заказов, порученных Кураковке. Впрочем, все показатели такого задания, как сталь для подводных лодок, выполняемого по особому правительственному предписанию или, точней, распоряжению, он мог бы, пожалуй, и не нуждаясь в шпаргалке, привести наизусть в любой день и час.

Далее Онисимов продолжал свой немилосердный экзамен:

— Задание в тоннах? Срок отгрузки?

На эти вопросы молодой директор, усмехнувшись, без запинки ответил. Усмешка казалась самоуверенной, дерзкой. Онисимов подавил раздражение. Этому баловню, принадлежащему к именитой семье, или, как с некоторого времени стали выражаться, династии доменщиков, он сегодня еще всыплет. Истинная выволочка предстоит Головне в доменном цехе. А пока...

— Зайдем,— коротко бросил нарком.

Рельсовый путь, куда они ступили, привел сквозь распахнутые настежь железные ворота на рабочую площадку двух сталеплавильных печей-маломерок.

Шла разливка стали. Пахло газом, стоял дымный туманец, было душно. Бегущий из ковша жидкий металл бросал багряные отсветы на черные, поросшие копотью балки и стропила низкой кровли, на такую же прокопченную кирпичную кладку стен. Пожилой мастер в нахлобученной кепке, в брезентовой почерневшей спецовке, заслонив рукой лицо, смотрел, как лилась в изложницу жаркая струя. Онисимов шагнул к нему:

— Как ты глядишь?

— А что? Обыкновенно.

— Обыкновенно,— едко повторил за мастером нарком.— Почему так далеко стоишь? Где твое синее стекло? Почему не следишь за корочкой?

— Слежу.

— Что ты можешь увидеть без синего стекла? Где у тебя оно?

Мастер вынул из кармана синее стекло в самодельной деревянной рамке. По стеклу змеилась трещина.

— В каком состоянии ты держишь свой инструмент?

Онисимов выхватил у мастера стекло, рывком швырнул. Затем достал свое, окольцованное алюминием, протянул мастеру. Тот поднес к глазам стекло наркома, стал смотреть.

— Не так!

Взявшись за брезентовый ворот, нарком подтащил мастера вплотную к пышащей жаром изложнице. И сам в шляпе, в подкрахмаленном воротничке встал рядом. Слегка скручивались в излучениях металла ворсинки на его пиджаке.

— Дайте стекло!— велел он Головне.

И не отступая хотя бы на полшага, озаренный едва переносимым близким розовым отблеском, всматривался сквозь синюю пелену, препятствующую ослеплению, как сталь наполняет изложницу. Прокатчик, он досконально

зиал и разливку, последнюю операцию сталеплавильных цехов. Наводя порядок, технологическую дисциплину, неуклонно требовал: наблюдать при разливке за состоянием корочки. Следить, чтобы корочка все время играла на расстоянии в один-два сантиметра от стенки. Если прилипает, ускорять струю. Иначе прилипание корочки отзовется вторым сортом или браком при прокате. Он даже издал среди других технологических инструкций и специальный приказ, дотошио перечисляющий правила разливки. А тут, на Кураковке, пожалуйста, дело идет так, словно и не было приказа.

Оставив мастера около изложницы, кинув уничтожающий взгляд на Головню, Онисимов подошел к окну опорожненной, источающей розоватый свет печи, намереваясь посмотреть подину. Путь к окну преграждала груда сброшенного раскаленного доломита, уже померкшего, подернутого пеплом. Онисимов шагнул на эту груду.

— Что вы? Сгорите!— прокричал Головня.

— Не красная девица,— желчно ответил нарком.

Однако жгучий жар уже пробрался сквозь подметкн. Онисимов быстро отпрыгнул. И покосился на директора: не усмехнулся ли тот?

Несколько минут спустя они вышли через те же ворота. Наркома нагнал инженер — начальник смены.

— Товарищ нарком, возьмите свое стекло.

— Отдайте мастеру на память. Да и другим пусть оно напоминает, что надо знать инструкции. Знать и соблюдать.

...По асфальтовой дорожке Онисимов и Головня опять шагали к домнам. Самонадеянный директор был уже слегка проучен. Догадывался ли он, какую головомойку еще учинит ему нарком в доменном цехе? Почти две недели на заводе пребывала специальная бригада наркомата, которую Онисимов по своему давнему правилу послал впереди себя. Ему сразу же, лишь он сюда приехал, доложили, что Головня-младший затеял какие-то сомнительные опыты в доменном цехе. Затеял, не осведомив об этом наркомат, не испросив разрешения. Такие нравы были еще живучи в металлургии. «У каждого барона своя фантазия»— этой поговоркой вновь назначенный строгий нарком уже не раз характеризовал порядкн на заводах. Он, прошедший выучку у родоначальников стальной промышленности, англичан, побывавший затем и в Германии, воспринявший немецкую точность, пунктуальность, не допустит, чтобы на заводах каждый муд-

рил по-своему. Никаких нарушений выверенной, надежной технологии не потерпит, введет дисциплину. И Головня ты или не Головня, именит или не именит, а за самоуправство спустит с тебя шкуру, как и со всякого иного.

Возле дорожки расположилось еще одно низенькое небольшое здание.

— Что здесь?

— Столовая доменного цеха.

— Ну-ка, заглянем. Где тут черный ход?

Так Онисимов поступал всюду: казовой стороне не доверял, появлялся негаданно, с черного хода, с задворок, застигал невзначай.

Спустившись по истоптанным каменным ступеням в полуподвал, они вошли в темноватое, примыкавшее к кухне помещение. Несколько женщин чистили картошку. Все приостановили работу, поглядывая то на горбоносого молодого директора, то на бледного, в шляпе, никому тут не известного начальника. Онисимов всмотрелся, произнес:

— Почему так толсто срезаете?

Ответила одна из женщин:

— Гнилая же.

Онисимов подошел ближе, наклонился, взял с пола картофелину. Потом другую.

— Нет, не гнилая.

Нарком кинул картофелины, еще постоял, повернулся и вышел. На воле достал платок, вытер испачканные пальцы. Головне едко сказал:

— Толстоваты очистки. Тащат домой. Поросят держат.

И ничего более не прибавив,— делай, мол, выводы сам,— зашагал к высившейся невдалеке доменной печи номер один. Петр по-прежнему шел рядом.

По железной лесенке, тоже красноватой от налета рудной пыли, они поднялись к печи, издававшей низкий ровный гуд. Пройдя в пирометрическую будку — там то и дело на панели вспыхивали и потухали разноцветные глазки,— Онисимов сел, придвинул к себе, развернул журнал плавок. На вопросы наркома отвечал начальник цеха, такой же молодой, как и директор, одетый в такую же блекло-синюю куртку. Порою волнение принуждало его запинаться, он пятнами краснел. Онисимов еще ни словом не обмолвился о самоуправных выдумках, введенных в цехе. Верный себе, он хотел сначала уличить

собеседника в незнании дела, сбить, высечь его. И, не поднимая от журнала глаз, спросил:

— Почему вчера на второй печи дали пять холостых калош?

Начальник цеха затруднился.

— Э... Э... Вчера?

— Да, да, вчера.

Стоявший здесь же директор вдруг вмешался:

— На втором номере вчера не было холостых калош. Вы ошиблись, товарищ нарком.

Петр Головин говорил твердо, но тоже волновался — усмешка пропала, под кожей обозначились, заходили желваки. У Онисимова, фигурально выражаясь, зачесались руки, чтобы тут же приструнить Петра: «Ты, как видно, не заводом занимаешься, а одним только доменным цехом. И к тому же выделываешь здесь всякие фортели». Онисимов, однако, сдержался. Всему свое время. Сюда, в будку, вызваны и вскоре явятся участники наркоматской бригады, в том числе глава доменной группы инженер Земцов. Пусть он сначала в присутствии виновного доложит о технологических вольностях в Кураковке, об отсебятинах директора. А насчет дальнейшего позаботится нарком. Свое Петр получит.

И получил...

39

Это произошло там же — в пирометрической будке домны № 1. Туда в назначенный час явились те, кого нарком загодя командировал в Кураковку,— начальник Главюга, узколицый, костлявый Миних, главный бухгалтер наркомата Шибаев и глава доменной группы Земцов, наделенный крупной статью, что называется, солидный, с прической ежиком, накопивший немалый опыт заводского инженера и вместе с тем заработавший профессорское звание. Кстати отметим, что Земцов приобрел некоторое имя и как автор шахматных этюдов и задач. В поездки он непременно захватывал с собой шахматную литературу, подолгу колдовал в одиночку над доской. Онисимов любил сразиться с ним в вагоне. Как ни удивительно, в таких сражениях нарком большей частью одолевал этого квалифицированного игрока. Свои поражения Земцов объяснил тем, что-де сила в практической игре далеко не равнозначна способностям составителя задач. Втайне Онисимов его подозревал: не ловчит ли? Но партии вы-

игрывал с удовольствием. И не скрывал перед собой этакую свою слабость, прощал ее себе.

Вокруг поцарапанного, много послужившего стола, со следами когда-то пролитых фиолетовых чернил, разместились и Онисимов, и приехавший с ним референт-секретарь, и Петр Головня, и начальник цеха. На подносе выстроились принесенные из цехового буфета стаканы чая и дешевая, зеленоватого стекла вазочка с печеньем. Никто, однако, к угощению не притронулся. Онисимов ввел в наркомате железное правило: никогда и ничем на заводах не пользоваться — не только, скажем, ужином или обедом у директора, но и хотя бы даровым стаканом чая. Нарушителей такого правила он вытаскивал на обозрение на заседаниях коллегии, хлестал кнутиком нещадных слов. И сам подавал в командировках пример педантической воздержанности.

Время от времени дверь будки отворялась, врывался на секунду свист и гуд, входил чернобровый, чисто выбритый мастер и исполнял свою работу: поглядывал на световые сигналы, на исчирканную черными линиями самопишущих приборов бумагу-миллиметровку. Потом уходил. Эти вторжения не прерывали заседания.

Закурив, Онисимов обратился к Земцову:

— Послушаем, Николай Федотович, тебя. Как тут, на доменном фронте, обстоят дела?

Шахматист-доменщик поднялся. Баском, не торопясь, выдерживая паузы и порой двумя пальцами оттягивая выпяченную нижнюю губу — ему был свойствен такой жест,— Земцов обстоятельно, в динамике разобрал работу здешнего цеха. Сам отвел необоснованные возможные нападки. Тем, кто тут присутствовал, было ведомо: в промышленности и на транспорте еще длилась полоса тяжелого разлада, расстройства, вызванного арестами миновавших недавно годов. Об этом, впрочем, говорить не полагалось. Итоги выплавки металла в 1939-м были печальны. И лишь к середине 1940-го — того, о котором сейчас на этих страницах идет речь,— сталелитейная промышленность, как и другие отрасли хозяйства, начала понемногу выправляться. Но еще неуверенно, с перебоями, с откатами.

С той же улыбкой, то покровительственной, то иронической, Земцов описал нигде еще не виданный способ форсировки хода домны и достойные удивления конструкторские новшества, введенные на одной из печей директором Кураковки.

— Результаты, конечно, оказались плачевными,— сообщал Земцов.— Да и могло ли быть иначе, если тут нарушена азбука доменного дела? Она требует дать полную волю восходящему потоку газа, а наш неуемный экспериментатор, увлеченный собственными теоретическими домыслами, о которых, к сожалению, еще помалкивает мировая техническая литература, взял да и стиснул горло доменной печи. И, разумеется, лишь хлебнул горя.

Конечно, и Кураковка страдала в те времена из-за того, что подача электроэнергии сократилась, нередко вдруг и вовсе прерывалась, качество поступавших на завод плавильных материалов резко ухудшилось, да и тех постоянно не хватало, рудный двор оставался без руды, завалка домен шла с колес. Онисимов, назначенный в такую пору наркомом стали, днями и ночами, бывало, следил из Москвы за продвижением к заводам чуть ли не каждого состава с рудой или известняком. Хроническая нехватка рабочих, текучесть, особенно там, где еще применялся отживший тяжелый ручной труд, тоже мучила Кураковку.

Земцов не затушевывал этих трудностей. В таких условиях доменный цех, справедливость требует это отметить,— здоровяк-инженер опять приостановился, потянул двумя пальцами нижнюю губу,— доменный цех все же добился некоторых успехов. Кривая выплавки постепенно идет вверх. Можно ли, однако, этим удовлетвориться? Нет, плановое задание ни на одной печи еще не выполняется. Имеют место серьезнейшие промахи, а то и — извините прямоту, Петр Афанасьевич,— пороки заводского руководства.

— Изучив дело на месте,— продолжал Земцов,— мы выяснили следующее: тяжелое положение, в котором по сей день находится доменный цех, вызвано не только объективными причинами, но так же и тем, что Петр Афанасьевич по молодости,— с улыбкой, в которой читалось снисхождение, Земцов приглаживал пухлой рукой тронутый проседью ежик, тотчас вновь торчмя встававший,— по молодости, по горячности, мне особенно понятной, и меня когда-то числили в изобретателях, увлекся беспочвенным, необоснованным или, позволю себе на правах старшего товарища такое выражение, дурным экспериментированием.

Петр молча слушал, казался спокойным. Только мгновениями поигрывали желваки. Да на загорелом с белым

косым шрамом лбу обозначалась вертикальная, устремленная к переносью черточка.

Онисимов резко спросил:

— Кто тебе разрешил эти затеи?

— Я говорил начальнику главка о своей конструкции. Он не возражал против того, чтобы это опробовать, изучить.

Онисимов задал вопрос Миниху:

— Ты подтверждаешь?

— Такого разговора, Александр Леонтьевич, я не помню.

— Так кто же разрешил?— повторил Онисимов.— И где это задокументировано?

Петр не ответил.

— Кем же ты тут себя воображаешь? Удельным князьком, что ли? Доверили тебе завод, а ты, не угодно ли, воспользовался: дай-ка займусь за государственный счет своими выдумками. Завод для тебя собственная вотчина? Так тебя прикажешь понимать?

— Я убежден,— произнес Петр,— что рано или поздно мой способ восторжествует во всей металлургии. И принесет...

— Я... Я...— оборвал Онисимов.— Поменьше якай! Странно, каким образом ты, выросший в рабочей семье, набрался этакого анархического индивидуализма. Фу-ты ну-ты, подумаешь, исключительная личность! Считаешь, что советские законы не для тебя писаны?

— Этого я не считаю.

— Почему же самовольничаешь?

— Но мой способ вызван самой жизнью. Именно наша советская металлургия...

— Наша металлургия нуждается прежде всего в строгом порядке. А ты его первый нарушаешь! Немудрено, что и в цехах у тебя разболтана технологическая дисциплина. Нам нужны не чудеса, которые ты сулишь, а будничная неустанная работа по наведению порядка. За такие номера, которые ты тут выкидываешь, тебя для примера иным прочим следовало бы снять, но пока ограничиваюсь предупреждением. И всю эту музыку, твою отсебятину, потрудись прекратить. Немедленно прекратить!

Покончив на этом с конструкторскими вольностями Петра Головни, нарком объявил двухчасовой перерыв и вышел из цеха.

40

Лишь поздней ночью завершился разбор нужд и недочетов доменного цеха. Были записаны конкретные указания, решения, которым затем предстояло войти особым разделом в приказ, что оставит здесь нарком.

В два или в три часа ночи Онисимов отпустил заседавших. Такой режим он неизменно выдерживал, посещая заводы. Работники наркомата, которые ему сопутствовали в поездках, звавшие себя с горьковатым юмором его лошадками, возвращались на ночлег всегда измочаленными, наголодавшимися, загнанными. А сам он, будто отлитый из сверхпрочной стали, оставался свежим, сохранял остроту языка, остроту взгляда.

Покинув цех, нарком, сопровождаемый директором, пересек тесину рельсовых путей,— налощенные колесами стальные полоски мутно поблескивали под заводским слегка багровеющим небом,— выбрался на асфальтовую дорожку, где уже дежурила, ждала машина. Другая, предназначенная для его спутников, умчалась минуту назад, невдалеке еще виднелась удаляющаяся красная точка заднего фонарика. Вот и она скрылась. Шумы ночного завода казались приглушенными. Лишь иногда врывался лязг или свистящий резкий звук.

— Прошу вас,— проговорил Петр,— разрешите мне на одной печи изучать мой способ.

— Опять двадцать пять,— сказал Онисимов.— Пройдемся, проводи меня немного.

Они зашагали по краю дорожки. Следом, не обгоняя наркома, поползла машина. Онисимов недовольно оглянулся. Он и в Москве не допускал, чтобы автомобиль когда-либо следовал за ним, приноровляясь к его шагу, считал барственной такую манеру. Подойдя к водителю, распорядился:

— Поезжай к главным воротам. Подожди меня там.

И вернулся к Петру.

Некоторое время они шли молча.

— Подумалось сейчас о флокенах,— произнес Онисимов.

Интонация была мягкой, доверительной. Он словно отбросил свою всегдашнюю броню официальности.

— О флокенах?

Обоим был отлично известен этот специальный металлургический термин, обозначавший не распознаваемый в те времена никакими приборами порок стального слитка.

Наука выяснила лишь, что флокен вызывается мельчайшим, почти микроскопическим, застрявшим в теле слитка пузырьком водорода. В прокате под валками стана такой пузырек вытягивается, становится тонкой, как волосок, трещинкой, своего рода червячком, ничем по-прежнему не дающим о себе знать. Зараженная флокенами сталь получает клеймо «годная». И только много времени спустя она, казалось бы, надежная, пущенная в дело, ломалась, рвалась. Бывали крушения поездов из-за внезапного разрушения рельса, по всем признакам безукоризненного. Случалось, мгновенно трескался гребной винт корабля. Иногда вдруг рушились и прочнейшие, казалось бы, фермы, и шестерни, и оси. И лишь в изломе обнаруживались губительные, уже разросшиеся флокены — серебристо-белые хлопья, окруженные темными пятнами усталости.

С давних пор флокены были излюбленной темой Онисимова. Тут, пожалуй, уместно упомянуть, что еще в молодости он, безупречный студент, парторг института, был прозван товарищами: «человек без флокенов». И гордился таким прозвищем.

Ныне подначальные Онисимову металлурги знали, что грозного наркома можно, по грубоватому словцу, к у п и т ь, если перевести разговор на флокены. Александр Леонтьевич в таких случаях воодушевлялся, входя в разнообразные тонкости этой темной проблемы, приводил поразительные факты. И, как замечали, добрел, разговорясь. Впрочем, выражение «добрел» с ним как-то не вязалось. Попросту на время можно было не опасаться его желчности, вспыльчивости.

Он и теперь, идя рядом с Петром, меряя шагами пустынную по-ночному дорожку, охотно рассуждал о флокенах. Казалось, несколько приподнялась всаженная в плечи крупная его голова, покрытая фетровой шляпой. Онисимов отдыхает в эти минуты, вскочив на своего конька.

Петр, как знает читатель, не был наделен тактичностью. Он слушал, слушал, да и принялся за свое:

— Не вижу, товарищ нарком, какой-либо связи между моим способом и флокенами.

— А я вижу.

— В чем же она?

Усмехаясь,— ох, уж эти его усмешки!— Петр в нескольких ясных фразах показал, что его способ, с какой стороны ни подойди, качеству металла отнюдь не угро-

жает. Да и вообще уже открыты новые пути радикального очищения стали от всяческих газовых включений. Давно уже предложена разливка в вакууме. Надо и это испытывать, изучать практически. Онисимов тут не вступил в спор, лишь обронил:

— Нет, с флокенами лучше не мудрить.— Теперь его тон был, как обычно, жестковат.— Кроме того, ты не учел, что о флокенах можно говорить и в иносказании. Твои изобретательские чудачества — это твой личный флокен. Лучше избавляйся от него заблаговременно.

— А я стараюсь понять вас,— негромко сказал Петр.

— Да, это уж придется тебе сделать.

— Конечно, насчет моего способа я, видимо, ничего доказать вам не смогу. Оставим пока это под вопросом: удачен он или непригоден. Но если бы сверху вам сказали: окажи содействие...

— Ну...

— Или даже попросту кивнули, то я получил бы от вас все, что надобно для моего изобретения, хорошее оно или плохое.

— И что из того следует?

Реплика прозвучала угрожающе. Петр ответил без запальчивости:

— Промышленность, Александр Леонтьевич, так жить не может. Думаю, что и вообще так жить нельзя.

Ну, Онисимов тут ему в р е з а л ...

...Впрочем, зачем, зачем он сейчас об этом вспоминает? Ведь думалось о чем-то совсем другом.

Но снова врывается, течет в уме тот же поток.

...Пожалуй, именно та ночная прогулка от доменных печей к главным воротам, поначалу мирная, открывшая вольные мысли Головни, заставила Онисимова твердо решить: с таким не поладишь, такого надо снять.

Еще два или три дня Онисимов провел на заводе, попрежнему удивляя всех следовательской хваткой, пунктуальностью, неутомимостью,— чистых шестнадцать часов в сутки он и тут отдавал делу.

Накануне отъезда он выступил на собрании производственно-технического заводского актива. Начальники цехов и отделов, некоторые другие выделившиеся инженеры, лучшие мастера, передовики рабочие, руководители партийных и профсоюзных организаций, а также и весь а п п а р а т, сопутствовавший наркому, насчитывавший до тридцати различного рода специалистов, тесно запол-

нили ряды скамеек в сравнительно просторном, на четыре сотни мест, красном уголке листопроката.

Ограничившись лишь крайне сжатым политического характера вступлением, Онисимов деловито, конкретно анализировал работу завода. Смягчающие фразы, полутона или так называемое подрессоривание в его речи отсутствовали. Он указывал изъяны руководства, школил, стегал тех, кто был повинен в безалаберности, в пренебрежении к технологической и элементарной трудовой дисциплине, ставил доступные ясные задачи. Не помиловал и директора.

— К сожалению, товарищ Головня вместо того чтобы заниматься делом, организацией производства, увлекся собственными изобретениями. Он, видимо, думает, что завод дан ему на откуп: что хочу, то и творю. Он, однако, заблуждается. Директор, как и любой из нас, лишь исполняет службу, служит государству. И использовать служебное положение для всяких своих фантазий, фиглей-миглей никому в Советской стране не дозволено. Общий порядок обязателен и для директора: обратись куда следует со своей задумкой. И ожидай разрешения!

Сидевший на помосте за столом президиума горбоносый, с рыжинкой в завитых природой волосах, молодой директор хмуро вставил:

— В котором вы уже мне отказали.

— К вашему сведению, товарищ Головня, я не самодур-купчина, который по собственной прихоти может отказывать или не отказывать. Устройство, которое вы здесь самочинно завели, было основательно изучено специалистами. Они дали оценку: дурная отсебятина. Это рассматривал и я. Пришлось скомандовать: прекратить, товарищ Головня, свои художества.

Петр еще раз бросил с места:

— Когда-нибудь всем будет известно, что вы это запретили!

Онисимов резко обернулся. Вот как! Этот выскочка-упрямец и тут, перед четырьмястами металлургами, отваживается вякать, перечить наркому. Ну, я ему вякну!

— Да, запретил! И пришлю сюда своих контролеров, чтобы проверить, как вы исполнили приказ. И если свое партизанство не оставите, такой бенефис вам закачу, что не обрадуетесь. Завод вам не поместье и вы на нем не барин! Не стройте из себя сиятельную особу, привилегированную личность. У нас нет привилегированных! И я

не посмотрю, что вы принадлежите к прославленной семье. Скидки на это вам не будет!

— А ее мне и не надо.

— Изволь со мной не пререкаться. Какой пример ты подаешь?

Переведя дыхание, Онисимов вернул себе невозмутимость. Его массивная голова на миг склонилась над бумагами. Вот зеленоватые острые глаза опять обратились к залу. Нарком счел нужным сказать еще несколько слов о директоре:

— Сегодняшнее поведение товарища Головни вновь убеждает меня в том, что заводом руководить он не может и его следует снять.

Слова были спокойны, весомы.

С таким решением — снять дерзкого директора — Онисимов на следующий день уехал из Кураковки.

41

Однако смещение директора на большом заводе не могло быть произведено лишь его, Онисимова, властью. Руководители крупнейших предприятий и строек утверждались Центральным Комитетом партии, входили, говоря опять языком времени, в некую особую н о м е н к л а т у р у. Без санкции Центрального Комитета нельзя было отставить, сменить и Головню-младшего.

Онисимов исподволь обдумывал аргументацию, которую выдвинет в разговоре наверху. В мыслях готовил записку на сей счет. Такого рода бумаги, адресованные в Центральный Комитет, он всегда составлял сам. Но за эту все не принимался. Возникавший в уме текст пока его не удовлетворял. Все же набросал черновик, показавшийся более или менее подходящим. Однако лишь более или менее... Безотчетное, словно бы инстинктивное сомнение оставалось. Этому своему невнятному чутью он верил. Что же, успеется, повременю.

Кстати, приближались праздничные дни — годовщина Октября. Все равно вопрос придется ставить только после праздников.

Вечером шестого ноября Онисимов, покинув в этот непривычно ранний для него час свой служебный кабинет, заехал домой переодеться и покатил с женой в Большой театр на традиционное торжественное заседание в честь дня рождения Советской власти.

Пройдя через предназначенный для членов прави-

тельства расположенный в сторонке вход, Александр Леонтьевич в черной новехонькой пиджачной паре, в безукоризненно блестевших ботинках и Елена Антоновна в сером, строгого покроя костюме, как бы подчеркивающем ее статность, прямизну, ничем не украшенном, если не считать воротничка шелковой кремовой блузки, что был выпущен поверх жакета, поднялись в боковую, примыкающую к сцене ложу. В своего рода передней комнатке — на театральном диалекте она зовется аванложей,— отделенной от стульев тяжелой темно-зеленой занавесью, стояли Иван Тевадросович Тевосян и его жена Ольга Александровна, очевидно, тоже только что приехавшие.

Смуглый, низкорослый, с черной до глянца шевелюрой нарком металлургической промышленности радушно приветствовал вошедших. Черные, словно нанесенные тушью небольшие усы делали по контрасту особенно выразительной его белозубую улыбку.

Ольга Александровна тоже улыбалась. Легкий розовый шарф обвивал в меру полную шею. Русые волосы не были аскетически гладко зачесаны, но и не взбиты. Она поправила их перед висевшим тут же зеркалом, не сочла этого для себя зазорным.

Невольно Онисимов сравнил Ольгу Александровну, тоже избравшую смолоду профессию партийного работника, со своей женой. Обе были деятельницами, но сухость, свойственная Елене Антоновне, не наложила своего отпечатка даже и в черточках внешности на спутницу жизни Тевосяна. Глядя на нее, уже мать двоих детей, Онисимов в который уже раз втайне пожалел, что у него нет своего ребенка (в ту пору Андрейки еще не было в помине, лишь два года спустя, в дни войны ему суждено было родиться).

Минуту-другую спустя женщины ушли за ниспадающую складками ткань на свои места. Гул многоярусного огромного зрительного зала глуховато доносился в аванложу. Два наркома присели на диван. Здесь разрешалось курить, о чем свидетельствовала пепельница на низком столике и почти незаметная, вмонтированная в стенку решеточка вентиляционной тяги. Заядлые курильщики, оба не пренебрегали возможностью сделать на скорую руку несколько затяжек.

Онисимов поздравил Ивана Тевадросовича. Впервые за много-много месяцев наркомат Тевосяна выполнил, наконец, в истекшем октябре план по чугуну. А еще год на-

зад работа заводов была столь разлажена, что металлургия не давала и восьмидесяти процентов программы. Соответственно упали и заработки, металлурги приуныли, у многих опустились руки, положение казалось беспросветным. Не кто иной, как Тевосян, отважился тогда на смелый, небывалый в истории советской промышленности шаг: объявил, что премии отныне будут выплачиваться даже и за восемьдесят процентов плановой выплавки. И каждый последующий процент повлечет прогрессирующее увеличение премий. Эта мера, утвержденная Советом Народных Комиссаров, была распространена и на предприятия, подведомственные наркомату стального проката и литья. Именно такое решение — тут Александр Леонтьевич без малейшей зависти; до этого он не позволил бы себе унизиться, склонялся перед организаторскими способностями Тевосяна,— именно такое решение, затронувшее всю армию металлургов, покончило с настроениями безразличия, безотрадности, подействовало магически.

— Раненько поздравляешь,— сказал Тевосян.— Выложу план по всему циклу, тогда дело другое. По-видимому, мы с тобой голова в голову к этому придем. Глядишь, ты еще вырвешься на ноздрю вперед.

Онисимов не стал оспаривать такое предсказание. Действительно, подчиненные ему предприятия, в том числе и старая Кураковка, уверенно набирали темпы, совсем близко подошли к стопроцентному выполнению программы и по валу и по ассортименту. Уже нельзя было сомневаться, что в грядущий сорок первый — знал ли кто, каким грозным станет этот год?! — промышленность, выпускающая сталь, войдет окрепшей.

— В общем,— продолжал Тевосян,— если по нынешнему обыкновению потревожить Маяковского, сочтемся славой. И на поздравлениях давай поставим точку. Лучше скажи, какие у тебя впечатления от поездки.

Александр Леонтьевич охотно стал рассказывать. Верный себе, школе работяг, которым история дала миссию пириструнивать и подхлестывать, скупых на похвалы, питающих отвращение и к самовосхвалению,— таков же, заметим, был и Тевосян,— Александр Леонтьевич заговорил о том, чем возмущался в дни поездки. Нарушения режима, технологическая распущенность. Надобно еще и еще подтягивать гайки. Какой-то вопрос Тевосяна или, возможно, просто поворот фразы привел Онисимова к флокенам. Отдаленные последствия технологической

неряшливости или самовольства когда-нибудь еще скажутся. И вряд ли избежим малоприятного занятия: расследовать катастрофы. Тут Александру Леонтьевичу припомнился Головня-младший.

— Не люблю менять директоров,— произнес он,— но решил от Петра Головни избавиться.

Он кратко сообщил собеседнику о прегрешениях директора Кураковки: самоуверен, подвержен изобретательскому зуду, непослушен, публично дерзит.

Темно-карие, почти черные глаза Тевосяна не выразили одобрения.

— Знаешь, тебе могут сказать: ты предлагаешь странное. Молодой директор. Тянет неплохо. Ему надо помогать. Не спешишь ли?

Невнятные сомнения, которые беспокоили Онисимова, мигом приобрели ясность, как бы кристаллизовались. Да, по всей вероятности, ему скажут что-либо подобное. Он, однако, не сдался:

— Спешить, конечно, ни к чему. Но, с другой стороны, если убежден, зачем тянуть?

— Но убежден ли?

В эту минуту откинулась темно-зеленая портьера. Выглянула жена Тевосяна. Она уже сняла свой розовый шарф.

— Что же вы?— В спокойном звучном голосе слышался легкий упрек.— Думаете, вас будут ждать?

Сквозь приоткрытую драпировку дошла настороженная тишина, уже водворившаяся в зале. Оба наркома заторопились в ложу.

Установленный на сцене длинный, застланный малиновым бархатом стол еще пустовал. Вглубь уходили никем пока не занятые ряды стульев. Театральными прожекторами был ярко высвечен на заднике своего рода огромный медальон: лицо нарисованного в профиль Сталина и как бы служивший ему фоном профиль Ленина. Лишь изощренный взгляд мог бы отметить, как из года в год в таком двойном портрете Ленин становился чуть поменьше, а облик Сталина крупней.

Юпитеры, доставленные кинохроникой, уже источали пучки слепящего голубоватого света, пока направленного в зал. Впрочем, один или два, еще не вспыхнувшие, были нацелены в глубину кулисы, скрытой от партера и ярусов, но ясно просматриваемой из крайней ложи, куда ступили, не садясь, Тевосян и Онисимов. В кулису уже вышли те, кто был приглашен занять места на сцене, тесно выстрои-

лись, оставив открытым ведущий к столу проход. Почти все они были широко известны. Вон несколько полярных летчиков, рядом широченный лысоватый конструктор авиационных моторов, далее столь же прославленный чернобородый академик. Различима красиво вскинутая голова Пыжова. Виден и седой гладкий зачес старой большевички, немилость миновала ее.

Не отрывая взора от кулисы, Тевосян легонько толкнул локтем Онисимова:

— Э, и старика Головню, гляди-ка, туда вытащили.

Онисимов невозмутимо откликнулся:

— Что же, значит, опять металлургам честь и место.

Рыжеусый мастер-доменщик выглядывал из-за спин тех, кто стоял впереди. Видимо, он то и дело приподнимался на цыпочки, высовывая подальше горбатый большой нос. Довольный, раскрасневшийся, Головня-отец все посматривал в ту сторону, откуда вел проход.

Еще минута — и как-то вдруг, хотя именно это ожидалось, в проходе показался Сталин. Он шел не быстрым, но и не медлительным, словно бы деловым шагом. Его военного кроя одежда, пожалуй, так с былых лет и не переменилась: вправленные в сапоги, слегка свисающие на голенища брюки защитного цвета, такая же куртка без каких-либо знаков. Впрочем, нет, это была уже не куртка, а отлично сшитый китель, свободно облегающий небольшое туловище. Даже и такие, не сразу уловимые, изменения костюма свидетельствовали: отброшен вид солдата, проступило некое иное обличье.

Хозяин шел вдоль рукоплескавшей шеренги, не поглядывая по сторонам, будто никого не видя. Неподвижность головы была величественной. Маленький его рост не замечался. За Сталиным, блюдя дистанцию, следовала вереница его ближайших сподвижников. От зала он был еще заслонен кулисой, однако возникшие на сцене аплодисменты сразу перекинулись туда.

Внезапно Сталин приостановился. Живым движением — да, да, когда-то еще на памяти Онисимова, он этак по-молодому оборачивался,— живым движением протянул руку кому-то из сгрудившихся в проходе. Кому же? Рыжему доменному мастеру. Мгновенно перед Головней расступились. Покраснела уже не только его физиономия, но и изрытая морщинами шея. Нарядный галстук съехал набок, старый доменщик этого не замечал. Он обеими руками затряс кисть Сталина. Тот что-то

проговорил, шевельнулись черные, еще казавшиеся густыми усы.

Вспыхнули наведенные юпитеры. Но кинокамера не успела запечатлеть на пленку этот миг. Вновь обретя монументальность, опять недвижно неся голову, Сталин уже шел дальше. Рукой он как бы отмахнулся от льющегося на него света. Послушные этому безмолвному велению, пучки лучей тотчас несколько переменили направление.

Вслед Сталину, держа под мышкой папку, шагал Молотов. Он тоже остановился возле Головни-отца для рукопожатия. И далее каждый в веренице, что двигалась за Сталиным, тоже задерживался близ рыжего мастера, пожимал ему руку. Казалось, все они без рассуждений единообразно исполняли команду. Мастер сперва все улыбался, потом на его красном лице, которое с удивительной непосредственностью передавало внутреннюю жизнь, выразилось удивление, а напоследок, когда с ним за руку здоровались совсем ему неведомые люди, он выглядел вовсе ошарашенным.

А Хозяин уже стоял за столом и, не спеша, аплодировал, как бы отвечая на гремящие раскаты овации.

Изливая свои чувства, преданность Сталину, веру в его гений, жарко хлопал в ладоши и Онисимов. В какую-то минуту его потянуло шепнуть Тевосяну: «Н-да... Непопадание в анализ».

Однако сработали действовавшие безотказно тормоза. Эту шутку он оставил при себе. Даже не произнес: «Н-да».

...Конечно, он отложил намерение сместить Головню-младшего. Но, разумеется, сохранил лицо. Онисимову в этом помог один номер «Правды», что вышел вскоре после миновавшей годовщины Октября.

Положив перед собой газету, он позвонил из своего кабинета директору Кураковки и, порасспросив о делах, сказал:

— Прочитай внимательно сегодняшнюю «Правду».

— Я ее всегда внимательно читаю. А что сегодня там?

— Сам поймешь, когда посмотришь. Но, если желаешь, могу и сейчас удовлетворить твое любопытство. Напечатано постановление Совнаркома о самовольных нарушениях технологического режима в машиностроительной промышленности.

— В машиностроительной?

— Не беспокойся. Мы тоже тут никуда не денемся. Так процитировать?

— Пожалуйста. Послушаю.

— Послушай. «Внесение изменений в технологический процесс... допускается... только с разрешения народного комиссара». Уяснил?

— Это для меня не ново.

— Но есть кое-что и новое. Послушай-ка еще: «Невыполнение настоящего постановления рассматривать как уголовное преступление, а директоров, главных инженеров и главных технологов заводов, допустивших эти нарушения, предавать суду». Тебе понятно? Думаю, сможешь догадаться, кем это подписано.

— Что же, почитаю еще сам.

— Не только почитай, но и положи под стекло на стол, чтобы время от времени возобновлять в памяти. И продолжай работать. Но свои ереси забудь.

...К чему, однако, внутреннему взору Онисимова, привалившегося к подушкам больничной кровати, все предстает Петр Головня? Зачем опять и опять вспоминается Сталин?

На уме было ведь иное: как, каким способом узнать истину в своей болезни?

И вместе с тем не зря, не зря мысль возвращается к дерзкому директору. Если Онисимову впрямь отпущено совсем немного времени, то... То среди прочих дел, которые честь верного слуги государства и партии велит ему закончить, он обязан на что-то решиться и в отношении Петра Головни. Так или иначе и эту страницу он должен оставить в ажуре.

Так чем же, чем же все-таки он болен?!

42

Палата Онисимова принадлежала терапевтическому отделению, которым ведал профессор Владимир Петрович Фоменко.

Грузный, с большим животом, совсем не похожий на элегантного, стройного Соловьева, к тому же еще и бородатый, Владимир Петрович умел соединить твердость, определенность решений с успокоительным ласковым мурлыканьем и обычно снискивал доверие, располагал к себе больного.

Прослужив в этой больнице уже почти два десятка лет, Владимир Петрович был в равной степени знаток и

своей специальности врача-терапевта и особенного медицинского делопроизводства, составившего целые тома, всегда готовые для предъявления любой проверке или следствию. Неписаный закон: «Если человек умрет, то пусть умрет по правилам»,— был вполне усвоен Владимиром Петровичем. Грозы, разражавшиеся в ушедшие времена над врачами, обходили его. Он знал, что коллеги дали ему прозвание «колобок». Что же, он не прочь этак именоваться. Не прочь и повторить порой в уме лихое присловье колобка: «Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, я от волка ушел, и от тебя, косой, уйду».

И вот в какой-то серенький октябрьский денек бородатый профессор в халате, обрисовывающем богатырские плечи и громадный живот, наведался к Александру Леонтьевичу. Тот, одетый, как на службе,— в пиджаке, в свежей белейшей сорочке с накрахмаленным воротничком,— сидел за письменным столом над присланными ему газетами Тишландии: он уже мог, пробыв там полгода, со словарем разбирать текст.

— Приятно, Александр Леонтьевич, вас видеть за работой,— заговорил, замурлыкал профессор.— Ежели тянет к работе, дело идет, стало быть, к лучшему. Это, по наблюдениям нашего брата, лекаря-практика, самый добрый признак. Ну-ка, погляжу на вас с окна.

Падающий от окна свет отнюдь не развеивал землистую тень на лбу, на скулах, на чисто выбритых щеках Онисимова. Казалось, больной вот только что лежал, уткнувшись лицом в сухую землю, оставившую свой серый пыльный след.

Профессор, однако, изобразил удовлетворение.

— Да, видик стал покраше. И щеки, кажись, округлились. В весе, если не ошибаюсь, прибавляете?

Хитрецу профессору было отлично известно, как менялся в больнице вес Онисимова, но Владимир Петрович хотел якобы непроизвольно сделать на этом ударение.

— Прибавляю,— ответил Онисимов.

— Вот и хорошо. Как спите?

— Тут сплю неплохо. Правда, с помощью этого вашего снотворного. За сие, Владимир Петрович, вам спасибо.

Онисимов с полнейшей невозмутимостью высказал пока благодарность, хотя никаких снотворных он в больнице пока не просил и не получал. «Колобок» не выдал ничем недоумения, лишь маленькие глазки на миг воззрились в потолок.

— Ага, ага,— подтвердил он.— Значит, так и будем продолжать. Теперь скажите, как боли? Не поменьшели?

— Приступы, пожалуй, стали реже. И боль быстро успокаивается, когда применяю то, что вы мне прописали.

Толстяк врач метнул на больного быстрый настороженный взгляд. Заточенный в палате дипломат как бы в знак признательности улыбнулся. Красные крупные губы, живые блестящие глазки бородача, заведующего отделением, изобразили в ответ добродушную улыбку. Однако под ней пряталось замешательство. «Вы мне прописали». Но что, собственно, он прописал? Обезболивающие средства Онисимову пока не давали, их очередь не наступила. Что же в таком разе? Неужели запамятовал, черт побери? Он вновь прибегнул к междометиям:

— Ага, ага...

И продолжал:

— А сейчас, дорогой, оголяйтесь-ка до пояса. Послушаем ваши легкие, ваше сердечко.

Александр Леонтьевич обнажил впалую грудь. Хотя в последние дни он и набрал немного веса, однако слой жирка, ранее приметный, был уже слизан болезнью. Вдоль узкой исхудалой спины прорисовался позвоночник. Плечи тоже заострились. Профессор основательно, неторопливо выслушал с разных сторон грудную клетку больного.

— Да, хрипики есть, никуда не денешься. Они от вас еще долго не отвяжутся. Это упорнейшая штука, очаговая пневмония. Одевайтесь, Александр Леонтьевич. Исследований достаточно, картина нам ясна. В больнице, дорогой, вас уже незачем держать.

Онисимов вмиг понял, что означало это «незачем». Но никак себя не выдал. Не переспросил. Не насторожил бородача. Тот продолжал:

— Вскоре, если на то будет ваша воля, переведем вас в санаторий. Это нам и консилиум порекомендовал. Теперь все уже сделает время. А мы, навязчивые врачеватели, уже, собственно, вам и не нужны.

Воркующий грузный профессор, наверное, и не осознавал, сколь зловеще двусмысленны были эти его фразы.

— Поместим вас, Александр Леонтьевич, в «Щеглы». Бывали там? Расчудесное местечко. Сама природа там над вами поработает. Родные будут вас постоянно навещать: тут на «Зимчике»,— склонный к уменьшительным,

ласкательным оборотам речи, врач даже и автомобиль марки «ЗИМ» называл «Зимчиком»,— двадцать минут ходу. Подержим вас там месячишка два. А то и три. Будете и в «Щеглах» под нашим верховным попечением. Свежий воздух, покой — это главное ваше лекарство. А мы лишь поможем работе природы. Назначу вам, дорогой, рентгенотерапию.

Послушное сдерживающим центрам изжелта-сероватое лицо Онисимова ничего не выражало. Он будто доверчиво внимал говорливому врачу. И лишь на миг слегка опустил веки, чтобы и в глазах не проблеснула боль понимания. Рентгенотерапия. Этим словом в лоб, как и в Тишландии, была названа его болезнь. Застегивая твердый воротничок своей сорочки, Александр Леонтьевич произнес:

— А это мне еще в моей Тишландии посоветовали... Массивными дозами, да?

Голос и дыхание ему не изменили, оставались ровными. Профессор предпочел уйти от прямого ответа:

— Вы уж вторгаетесь, Александр Леонтьевич, в нашу лекарскую кухню, где...

Больной не дослушал:

— По методу, помнится, Диллона?

Бородач опять насторожился, оглянул Онисимова. Тот стоял к нему вполоборота и, посматривая в окно на подернутое наволочью осеннее московское небо, аккуратно завязывал темный галстук. Привычная дрожь сотрясала пальцы, ткань трепетала, но легла безупречным узлом.

— Завиднейшая у вас память, Александр Леонтьевич.

— Спасибо. Да, кажется, еще гожусь.

Уже одетый, как на службе, в темный в полоску пиджак, Онисимов присел к письменному столу, машинально придвинул свой острый жесткий карандаш. В свое время он такого рода колким острием метил любую несообразность, неточность, сомнительную цифру в отчетах и сводках, как бы пронзал всякую фальшь.

Сейчас он, уперев пальцы в край стола, чтобы не дрожали, вновь улыбнулся:

— Мне, Владимир Петрович, хорошо помогают грелки. Снимают боль. По-видимому, вы удачно их назначили.

— Грелки? Я назначил?

— Чему вы удивляетесь? Здесь, наверное, где-то лежит на сей предмет ваша бумага.

Онисимов еще находил силы выражаться в своей иронической манере. Профессор опять воззрился в потолок. Неужели он допустил эту оплошку, что-то перепутал, подмахнул противопоказанное назначение? Правда, дело идет всего только о грелках, но все же скандал. Подсудное дело. И, главное, существует документ. Владимир Петрович отер пухлой рукой лоб, где проступила легкая испарина.

— Вспоминаю, вспоминаю... Но в нашем распоряжении, дорогой, имеются средства более эффективные. Кстати, дайте-ка взгляну на эту мою бумаженцию.

— Вряд ли найду. Наверное, жена забрала домой. Она все это хранит.

Онисимов уже не угашал сухого блеска своих зеленоватых проницательных глаз, в упор устремленных на профессора. Ни единого грубого или язвительного слова больной не произнес, но врач внутренне корчился, словно истязуемый. Щеки, к которым подступала борода, побагровели.

— Нельзя так, Александр Леонтьевич. Нельзя выносить отсюда наши медицинские бумаги. Вот мне она понадобилась, а...

— Что вы волнуетесь? Такую же запись, сколько мне известны ваши правила, вы найдете и в истории болезни. Придете к себе, прочтете. Не так ли?

Каждой своей репликой Онисимов длил экзекуцию. Его собеседник, считавшийся доныне образцовым врачом и администратором, в смятении смотрел на опять приоткрывшийся в улыбке оскал, на пестираемые тени обреченности, притемнившие лицо и руки этого человека, подхлестывавшего еще год назад министров. «Все знает. Все наши порядки». Тянуло как-либо приличней закруглиться и уйти.

— Ага, ага... Теперь будем воздействовать более эффективно. И более тонко. Вы понимаете?

Конечно, Онисимов мог бы еще незримым кнутиком стегнуть взволнованного толстяка, но вдруг будто угас. И лишь промолвил:

— Понимаю.

Вспотевший, вымотанный этой беседой, профессор наконец распрощался, покинул палату-полулюкс. И, шумно отдуваясь, спустился по лестнице в свой кабинет. Запер дверь на ключ. Вынул из шкафа папку, в которой хра-

нилась вся документация о больном Онисимове... Перелистал. Снова вернулся к первой странице. Еще раз все прочел. Что за черт — тут ни о каких грелках ни словечка! Значит, Онисимов попросту, что называется, взял его на пушку?! Ну, извините, дорогой, к вам я больше не ходок.

...А Онисимов лежал, не раздевшись, не сняв галстука, презрев этим неизменную свою аккуратность, на широкой, как бы вовсе не больничной, красного дерева кровати. И глядел в стену.

Принесли обед. Больной покорно встал, вяло поел. Потом все-таки переоделся, повесил костюм в шкаф, прилег на постель в пижаме. И снова уставился в стену.

В послеобеденный час к нему наведалась жена. Белый, застегнутый спереди халат строгими прямыми линиями подчеркивал прямизну ее стана, ее шеи, твердо державшей седеющую, гладко причесанную голову. Александр Леонтьевич поднялся и, стараясь не утратить самообладания, сказал:

— Есть новости. Меня переводят в санаторий. И назначена рентгенотерапия.

Вдруг он ощутил странную теплоту в уголках глаз. Провел рукой. Слезы вопреки воле катились по серым щекам.

43

Примерно час спустя Елена Антоновна дозвонилась Соловьеву в его кабинет главы Института терапии.

— Николай Николаевич, говорит Онисимова. Извините, что я...

Ее звучный грудной голос был сейчас неузнаваемо высоким, в мембране слышалось учащенное дыхание. Явно взволнованная, Елена Антоновна все же блюла этикет вежливости.

— ...что я вас беспокою. Очень прошу приехать к Александру Леонтьевичу.

Не стесненный ничьим взором, именитый врач поморщился. Все ясно, помочь нельзя, к чему приезжать? И произнес:

— А что случилось?

— Сегодня он заплакал. Я первый раз в жизни увидела его слезы.

— Да, представляю. Тяжело.

— Дело в том, что профессор Фоменко назначил ему

рентгенотерапию. А Александр Леонтьевич вопросами заставил его... В общем, все уяснил. И когда я пришла, стал мне рассказывать, и потекли слезы. Я прошу вас, приезжайте и что-нибудь ему скажите. Он вас охотно повидает. Никого другого сейчас видеть не хочет.

— Не знаю. Тут есть одна неловкость. Собственно говоря, я для этой больницы посторонний.

Несмотря на взволнованность, Елена Антоновна уже предусмотрела такое сомнение.

— Профессор Фоменко тоже просит вас. Я и звоню из его кабинета.

— Хорошо, немного подождите. Приеду.

Кончив разговор, Николай Николаевич вздохнул. Придется сегодняшние планы изменить. Что же, надо попытаться успокоить Онисимова, как-то ослабить психическую травму. Быстро отдав несколько распоряжений, наведя порядок на письменном столе, Соловьев вызвал машину и, легкий, стройный, элегантный, прикрыв шляпой седой венчик, поехал в больницу, где лежал Онисимов. Признаться, снискавший широкое признание терапевт недолюбливал это выделенное среди иных лечебное заведение: еще в сталинское время он разрешил себе сказать, что там рентгеном просвечивают не столько больных, сколько врачей. И в стране и во всем мире многое с тех пор переменилось, но медицинские порядки, как однажды, имея в виду все ту же больницу, пошутил Соловьев, выстояли.

В проходной для Соловьева был уже заготовлен пропуск. Приехавшего врача-ученого встретил в коридоре второго этажа бородатый заведующий отделением, уже избавившийся от ложных тревог, опять обретший располагающее благодушие. Он потащил к себе в кабинет своего изящного собрата.

— Уф, я с ним, Николай Николаевич, натерпелся. Он все понимает. Всю игру нашу разгадывает. И больше я к нему не пойду. Да и вам бы не советовал.

— Все же надо заглянуть. Хоть из уважения.

— Ну, вольному воля. Милости просим.

Фоменко пододвинул гостю лежавшую на столе папку. На обложке значилось: «История болезни № 2277, А. Л. Онисимов». В папке покоилось уже несколько десятков исписанных страниц. Соловьев их полистал. Они содержали не только историю данного заболевания (анамнез морби, как говорят медики), но и своего рода историю жизни (анамнез витэ). Сведения, занесенные

сюда, уже не были новы для Соловьева, но сейчас предстали будто выстроенными в некий ряд.

До 1937-го здоровье было крепким. В 1937-м — острый гастрит. В 1938-м начал курить. Умнице врачу комментариев тут не потребовалось: неимоверным нервным напряжением, страшными сшибками отмечены эти два года в онисимовской анамнез витэ. Недешево, видимо, он уплатил за то, что Сталин не тронул его, не лишил доверия. И пошли болезни. Атеросклероз... Гипертония... Эндартериит... Лечился на ходу...

И еще одна дата: 1952-й. Дрожание рук с этого года. Тоже памятное время.

Бог миловал, Соловьева никогда не звали врачевать Сталина. Да и вообще судьба избавила от личного знакомства с Иосифом Виссарионовичем. Онисимову же, конечно, довелось ближе узнать, каким стал Хозяин в старости. И несомненно, испытать новые разрушительные сшибки, потрясения.

Дальше опять даты. Начало настоящего заболевания больной относит к 1957 году. В предыдущие годы не обследовался. Скрытая стадия предположительно уже протекала и в 1956-м. Пятьдесят шестой. Знаменательная полоса. Но тут, видимо, совпадение лишь случайное. И хватит социологизировать. Надобно пробежать и анамнез морби.

...Неопределенные тупые боли в грудной клетке. Тяжесть за грудиной с ощущением недостатка воздуха. Небольшой кашель, иногда усиливающийся. В волосистой части головы и под мышкой узлы размером до горошины. Биопсия узла: наличие раковых клеток. Исследование мокроты: отдельные клетки раковой ткани. Рентген: в обоих легких уплотнение.

А вот среди ежедневных записей заключение консилиума, подписанное и Соловьевым: «Двусторонний опухолевый процесс в легких с множественными метастазами. Операция не показана».

Далее опять записи изо дня в день. Затем разгонистым почерком, уже как бы без заботы об экономии места вписаны заключительные строки: целесообразен перевод больного в санаторий, применить там рентгенотерапию. Указаны и дозы облучения. Столь же разгониста и подпись: Фоменко. Ясное дело: рентген назначен для очистки совести. А что, впрочем, применять иное?

Проглядев папку, Николай Николаевич еще некоторое время беседует с заведующим отделением. Тот, по-

ступаясь самолюбием, повествует, как Онисимов его нынче одурачил.

— Он и вас, дражайший, помяните мое слово, вгонит в пот.

— Как знать... Быть может, и не вгонит.

Затем они условливаются о дальнейшей тактике в отношении прозорливого больного.

В коридоре Николай Николаевич, уже натянувший белую шапочку и белый халат,— незастегнутая верхняя пуговица оставляет приоткрытым черный галстук бабочкой,— встречает Елену Антоновну. Красные пятна проступают сквозь пудру на обвисших ее щеках. Зачес седоватых волос не столь гладок, как обычно, выбилась одна-другая прядь. Автор «Общей терапии» выслушивает точный, несмотря на взбудораженность, рассказ жены Онисимова.

— Попытаюсь, Елена Антоновна, пролить немного бальзама в его душу. Попытаюсь, а там будет видно.

Поднявшись по ступеням лестницы, устланным дорожкой, Николай Николаевич стучит в дверь палаты-полулюкса. Стук остается без ответа. Соловьев решительно входит.

44

Первая комната, что являлась кабинетом и гостиной, пуста. За окном уже смеркалось, шторы задернуты, на письменном столе горит прикрытая зеленым абажуром лампа. В кругу света на брусничного отлива сукне, обтягивающем стол, виднеется раскрытая книга.

Николай Николаевич осматривается. Он не прочь сунуть и в книгу свой длинный, породистый нос. Э, так это же его собственное сочинение «Общая терапия». Открыта глава о злокачественных опухолях. И как раз та страница, где написано об эйфории, о том, что раковым больным свойственна повышенная внушаемость, готовность верить благоприятным истолкованиям, даже явному или лишь чуть замаскированному вранью.

По-видимому, Онисимов только что еще раз прочитал эту страницу, ему уже, несомненно, знакомую. Прочитал и ушел, не закрыв, не убрав книгу. Это совсем, совсем не похоже на него.

Глаза терапевта машинально пробегают по строкам. Хм, значит, тайна эйфории ведома Онисимову. Конечно, это затруднит миссию Соловьева. А то, быть может, сде-

лает ее и вовсе не исполнимой. Но все равно, надобно вступать в игру.

Он вскидывает голову, слегка взбивает обеими руками седой венчик вокруг лысины и восклицает:

— Александр Леонтьевич, ау!

Из спальни появляется Онисимов. На нем полосатая пижама, слишком ему широкая в плечах. Лампа бросает зеленоватый отсвет на его словно запыленное лицо. Мрачны запавшие глаза.

— Здравствуйте, Николай Николаевич. Рад, что заглянули. Садитесь.

— К чему у вас такая темь? Поневоле тут впадешь в мировую скорбь.

Изящный посетитель, врач шагает к выключателю. Щелк — комнату заливает сильный, но не резкий верхний свет.

Наметанным глазом Соловьев в тот же миг видит на лице Онисимова у левого уголка рта вновь проступивший узелок,— маленький, величиной со спичечную головку, очень темный, почти черный. Эта ничтожная шишечка, еще не отмеченная в истории болезни, как бы возвещала, что вопреки кажущемуся улучшению, прибавке веса, болезнь неумолимо развивается.

Онисимов подходит к столу, бросает взгляд на раскрытую книгу, отодвигает ее. Оба садятся на диван.

— Позвольте, Александр Леонтьевич, разговаривать с вами прямо.

— Пора бы... Давно об этом вас прошу.

— Так вот. Не буду скрывать: опять призван к вам как врач.

Онисимов слушает вяло, никак не реагирует. Соловьев, однако, не обескуражен, точно рассчитана его следующая фраза:

— Для этого есть свои основания.

Неожиданно чуть сконфуженная улыбка появляется на его тонком артистическом лице:

— Не сочтите, Александр Леонтьевич, что я высоко о себе мню...

На это высказывание больной опять не отзывается. Но все-таки выговаривает:

— Какие же?

— Какие основания? Дело в том, что на консилиуме мы разошлись во мнениях. Я, собственно, оказался в единственном числе. А новые, более скрупулезные анализы подтвердили мою правоту.

Автор «Общей терапии» вдохновенно сочиняет или, попросту говоря, врет. Но уже чего-то он добился, пробудил у Онисимова интерес.

— В чем же заключались разногласия?

— С вашего позволения, опять буду говорить прямо. На консилиуме я высказал мысль, что у вас не пневмония.

— Это-то я знаю.

— Не пневмония, а очень редкое и тяжелое заболевание, актиномикоз.

— Как?

— Актиномикоз. Редчайшая болезнь. Вызывается микроскопическим грибком. Лечить очень трудно. Упорнейшая штука. Иногда и несколько лет держится.

Откинув край своего белого халата, Соловьев достает блокнот и дорогую, новейшего образца заграничную автоматическую ручку. Разборчиво пишет: «Актиномикоз», вырывает листок, легко поднимается, кладет на стол. И объясняет Онисимову, какова эта болезнь,— ее происхождение, симптомы, течение. В какую-то минуту, оборвав себя на полуслове, спрашивает:

— Кстати, нет ли у вас тут с собой терапевтического справочника? Там отлично все это изложено.

Удивленный догадливостью медика, Онисимов не отвечает. Тянет сказать: «нет!», однако этому мешает доверие, которое вновь ему уже внушает Соловьев. Не хочется и выговорить: «да»— ростки доверия еще слабенькие для этого.

— И в моей книжке,— продолжает Соловьев,— найдете несколько слов об этой болезни.

Сейчас он был бы не прочь взять в руки свою книгу, раскрытую там, где идет речь об эйфории, перевернуть эту страницу, полистать, но чутье предостерегает: не возбуди подозрительность Онисимова. И Соловьев не притрагивается к книге.

— Мы это лечим рентгенотерапией,— сообщает он.— Массивными дозами. И надо быть готовым к длительной, возможно, даже очень длительной борьбе.

— Почему же Фоменко мне этого не сказал?

— Тут, Александр Леонтьевич, свои нравы. Заботятся прежде всего о том, чтобы не беспокоить больного. Не доставлять больному неприятных переживаний. Конечно, в известных пределах тут есть свой резон. Я имею в виду случаи, когда медицина складывает оружие. Но мы же вступаем в войну против вашего недуга. В войну, по-

вторяю, долгую, трудную, где наши успехи будут, вероятно, чередоваться с новыми вспышками болезни. Вы мужественный человек. Истина, как я убежден, вооружит вас для борьбы.

Александр Леонтьевич внимательно слушает. И сам не замечает, как мало-помалу притупляется в эти минуты его следовательская настороженность. Он уже не ловит собеседника, не припирает его к стенке, поддается обману. Конечно, сейчас это не тот Онисимов, каким его знавали десятилетиями.

Он трогает крохотное черноватое вздутие в левом углу рта:

— А отчего у меня вот эти пупырышки?

— Это воспаление сальных желез кожи. Самостоятельное заболевание. Таким образом, мы наблюдаем у вас две разные болезни. Хотя, возможно, и взаимосвязанные.

В общем, как впоследствии выразился Соловьев, рассказывая автору о своих встречах с Онисимовым, он, ученый-медик, городил наукообразную чушь. А Александр Леонтьевич, трогая рукой проступившие наружу узелки, находил убедительными фантазии Соловьева.

— Но для чего же меня осматривал хирург? Разве не исключена операция?

— Да, актиномикоз тоже иногда оперируют. Но пока для этого нет оснований. А, кроме того, эти сальные железы мы, может быть, тоже будем удалять. Впрочем, посмотрим. Торопиться некуда.

— Вы ко мне будете наезжать в санаторий?

— Конечно. Теперь вас не оставлю.

Александр Леонтьевич вдруг оживляется, пересаживается к столу, показывает присланные ему из МИДа папки с обзорами газет и журналов Тишландии, передает несколько курьезов-новостей из тишландской хроники. Он опять чувствует себя советским дипломатом в Тишландии, лишь на время по болезни выбывшим. Терапевт внимает с интересом, улыбается. Миловидные ямочки обозначаются на его розовых щеках. Он, конечно, сегодня выиграл эту партию. Но отлично знает: бодрость, опьянение еще не раз у Онисимова сменятся трезвым пониманием неизбежного близкого исхода. Однако опять и опять покажет себя и эйфория.

Соловьев наконец прощается. Больной провожает профессора до двери.

Вернувшись в одиночестве к столу, Онисимов достает

припрятанный терапевтический справочник, находит в указателе названную Соловьевым болезнь, проглатывает текст, затем перечитывает медленней. Да, все соответствует. Да, почти совпадает.

45

Дату следующего действия нашей хроники мы сможем точно обозначить. Ориентиром тут является всесоюзное совещание доменщиков в Андриановке, одном из металлургических центров Донбасса. День открытия был указан в пригласительных билетах: 28 октября 1957 года.

Накануне в предобеденный час со скорого поезда, идущего в Минеральные Воды, а пока что просекавшего Донбасс, на маленькой, почти безвестной станции Греки, где расписание предусматривало остановку лишь на одну минуту, сошел человек, видимо, решивший поохотиться. Высокие, обтягивавшие ногу и поверх колен болотные сапоги, потертая, даже побелевшая, некогда коричневая кожанка, истрепанная темная кепка, сетка для добычи, пояс-патронташ, двустволка в чехле за плечом — таким было хорошо пригнанное, явно не впервой надетое снаряжение покинувшего вагон пассажира. Он легко соскочил, легкой поступью пошел, но вместе с тем казался и тяжеловесом, особенно сзади, с сутуловатой широкой спины. Вот он обернулся, нашел кого-то взглядом за окном вагона, помахал рукой. Его ясные серые глаза, ставшие сейчас почти васильковыми, свидетельствуют о прекрасном настроении. Прирожденная, чуть озорная улыбка красит загорелое с грубоватой нижней челюстью лицо.

Надеемся, читатель узнал Головню-младшего. Это его родные места. Он родился, вырос в Андриановке, поступил здесь в четырнадцать лет учеником-газовщиком в доменный цех. Страстный охотник, он еще подростком, затем юношей исходил тут поля, балки, перелески на тридцать-сорок километров во все стороны от Андриановки. И, конечно, знает еще издавна, что отсюда, из Греков, можно выйти напрямую к заводскому ставку, а там и к Нижней Колонии — поселку, наименованному так еще в те времена, когда Андриановский завод принадлежал французскому Генеральному обществу.

Придется пошагать несколько часов, ну, ему только этого и надо. Завтра, как предуведомлено в повестке

дня, он выступит с сообщением, а сейчас — вон из головы доменные печи! Кстати, в вагоне только о них и разговаривали. Еще бы, ехали доменщики соседних двух заводов, да и ученая братия с кафедры чугуна Днепровского металлургического института. И, разумеется, он, директор Кураковки, был главным спорщиком. А сейчас вышел из вагона даже без записной книжки, с которой обычно не расставался. Нарочно ее не захватил. В ней мысли о заводе. Задания самому себе. Кое-какие еще надобно вынашивать. К другим уже приложить руки. Но сегодня из этого он выключится. Пусть голову провеет, прочистит ветерок, тем более нынче он, кажется, крепко задувает.

Над станцией разносится протяжный гудок отправления. Петр все еще посматривает на вагон, в котором ехал. Сквозь оконные стекла кураковцы,— из них лишь двое в летах, остальных иначе не назовешь, как молодыми,— кивают директору-охотнику, оставившему на их попечение свои вещи. Состав трогается, набирает ход. Еще минута-другая — и поезд уже неприметен, видны лишь далекие космы паровозного дыма.

Выбираясь из пристанционного поселка, Петр с двустволкой за плечом шагает по обочине вдоль полосы асфальта, устремившейся к скрытой за горизонтом Андриановке. Туда и оттуда с шумом проносятся грузовики, порой прошелестит и легковушка. День выдался солнечный, но неожиданно морозный для такой поры. Да еще и с ветром. В тени, пожалуй, три-четыре градуса ниже нуля. Трава на теневом склоне кювета закуржавела.

Петр идет ходко. Вон за тем мостом он свернет в степь, направится к темнеющему невдалеке облетевшему кустарнику. Но что это? Обогнавшая Петра черная, играющая солнечными бликами «Волга» вдруг резко стопорит, потом задним ходом катится к нему. И снова останавливается. Из раскрывшейся дверцы высовывается академик Челышев. Под воротом серого осеннего пальто виден такого же колера шерстяной шарф. Подобрана в тон и пушистая красивая кепка. Приветливы взирающие на Петра маленькие глазки. Петр с уважением кланяется.

— Еду и гляжу,— говорит Челышев.— И себе не верю. Неужели Головня? Ан и впрямь он! Но как сие надо понимать?

Головня улыбается:

— Я тоже, Василий Данилович, затрудняюсь: как мне эту встречу с вами трактовать?

— У меня-то дело ясное. Прибыл самолетом. Теперь везут полным ходом в Андриановку.

— Я не о том. Добрая встреча — хорошая примета для охотника.

— Да как же вы тут заделались охотником?

— Сошел с поезда и вот...

— И пехтурой до Андриановки?

— Пройдусь. Может быть, и дичина какая-нибудь подвернется.

— Бросьте. Какая тут теперь дичина? Местные силы, наверное, еще летом все повыбили. Лучше садитесь-ка ко мне.

— Спасибо, Василий Данилович. Но мы, охотники, народ особенный. Не уговорите.

— Придете же ни с чем.

— Еще, пожалуйста, пожелайте неудачи. Превосходная примета.

— Ну вас... Все равно зря. Говорю по-дружески.

— По-дружески?— В уголках некрупных губ Петра возникает тонкая усмешка.— И чистосердечно?

Неожиданно Василию Даниловичу понадобилось прокашляться. Маленькие глаза скрылись под косматыми бровями. Это, однако, не останавливает Головню:

— Разрешите, Василий Данилович, я так и запишу.— Все с той же проступающей усмешкой Петр делает вид, будто достает записную книжку. И незримым карандашом как бы строчит, произнося вслух:— «Скажу по-дружески и чистосердечно: придете же ни с чем». Теперь поставим нынешнее число.

Затем Петр прячет свою воображаемую книжку. Челышев наконец откашлялся.

— Стало быть, со мной не едете? Ну, до свидания.

Дверца захлопнулась. Фыркнув, машина уходит в Андриановку.

46

Еще никогда Головня-младший не позволял себе напомнить Василию Даниловичу о том, как в первую зиму войны в коридоре наркомата, эвакуированного на Урал, достал записную книжку, застрочил. Сегодня впервые намеком коснулся того давнего случая.

Сколько же с тех пор протекло лет? Почти семнадцать.

Да, они повстречались вечером седьмого ноября 1941 года — в праздничный день еще одной годовщины Советского государства. Впрочем, было не до праздников. Наркомат работал и седьмого ноября. Лишь поутру в честь годовщины в просторный, хотя и заставленный письменными столами холл гостиницы, что стала служебным пристанищем подчиненных Онисимову управлений и отделов, сгрудились все сотрудники и молча внимали так называемой радиотарелке, которая транслировала парад войск на Красной площади в Москве. Затем богатый оттенками дикторский голос, доносивший самим своим звучанием серьезность, торжественность исторических минут, прочитал вчерашнюю речь Сталина.

С третьего этажа в холл спустился и Онисимов. Прослушал передачу, стоя рядом с подчиненными, хотя мог бы воспользоваться отличным радиоприемником, находившимся в его кабинете. Причесанный с обычной тщательностью — волосок к волоску, как всегда, замкнутый, державший всякого на расстоянии некоторой своей официальностью, Александр Леонтьевич почти не изменился в пору войны. Только слегка потемнело правильное, античного рисунка лицо или, точней, усилился коричневый его тон. Угрюмая тень стала особенно заметной с того дня, когда Онисимов, все еще не покидавший своего командного отсека в Москве, введший там для немногочисленного аппарата, оставшегося с ним, казарменное положение, в чем первый же служил для всех примером, вдруг получил распоряжение немедленно покинуть столицу. И в переполненном дачном вагоне уехал на Восток. Здесь, на Урале, постоянно с ним общаясь, Челышев еще не видывал его улыбающимся.

По окончании передачи Онисимов коротко сказал:

— Товарищи, теперь за работу. По местам!

Пожалуй, в тот день Онисимов еще повысил напряжение трудовых военных будней. Даже с Челышевым, в чем-то промешкавшим, говорил колко.

Вечером Василий Данилович в маленьком своем кабинете, ранее являвшемся гостиничной келейкой, занимался кропотливым делом — планами размещения эвакуированных цехов, привязывания к заводам Востока. Хорошо, что еще в тридцатых, когда строилась Новоуралсталь, он тут изъездил, исходил и Магнитку, и

Нижне-Тагильский комбинат, и многие старые, тогда тоже вовсю обновлявшиеся заводы и заводики.

Помнится, в тот вечер седьмого ноября он все перебирал, перекладывал листы синек — на каждой белыми и цветными линиями была нанесена планировка того или иного восточного завода,— листы, уже испещренные его пометками.

Ранние уральские морозы разузорили, подернули наледью окно. Слышалось, как посвистывает, завывает поземка.

В какую-то минуту затрещал телефон. Звонил Онисимов:

— Василий Данилович, зайдите ко мне.

Ступив в кабинет наркома, Челышев не без удивления узрел повеселевшего Онисимова. Налет пасмурности был словно смыт. Казалось, коричневый отлив стал посветлей, живая краска, что-то вроде румянца, просквозила на щеках. Неожиданная открытая улыбка тоже его красила.

— Садитесь,— предложил он Челышеву, но сам остался на ногах.

Чувствовалось, его бьет озноб возбуждения. Что же с ним? Что произошло? Заинтересованно ожидая дальнейшего, Василий Данилович уселся. Не подвергая испытанию терпение академика, Онисимов без предисловий сообщил:

— Только что со мной говорил Хозяин.— Откуда ни возьмись, высокие ноты, молодая до странности звонкость изменили на миг голос Александра Леонтьевича.— Нам поставлена задача: строить новые заводы. И с таким расчетом, чтобы быстрее взять отдачу. Надо разработать план и доложить наши предложения.

Александр Леонтьевич уже обрел деловой тон. Однако с не свойственной ему словоохотливостью и опять улыбаясь, продолжал:

— А? Что скажете, Василий Данилович? Немцы под Москвой, а Хозяин из Москвы дает команду: стройте новые заводы!

Василий Данилович помолчал. Ему требовалось некоторое время, чтобы подумать, пережить услышанное. Но, помнится, на душе полегчало.

Не раз в те смутные горькие недели на ум приходило: выстоим ли? Выдюжим ли эту войну, самую страшную, самую грозную из всех, какие знавала Россия? Та-

кие вопросы томили академика, жили в нем подспудно, чем бы он ни был загружен. Даже во сне маяли.

Перед войной Челышеву была доступна иностранная печать, предупреждавшая, что гитлеровские армии уже сосредоточены у советских границ, что вот-вот произойдет нападение. Потом, когда предостережения оправдались, он неуверенно, туманно прозревал, что в военных неудачах, несчастьях повинен чем-то Сталин. Но как же это так: готовил страну к войне, а грянул час, сам же оказался не готовым к ней?

Не в силах разъяснить подобные разительные противоречия, найти к ним ключ, отнюдь не помышляя о формуле, лишь много лет спустя примененной к Сталину: пороки личности, он не задерживался на этих бесплодных, как ему казалось, думах.

Но неужто теперь самое худое позади? Утренняя передача из Москвы вселяла веру. А этот звонок Сталина Онисимову уже и вовсе добрый знак. И все же истосковавшийся по желанным вестям Василий Данилович еще не решался, не смог вздохнуть полной грудью.

— Ежели такое поднимать,— проговорил он,— где же по нынешним временам достанем механизмы? И строителей?

— Это предусмотрено. Лаврентию Павловичу поручено сформировать для нас стройорганизации. Народу в его системе хватит. Да и всего прочего. Зарекомендовали они себя неплохо. Работать будут. Не было бы за нами остановки. Надо составить точные заявки. И готовить рабочие чертежи.

По-прежнему весело, воодушевленно Онисимов излагал задачу. Теперь и лагеря, где не столь давно сгинул его брат, сосредоточившие за колючей проволокой, будто на некоем ином свете, массы заключенных, предоставляли ему как трудовые соединения, высокодисциплинированные, легко поддающиеся перебросками, необходимым в условиях войны.

Александр Леонтьевич сел за стол, придвинул большой блокнот и, советуясь с Василием Даниловичем, стал тут же набрасывать план сооружения новых сталелитейных заводов. Своим твердым карандашом каллиграфическим почерком он записывал пункт за пунктом. Прежде всего форсированно завершить, ввести в строй первую очередь Южно-Уральского трубного. Вместе с тем выстроить Челябинский — площадка выбрана, готовый проект уже имеется. А также Бакальский — проект

тоже подготовлен. Челышев предложил перекинуть на Бакальскую площадку недостроенный Курский завод, где перед войной уже начался монтаж первых печей, но оказавшийся вблизи линии фронта, вследствие чего работы остановились. Онисимов сказал:

— Да, выроем там все из-под земли. Все вывезем до грамма.

Тут в кабинет почти неслышно ступил начальник секретариата лысый Серебрянников. Как бы неторопливой и все-таки быстрой походкой он прошагал к наркому:

— Александр Леонтьевич, приехал Головня-младший. Ждет в приемной.

— Пожалуй, это кстати. Давай его сюда.

47

Вошедший Головня еще не отогрелся с мороза. Малиновым огнем горело иссеченное вьюгой горбоносое, ясноглазое, с массивной нижней челюстью лицо. Красными были и руки, которые, видимо, так и оставались голыми на стуже. Коричневую кожанку (не она ли в будущем обратилась в охотничью спецовку Петра?) он стянул в талии ремешком, чтобы не поддувало снизу. И забыл, входя к наркому, снять эту пригодившуюся на ветру опояску.

— Здравствуй,— произнес Онисимов.— В такой одежонке ты и щеголяешь?

— Вчера выехал из Орска. Там тепло. А у вас тут, ух,— Головня крякнул,— морозище.

— Садись. Отчет об эвакуации завода привез?

— С этим и прибыл. Только позавчера закончили.

— Все оборудование на месте? Ничего не растерял?

— Потерянное мы, Александр Леонтьевич, разыскали. Отчет подписали и ваши контролеры. Документация в портфель не влезла, пришлось укладывать в чемоданчик. Принести?

— Успеется.

Онисимов задал еще несколько вопросов о том, как размещены рабочие, как обеспечено складирование и сохранность демонтированных, вывезенных из Приднепровья агрегатов, какие из них уже собраны или пошли в сборку на новых площадях. Собственно, он и без того был досконально информирован, отлично знал, что снарядный цех Кураковки уже развернут в Златоусте, уже прокатывает, штампует сталь, хотя над

станом еще не выведена кровля. Однако, следуя твердому правилу, он и сейчас перепроверял имевшиеся у него сведения.

Челышев помнил, как еще в Москве в лихорадочные ночи и дни, когда эвакуировались южные заводы, Онисимов словно усугубил свою педантичность, пунктуальность. Не раз Челышеву доводилось наблюдать, как Онисимов по телефону требовал от того же Головнимладшего, отправлявшего под раскаты орудийной пальбы состав за составом из Кураковки, маркировать каждый большой и малый ящик, оформлять вместе с железнодорожниками акты, квитанции, накладные, не выпускать ни одного вагона без сопровождающих. Туда, в самое пекло, Онисимов на попутных военных самолетах посылал работников своего аппарата контролировать ход эвакуации. И закатил однажды взбучку вот этому молодому Головне, когда кто-то из посланных сообщил, что горловина бункера и какие-то части грейферного крана были в спешке, в горячке вывезены незамаркированными. Установленный Онисимовым порядок маркировки был таков: каждая деталь того или иного демонтированного агрегата метилась одинаковой буквой, затем следовала цифра. Головню же постиг и другой немилосердный нагоняй из-за того, что экскаватор, у которого порвалась гусеница, остался непогруженным. Наконец из Кураковки ушел последний поезд. Связь еще действовала, Петр доложил, что отправляет и грузовики с группой подрывников, выполнивших свою миссию, и просил разрешения покинуть завод с ними. Онисимов ответил: «Нет. Вот чем еще займись: собирай, выстраивай рабочих, которые еще не эвакуировались. Уходи с ними. Веди в Донбасс пешей колонной».

Бывало, прислушиваясь к таким командам наркома, Челышев из-под нависших бровей невольно любовался им, уверялся: «Победим».

Головня-младший так и ушел из Кураковки пешком. И не в одиночку.

А потом, уже на Урале, потребовалось согласно непреложному приказу наркома не только комплектно собрать все, что было вывезено, но и представить подробнейший, оснащенный документами отчет об эвакуации — отчитываться в каждом израсходованном государственном рубле, в каждом механизме, каждом мотке кабеля, числившемся на балансе завода.

Пропавшие, отцепленные в пути вагоны были ра-

зысканы в станционных тупиках. Пришлось распутывать маркировку, просматривать в натуре каждую мету, сличать с документацией. Специальная комиссия с участием ревизоров наркомата подписывала всякие акты, инвентарные реестры, дефектные ведомости и так далее. После кропотливейшей работы Головня смог наконец явиться с отчетом к Онисимову.

Порасспросив, Александр Леонтьевич встал из-за стола. Прошелся, достал из кармана голубоватую картонку папирос «Беломор» (война прервала выпуск любимых его сигарет) и неожиданно протянул Головне:

— Тащи! В передрягах и ты, наверно, стал курящим?

Безмолвно взиравший Василий Данилович опять ощутил, что Онисимов необыкновенно возбужден. Не в правилах строгого наркома было угощать папиросой подчиненного.

— Не угадали, Александр Леонтьевич. Не курю. Спасибо.

Чиркнув спичкой, Онисимов глубоко вобрал и выпустил дымок. Челышев во второй раз услышал:

— Только что со мной говорил Хозяин.

Теперь эти слова были обращены к Головне-младшему. Не пряча счастливой взбудораженности — лишь слегка приторможенная, она пробивалась сквозь его всегдашний панцирь,— Онисимов опять пересказал: решено строить новые заводы, строить быстро, чтобы поскорее взять отдачу. Он, видимо, в точности повторял выражения Сталина. Большая, на коротковатой шее, голова повернулась к неизбежному портрету на стене:

— Понимаешь, какую он видит перспективу!

Нарком присел, но тотчас поднялся, заходил.

— Ну, как же быть с тобой? Дело тебе найдется. Кстати, ты и приехал без портфеля.

Он засмеялся своей шутке. Или, говоря точней, будто вытолкнул из горла несколько отрывистых, глухо бухающих звуков. Смех не был ему свойствен. Во всяком случае, Челышев отметил тогда в своей тетради, что Александр Леонтьевич доселе еще никогда при нем не хохотал.

— Итак, товарищ экс-директор, или директор без портфеля, куда тебя назначить? Что ты хотел бы сам?

— Готов взять любую работу, где буду нужен.

— А если пошлю не директором завода?

— Что же, готов. Я бы не прочь пойти к большим печам, скажем, на Новоуралсталь.

— Нет, там полно. На Бакальский завод пойдешь?

— Какой?

— Бакальский. Там, собственно, еще ничего нет. Пока только площадка, нетронутый березнячок. Но проект имеется. Имеются и директор, и главный инженер.— Онисимов назвал фамилии.— Геодезисты, сколь знаю, кое-где вбили колышки, нанесли главные оси. Теперь развернем, погоним стройку. Дело интересное. Согласен идти туда начальником доменного цеха?

— Пойду.

— В таком разе приступай. Езжай сначала на площадку, потом в Челябинский филиал Гипромеза. Основательно изучи проект.

Продолжая пункт за пунктом конкретизировать задачи, что предстояли Головне-младшему, Онисимов нажал кнопку звонка. Незамедлительно вошел Серебрянников.

— Слушай, кажется, у нас на складе есть какое-то зимнее обмундирование.— Александр Леонтьевич вымолвил: «кажется», «какое-то», хотя превосходно знал, сколько полушубков, сколько валенок имелось в кладовой наркомата.— Сумеем одеть, обуть начальника доменного цеха,— движением головы он указал на Головню,— Бакальского завода?

Благообразное лицо секретарских дел мастера не выразило ничего, кроме внимания:

— Сумеем, Александр Леонтьевич.

— Так озаботься!

Серебрянников улетучился. Онисимов сказал Головне:

— Иди, обмундировывайся. Съездишь на Бакальскую площадку и в Челябинск, потом опять ко мне приедешь. Отчет оставь, сдай по команде. Рассмотрят без тебя.

48

Новоявленный начальник доменного цеха не поспешил, однако, выйти. Лицо еще горело, но уже не малиновым тоном. Краснота смягчилась и на пальцах, длинных и вместе с тем с широкими подушечками, как бы слегка расплющенными, над которыми живым блеском отсвечивали коротко стриженные, крепкие ногти.

— Александр Леонтьевич, у меня к вам просьба.
— Выкладывай.
— Разрешите мне на одной печи ввести в проект мое устройство.
— Опять ты за свое... Не намеревался я в такой день ссориться с тобой, но куда денешься? Читал твою статью в «Сталеплавильщике». И влепил выговор редактору. Зачем помещает эту,— Онисимов, видимо, поискал мягкое словцо, но привычная резкость, острота взяла свое,— эту твою блажь?!
Головня все же попытался убедить наркома, сказал, что затраты будут совсем невелики, почти незаметны в масштабе крупного строительства.
— Не надо!— отрезал Онисимов.— Не забивай голову ни себе, ни мне этими затеями. Никаких отклонений от чертежей Гипромеза не позволю. Это лучшие американские стандарты. Они отобраны не с кондачка. Василий Данилович тут спуску не давал.
Челышев буркнул:
— Ежели распустить публику, косточек не соберем.
— Ну, подвели черту,— заключил Онисимов. Отбросив раздражение, он снова привлекательно, открыто улыбнулся.— Обмундировывайся и выезжай! Приказ о назначении пошлем тебе вдогонку.

...Примерно через час, идя коридором от Онисимова, Челышев опять увидел Головню-младшего. Тот был уже обряжен в новехонький, еще словно в белой пыльце, нагольный полушубок до колен, в необмявшиеся серые валенки. Меховую ушанку, тоже ему выданную, он держал в руке, на которую уже натянул толстую шерстяную рукавичку. Шагая навстречу академику, Головня, в отца сутуловатый, неожиданно развернул плечи и, как бы отдавая честь, поднес свободную руку к рыжеватому зачесу.

Оба остановились. Маленькие глазки Василия Даниловича приветливо оглядели Головню.

— Не хотелось,— проговорил Челышев,— высказываться при Онисимове о вашей статье. Я с ней познакомился.

Челышев разумел все ту же публикацию Петра в научном журнале «Сталеплавильщик», где автор обстоятельно, с чертежами и расчетами, описал свой способ форсировки хода доменных печей.
— Познакомились и...?

— Скажу дружески и чистосердечно: ничего у вас, молодой человек, не выйдет.

К удивлению, Головня словно ничуть не огорчился. Сдернув варежки, сунув их под мышки, он быстро добыл из-под полушубка записную книжку, карандаш и с усмешкой, над которой был, видимо, не волен, объявил:

— Василий Данилович, с вашего разрешения зафиксирую. «Дружески и чистосердечно: ничего у вас, молодой человек, не выйдет». Так? Не возражаете?

— Хм... Пожалуйста.

— Теперь обозначу дату: седьмое ноября 1941 года. Когда-нибудь, Василий Данилович, напомню вам об этом.

Головня поднял голову от записной книжки. Челышеву снова предстали васильковые, нимало не подернутые утомлением глаза, дерзновенная усмешечка, косо пролегший на лбу шрам.

Именно в этот миг Василий Данилович вдруг совсем распростился с душевным смятением, так долго его мучившим, бесповоротно поверил: победим! Такова была она, некая последняя капля, которой он жаждал. Ею еще не стал телефонный звонок из Москвы, пересказанный неузнаваемым в тот вечер Онисимовым.

А тут въяве, воочию... Пожалуй, лишь в следующую минуту ощущение претворилось в отчетливую мысль. Да, если этот молодой Головня, чего только не навидавшийся, ведший эвакуацию под огнем, пешком выбравшийся из опустелой Кураковки, проехавший в теплушке через пол-России, если уж он преспокойно говорит: «Когда-нибудь, Василий Данилович, напомню вам», значит... Значит, различает впереди неоглядное время, ему принадлежащее. Ему и нам!

Волнение, подъем были такими, что даже грудную клетку заломило. Переведя дух — вот он, наконец, глубокий полный вздох,— Василий Данилович ничего не сказал, пошел к себе.

...Потом случилось вот что.

В 1945 году, уже после того, как была отпразднована Великая Победа, Челышев во главе группы металлургов съездил или, верней, слетал за океан.

И среди прочих новостей привез такую: на нескольких доменных печах Америки применен способ, а также и конструкторские решения, впервые введенные в Кураковке Головней-младшим. Производительность печей

действительно повысилась. По-видимому, вся доменная Америка постепенно усвоит этот способ.

— Я тут промазал,— откровенно признался Василий Данилович.

Онисимов невозмутимо отнесся к этой новости, обошелся без покаянных восклицаний. Однако к Петру Головне, который опять директорствовал на старом месте, в возрожденной Кураковке, стал относиться лучше. И дал команду опробовать на двух-трех заводах его устройство.

Но Петр не унимался. Пользуясь всяким случаем, заявлял, что способ почти не используется, внедрение идет крайне медлительно.

И, наконец, в 1952 году — как раз по случайному совпадению в те дни, когда из-за печи Лесных Онисимову пришлось испытать на себе холодное негодование Сталина,— Головня-младший обратился с письмом-жалобой в Центральный Комитет. Историю сшибки — употребим здесь это слово в прямом его значении,— схватки директора завода и председателя Государственного Комитета нам в этой книге не рассказать: конструкция не выдержит такой нагрузки. Перипетии столкновения, иногда поразительные, постараюсь изложить в одном из следующих томиков задуманной автором серии — изложить, не комкая, в сплетении с большими вопросами времени, сохраняя верность, насколько это мне дано, исследовательскому духу, объективному взгляду. Там опять автору поможет дневник Челышева.

Сейчас машина несет Василия Даниловича, слегка подремливающего, в Андриановку. Черт побери, Петр все-таки его подшпилил. А раньше никогда того казуса не задевал. Дяденька с характерцем! Но что он тут ухлопает? А вдруг? Чем черт не шутит?

49

Вечером Василий Данилович Челышев сидит в тихой, хорошо протопленной комнате дома приезжих.

Когда-то, будучи здесь, в Андриановке, главным инженером завода, он жил некоторое время как раз в этом одноэтажном старом доме, сложенном из плитняка. Да и потом, наезжая в Донбасс, колеся по заводам, тут не однажды обитал.

Прикатив сегодня в Андриановку, Василий Данилович весь день провел на людях, провернул два летучих

заседания, разговаривал со всякими старыми знакомыми, наскоро прошелся по заводу, обедал у директора и, наконец, был отпущен на покой в эту теплую славную комнату. Сменил здесь костюм на вольную пижаму, прилег, но недолго повалялся.

Завтра в городском театре ему предстоит открывать совещание доменщиков. Произнести вступительную речь. Что же он скажет?

Вспомнилось недавнее собрание, на котором он, юбиляр, отвечал на приветствия. Как ни суди, дата изрядная — семьдесят пять. По сему поводу Василия Даниловича наградили орденом Ленина, уже не первым. В газетах напечатали портрет. Устроили и торжественное заседание в его честь. Пришлось, ничего не попишешь, и ему выйти на трибуну в набитом зале под ослеплявшими киноюпитерами. Не разделавшийся и в старости с застенчивостью, от которой в свое время, юношей, дико помучился, Василий Данилович, ей-ей, предпочел бы в юбилейный день находиться где-нибудь подальше от Москвы. И пускай бы его дата отшумела без него. Однако, признаться, не только застенчивость вызывала этакое намерение ускользнуть. Василий Данилович, кроме того, втайне попросту боялся: вдруг молодежь будет блистать отсутствием на юбилейном заседании. И он к своему сраму обнаружит, что уже не интересен, не нужен молодому металлургическому племени. Ей-ей, лучше бы уехать. Но не получилось, не позволили. И вышло в конце концов очень хорошо. Новое поколение заполнило и верхний ярус, и задние ряды внизу, даже у стен теснились молодые люди. Тронутый этим, Василий Данилович разговорился, разошелся в своей речи. Допустил, наверное, и стариковские нравоучения, и длинноты, подчас, что называется, жевал мочалу,— кому же не известно, что Челышев в ораторы негоден?— и все-таки его слушали не кашляя. Тот вечер ему будто вновь даровал его давнее, не внесенное ни в какие штатные списки звание Главного доменщика советской страны. Ему хотелось, глядя в стихший зал, ни единым словом не сфальшивить, высказать без высокопарности что-то самое главное, чего в обыденности не говоришь.

— Я благодарен,— не очень складно, не бойко произносил он,— что пришлось участвовать в походе старой России в новую Россию. Считаю это самым большим счастьем своей жизни.— Дальше он говорил о чудесах, случившихся на его веку металлурга. Пора первых пятиле-

ток. В разоренной, отсталой стране вырастают могучие заводы, о каких когда-то толковал Курако в «доменной академии» у ветхих печей Юзовки. Нет, о таком размахе, пожалуй, и он не фантазировал. Этого не назовешь иначе как чудом.

Поразительным было и второе чудо, вторая неожиданность. Челышев рассказал собравшимся, как в 1943 году видел в Донбассе, в Приднепровье разрушенные отступившей гитлеровской армией заводы. Все было будто растоптано, превращено в бесформенные груды кирпича и скрученного взрывами железа. Думалось, этого уже не восстановить. Но потребовалось лишь несколько лет, чтобы сметенные, казалось бы, с лица земли заводы встали из праха — встали еще более могучими, более прекрасными, чем прежде.

Его речь на юбилее была помещена в виде статьи в газете. Редакция несколько удивила юбиляра, поставив заголовок «Третья неожиданность». Да еще и добавила несколько словечек неумеренного — совсем не в стиле Челышева — восхваления разных нынешних реорганизаций. Правда, старик понимал, что сам дал некоторый повод для этого, сказав на вечере о неожиданно хлынувших новинках производства, которыми и он, директор Научно-исследовательского центра металлургии, подчас пренебрегал,— новинках, освобожденных от препон, от ставшего привычным «запрещается».

Прочитывая гранки, присланные ему на подпись, Челышев порой внутренне морщился, но все же по обыкновению не вступил в спор, подмахнул статью.

Вчера он увидел этот номер газеты на диване у Онисимова, навестив его в больнице. Неловко получилось. Помнится, Онисимов поймал взгляд Челышева, покосившегося на газету. Поймал и отвернулся. Сделал вид, что не заметил.

Черт побери, вчера в суете Челышев так и не сумел взяться за дневник, не записал, как свиделся с Онисимовым. Долг велит теперь это проделать. Надо также занести на бумагу и свои сегодняшние впечатления.

Крякнув, Василий Данилович достает тетрадь, ему всюду сопутствующую, садится к столу, берется за ручку-самописку.

50

Воспользуемся же опять записями Челышева, не ленившегося исправлять службу, которую сам себе назна-

чил: вверять дневнику свои свидетельства о веке, о новой земле, какой он принадлежал.

Поднявшись в знакомую нам палату-полулюкс, Челышев застал Александра Леонтьевича в гостиной-кабинете. Порядок в комнате, всегда свойственный Онисимову, был нарушен словно бы сборами в дорогу. На стуле и на круглом столе расположились два чемодана с откинутыми крышками, уже частью заполненные папками, книгами, одеждой.

— Как видите, укладываюсь,— бодро объяснил Онисимов.— Переправляюсь в «Щеглы».

Он встретил гостеприимной улыбкой надевшего, как требовали правила, белый халат, верзилу-академика. Челышеву меж тем показалось, что больной на какое-то мгновение пристально в него вгляделся, словно стремясь что-то прочесть, разгадать в его чертах. Может быть, тайну своей болезни. Но тотчас зеленоватые глаза утратили эту тревожную пытливость. Онисимов опять улыбался. Да и выглядел вовсе не плохо. Во всяком случае, не так худо, как Челышев приготовился узреть. Примесь золы в желтоватом лице не была пугающей. Однако над левым углом рта вспухла темная горошина. Медицинская сестра, провожавшая Василия Даниловича в палату, предупредила: не покажите удивления, когда увидите на лице шишечки. Вон еще одна на лбу у самой границы так и не тронутых сединой волос.

В ту же первую минуту встречи академик приметил: больной Онисимов вовсе не опустился. Щеки, лишь слегка ввалившиеся, были свежевыбриты. Одет, словно на службе, в хорошо отглаженную пиджачную пару: не изменил и темно-серому аккуратно завязанному галстуку.

— Пожалуйте,— продолжал Онисимов.— Могу теперь не только по телеграфу вас поздравить.

Челышев, разумеется, помнил: на юбилейном заседании была оглашена и теплая телеграмма Онисимова.

— Благодарю, благодарю... Дело уже, слава богу, прошлое.

Следуя пригласительному жесту Александра Леонтьевича, Челышев уселся на диван. Притулившаяся здесь же диванная подушка была скрыта под горкой газет. Вот тогда-то Василий Данилович невзначай увидел, что сверху лежит тот самый номер «Известий», где была напечатана его статья. Испытывая неловкость, он отвел глаза, насупился. И вдруг снова встретился со взглядом Онисимова. Тот невозмутимо посмотрел в сторону, будто

ничего и ие заметил. Для Челышева это стало зиаком, что Оиисимов сейчас ие хочет затрагивать иекоторых тем, отворачивается от каких-то истии, как бы оберегает себя. Что же, и Василий Даиилович постарается иичем ие задеть больного.

— Мие, Александр Леоитьевич, тут уже собщили иасчет вашего переселеиия. Дело хорошее.

Онисимов почти иебрежио спросил:

— Вы беседовали с врачом?

— Да, справился про вас.— Челышев действнтельно перед тем, как войти к Оиисимову, отыскал бородатого заведующего отделеиием: тот сокрушенио почмокал «иеоперабелеи».— Справился и теперь ие беспокоюсь. Ваше дело на мази. Отличиое у вас будет лекарство — свежий воздух. И начнете поправляться полным ходом.

— Вряд ли. Болезнь затяжиая.

— Ннчего. Уж если бы врачи за вас тревожилнсь, то, будьте увереиы, ие рнскнули бы послать вас в саиаторнй. Эта публнка рнскованно поступать не любит.

Устронвшнсь поудобнее иа днваие, Челышев вытяиул длииные иоги. Пожалуй, эта непрннужденная поза подействует на Онисимова верией, чем успокоительные речи. Тот н впрямь снова улыбнулся — радушно, привлекательио. И все же горошинка иад левым уголком рта чуть скривила эту улыбку.

Черт побери, теперь Челышеву придется троиуть еще одиу тему, о которой... О которой иельзя же совсем промолчать.

— Я тоже, Алексаидр Леоитьевич, собираюсь в путь. Лечу завтра в Аидриановку иа совещание домеищиков.

— А-а... Вернетесь, тогда подробно мие расскажете. Идет? Над чем, Василий Даниловнч, сами-то работаете?

Втайне гость изумлеи выдержкой Оиисимова. Так болеи и так собой владеет. Избавил и Челышева и себя от трудиого разговора иасчет третьей неожиданиости.

— Э, что моя работа? Заседаю. По два, а то и по три раза иа дию. Хотя чего бога гиевить? Не все же попусту просиживаем штаиы. Случается, толкуем и о стоящих вещах. Да вот только сегодня...

Чувствуя, что освобождается от томительной иеловкости — иеудобные темы, кажись, позади,— Василий Даиилович сообщает: ныиче слушали агломератчнков. Они теперь ходят в имеииииках: отработали, отладили выпуск офлюсоваииого агломерата. Об этом авторская группа и докладывала сегодия, Ои пускается в подроб-

ности и вдруг видит сероватые маленькие руки сидящего рядом Онисимова. Одна кисть сжимает другую. Челышеву памятно — Онисимов так делал и раньше, когда хотел скрыть непроизвольную дрожь пальцев. Василий Данилович спохватывается. Вот угораздило! Как мог он позабыть, сколь тяжело эта новинка продиралась еще при Онисимове.

Ба, вот ведь о чем можно поговорить: металлургический комбинат на Шексне. Это, конечно, Онисимову будет интересно. Бросив агломератчиков, Василий Данилович рассказывает, что комиссия, назначенная Советом Министров, отвергла наконец всякие сомнения насчет этого комбината. Больной оживляется, даже лицо словно свежеет. Уже примерно полгода назад появилась статья, утверждавшая, что завод на Шексне, расположенный далеко от угля и от руды, всегда будет нерентабельным, и его сооружение явилось, таким образом, ошибкой. Это обвинение тяготело над Онисимовым. Некогда он по заданию свыше готовил вопрос о развитии металлургии на ближнем Севере, провел десятки совещаний, придирчиво выверял каждую цифирку, не раз вынимал из стола счеты, щелкал костяшками, изучая сметы, балансы, калькуляции. И пришел к убеждению: строить экономически целесообразно. И получил сверху «добро».

Сейчас он с интересом выспрашивает о перипетиях заседания комиссии, о формулировках решения. Василий Данилович поясняет: спор, собственно, был решен самими металлургами Шексны. Они доказали делом, что могут работать безубыточно. Добились лучшего за всю историю советской металлургии коэффициента использования полезного объема. К этому привела высокая культура работы — не одно какое-либо средство, а весь комплекс передовой технологии.

Онисимову приятно это слушать. Культура работы. Технологическая грамотность, четкость в каждой мелочи. Именно этак он, близко знавший иностранные заводы, «немец», как в шутку окрестил его Серго, именно этак Онисимов годами неуклонно школил, воспитывал металлургов.

Василий Данилович, однако, снова осекается. Разговор опять слишком близко подошел к опасной зоне. Не рассказывать же Онисимову, что металлурги северного комбината включили немало нового в свой комплекс пе-

редовой техники, смелее других применили способ, за который настойчиво ратует Головня-младший.

Неожиданно Онисимов сам произносит это имя:

— Вот еще что... В Андриановке вы, конечно, встретите и Петра Головню. Заглянул бы ко мне, когда будет в Москве.

Его тон опять небрежен. Так, вскользь брошенное приглашение. Но руки по-прежнему сцеплены.

— Передам, Александр Леонтьевич.

Онисимов бодро встает.

— Сидите, сидите, Василий Данилович. А я, с вашего разрешения, буду укладываться.

Челышев тоже поднимается. Газета с его «Третьей неожиданностью» так и покоится, не затронутая, на диванной подушке.

— Да и меня еще ожидают сборы. Пойду. А вы, Александр Леонтьевич, поправляйтесь.

— Постараюсь. Не забывайте меня. Жду вас в «Щеглы».

Пожав костистой пятерней маленькую руку больного, ощутив ее дрожь, академик с облегчением покидает палату-полулюкс.

51

Одетый в темно-синюю пижаму, Василий Данилович сосредоточенно пишет за столом в доме приезжих. Верхний свет погашен, настольная лампа ярко освещает тетрадку, которую строка за строкой он быстро заполняет не совсем разборчивым, стариковским, без нажима, почерком.

Стук в дверь отвлекает Челышева.

— Да, да.

Он дописывает фразу, поднимает голову, видит Головню-младшего.

Петр уже успел умыться, переодеться, пообедал. На нем сейчас тот же щеголеватый, с багряной искоркой костюм, в каком Василий Данилович видел его в министерстве. Свежа голубая рубашка, празднично сияют ботинки — во всем угадывается заботливая рука жены. В нещедром отсвете настольной лампы волосы после душа выглядят темными, рыжеватый оттенок почти незаметен. Одну руку Петр прячет за спину. И не сдерживает улыбку:

— Разрешите, Василий Данилович, поздравить вас с юбилеем,

— Ох, сегодня уж меня напоздравляли. Пора бы с этим кончить.

— У меня особенное поздравление. Не с пустыми руками к вам пришел.— Из-за спины Петр выпрастывает тяжелого, поблескивающего разноцветным оперением селезня.— Примите, Василий Данилович.

— Что вы? Куда мне? Значит, все-таки добыли? Не ожидал. Никак не ожидал.

— Вот как раз кстати и придется. Еще один пример к вашей «Третьей неожиданности».

— Э, это уж четвертая.

— А что? Еще вас, Василий Данилович, удивим. И, наверное, не разок.

— Чем же? Выкладывайте, выкладывайте, ежели уж начали. Что еще придумали?

— Да многое замыслено. Но надобно испробовать. Для таких проб мы на Кураковке решили заменить вагранки малыми домнами.

Держа по-прежнему увесистого селезня в руке, Петр увлеченно излагает свою мысль. Вагранка — устарелая вещь. Приходится расплавлять чугун, опять пускать в дело кокс, снова избавляться от серы, получать шлаки. Не лучше ли малые домны? Будем выплавлять чугун для литейного цеха, и одновременно эти малые домны послужат базой для всяческих опытов. Пробовать, пробовать — вот чего жаждут изобретатели. Право на опыт, на опробование — мы это должны провозгласить. И, как требует марксизм, подкрепить это право материально. Таков смысл малых домен. Уже и средства, Василий Данилович, мы на это выкроили.

«Настоящий инженер»,— вдруг думается Челышеву. И лишь в следующий миг на ум приходит: именно этак когда-то и его, молодого Челышева, окрестил Курако. Что же, пожалуй, уже не очень страшно сойти, как говорится, с круга: есть наследники. А впрочем, почему же еще и не пожить? Старик произносит:

— Ей-ей, кажется, и впрямь доживу до четвертой неожиданности.

— Безусловно!

Этот свой пылкий возглас Петр еще подтверждает взмахом руки. И вдруг улыбается, глядя на охотничью свою добычу.

— Разрешите, Василий Данилович, я этого незапланированного селезня тут где-нибудь устрою.

— Не надо. К чему мне?

— Да везите хоть в Москву. Или здесь нам, кураковцам, закатите ужин.

Петр озирается, видит брошенную на диван газету, укладывает на нее селезня.

Челышеву невольно вспоминается диван, горка газет в больничной обители Онисимова. Без всякой связи с предыдущим он сокрушенно произносит:

— Онисимов-то... Слышали? Безнадежен. Погибает. Вчера был у него.

Петр молча воспринимает эту весть. Василий Данилович продолжает:

— Просил вам передать, чтобы вы заглянули к нему, когда будете в Москве.

Петр по-прежнему безмолвствует. Губы сжаты. Нервно заиграли, заходили желваки. Тяжелые складки словно бы еще потяжелели.

— Надо бы, Петр Афанасьевич, к нему пойти.

Директор Кураковки опять не отзывается.

— Так не буду вам мешать,— наконец сумрачно говорит он.

Сутулый, широко раздавшийся в лопатках, он оставляет комнату.

— Орешек,— бормочет Челышев.

И немного погодя снова берется за перо.

Час спустя Василий Данилович в шляпе, в пальто шагает по каменным приступкам дома приезжих под ночное небо Андриановки, чуть окрашенное мерцающим багровым отливом. Домеищика-академика влечет завод.

1960—1964 гг.

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЭКОНОМИСТА

Роман Александра Бека «Новое назначение» был написан в начале 60-х годов, но до читателя дошел только сейчас. События тридцатилетней давности: упразднение министерств, создание совнархозов, связанный с этим перевод одного из руководителей Совета Министров СССР на работу послом — показались мне (как и автору предисловия к роману Григорию Бакланову, «Знамя», № 10—11, 1986) прямо относящимися к проблемам нашей перестройки. Январский (1987 г.) Пленум ЦК КПСС еще больше укрепил это мое убеждение, и я попытаюсь поделиться мыслями о том, что непосредственно касается меня как экономиста, занимающегося проблемами управления общественным производством.

1. АДМИНИСТРАТИВНАЯ СИСТЕМА

Литературный герой романа — Александр Леонтьевич Онисимов — лицо вымышленное. Он работает председателем созданного воображением писателя Государственного Комитета по делам металлургии и топлива в Совете Министров СССР, ведающего группой министерств тяжелой промышленности. Но рядом с Онисимовым живут и действуют в основном не вымышленные лица, а руководители тех лет — Орджоникидзе, Тевосян, Сталин, Берия. События романа, по признанию самого писателя, в своей основе документальны, основаны на записях их современников. Но как и всякое подлинное произведение искусства роман перерастает в типический анализ типических явлений. Поэтому он стал событием и нашей управленческой науки.

В статье «Управлению экономикой — экономические методы» («Наука и жизнь», № 2—3, 1986) я рассматривал проблемы комплексного, системного применения эко-

номических методов в управлении и лишь отчасти касался системы администрирования.

Со страниц романа в живой, наглядной, осязаемой форме перед нами встает механизм управления, основанный преимущественно на административных методах,— Административная Система. Попытаюсь, оставаясь полностью в пределах материала романа, показать, чем она характерна.

В основе этой системы — централизация решений и пунктуальное, неукоснительное, беззаветное исполнение директив Верха и особенно лично Сталина — Хозяина. Не щадя себя, интенсифицируя прежде всего свою личную работу, Онисимов «держит аппарат в напряжении». День и ночь для значительной части высших служащих ничем не отличаются. Совещания в 12, час, а то и в два часа ночи — обычное явление.

Добиваясь выполнения директивных заданий, Онисимов говорит резкости, отчитывает, бьет наотмашь, подхлестывает — и наедине, и публично. Но те, на кого он обрушивается, воспринимают все это как должное. Это — правило, обычный порядок.

Онисимова самого тоже проверяют, подхлестывают, контролируют. Тевосян — давний друг Онисимова. Но это не означает, что Онисимов может рассчитывать на малейшую поблажку. Зная Онисимова, Тевосян тем не менее ежемесячно устраивает ему форменные допросы-проверки. Как всегда, тот безупречен, но в следующем месяце все повторится.

Официальность — основа административного процесса. Официальность отстраняет любые, не относящиеся к делу разговоры и взаимоотношения. Жестко накрахмаленный, всегда белый воротничок Онисимова ежесекундно напоминает, что перед вами человек дела, звено механизма, а не Александр Леонтьевич.

Вот как руководит Онисимов-нарком подчиненными. Регулярный отчет начальника главка. Сначала о состоянии дел в целом по главку. Порядок. Теперь — по цехам,

по печам. Затем — по станам. Почему отстают отдельные цехи и печи? Начальник главка не готов к детализации ответов: «Я не знаю, у меня нет сведений». Онисимов: «Что же вы тут делаете? Для чего вы тут сидите? За что вам выдают зарплату?» Отчет продолжается. Как идет реконструкция трубного завода? Укладываетесь в график? Есть сбои? Какие? Покажите график! И так деталь за деталью.

А вот отчет самого Онисимова — тогда начальника танкового главка — перед Сталиным, перед Политбюро. Ему не надо прибегать к записной книжке. Он характеризует положение дел на том или ином заводе, даже в цехе. Приводит результаты испытаний в лабораториях и на полигонах. На память называет цифры. Анализирует трудности. Онисимов докладывает прямо, не выгораживая себя. Сталин тоже не нуждается в записной книжке. Он не интересуется успехами. Об уже завоеванном, сделанном — ни слова, ни минуты на это. Трудовые заслуги остались даже неупомянутыми. Сталин сверлит только больные места танкостроения: крепление гусеничного башмака, масляный дифференциал, коробка скоростей, серый чугун. Сталин обнажает слабость за слабостью.

Такие же жесткие отношения не только по вертикали, но и по горизонтали. Вот нарком танков Онисимов говорит с исполняющим обязанности наркома металла, своим давним другом и соседом по дому. Приводит данные анализов, результатов испытаний, снимки шлифов, акты, протоколы. Доказывает: танковый наркомат не получает сталь нужного качества. И здесь беспощадность, ничего личного, никаких уступок. Мы делаем государственное дело и обязаны его сделать. Страна, Сталин требуют сотен и сотен танков, лучших, чем немецкие. А для этого, считает Онисимов, надо выработать лучшую — по мировым стандартам — технологию. Разработать детальные инструкции, дать конкретные задания. А затем заставить всех подчиненных беспрекословно, точно, строго

соблюдать все детали директив, все буквы инструкций. Надо постоянно, неукоснительно всех контролировать, ловить малейшие промахи, чтобы они не переросли в провалы, подавлять отклонение в зародыше. Вот почему так кричит нарком на мастера в цехе по поводу корочки при разливе стали: эта корочка вписана в инструкцию, без нее качество металла ухудшится.

Культура в работе, технологическая грамотность, четкость в каждой мелочи — вот стиль руководства отраслью. За эту тщательность Орджоникидзе называл Онисимова «немцем». И сам Онисимов воспитывал подчиненных в духе строжайшего контроля технологии и качества.

Особое напряжение возникает в Административной Системе, если задание идет от самого Хозяина. Когда Онисимов получал задание Сталина, он неизменно обретал «белое каление». Стягивал силы аппарата, проектных центров, науки. Он «готовил вопрос». Он лично все просчитывал и выверял, доводил предложения до блеска деловитости.

Правдивость — обязательное звено Административной Системы. Когда в годы войны возникла опасность срыва в выпуске металла, Онисимов лично — никому не поручая и ни за кого не прячась,— докладывал об этом в Госкомитет обороны. Он знает, чего может стоить ему этот доклад. Но подвести страну нельзя. И ему помогли, буквально сняли с фронта солдат. Ему верили: если говорит «не могу»— значит, все человеческие силы действительно исчерпаны. Но в романе Бек упоминает только один этот доклад о невозможности выполнить задание. Онисимов абсолютно подчинен Верху, но и аппарат полностью подчинен Онисимову — это тоже черта Системы. Поэтому он с полным правом мог писать в ЦК: «Беру на себя полную ответственность за всю служебную деятельность моих подчиненных».

Это система конкретного, натурального, детального руководства. Это система постоянного оперативного ру-

ководства ходом производства из центра. Это именно Административная Система.

2. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СТИЛЬ

Ровно в 9 часов утра Онисимов, уже Председатель Госкомитета, входит в свой кабинет.

Вначале он изучает сводки о работе заводов за прошедшие сутки. Он не ограничивается изучением бумаг, то и дело обращается к правительственному телефону-вертушке. Соединяется с министрами, с начальниками главков, с директорами, даже начальниками цехов и смен. Почему не выполнен заказ такой-то? Почему ухудшилось качество стали новой марки?

После оперативных дел Онисимов переходит к вопросам технического прогресса. Как идет внедрение автоматики в металлургию? Как идут поставки оборудования, выполняется ли график, как осваивается на заводах уже полученная техника? И здесь опять под прицелом каждая деталь. Опять звонки, звонки. Нажимает на Госплан, на заводы, вызывает помощников, дает задания подчиненным. Допытывается, выясняет, подгоняет. Распорядительствует. Умело, четко, жестко.

Онисимов источает энергию, волю.

После вопросов текущих, после проблемы научно-технического прогресса Онисимов переходит к главному — разработке плана на 7 лет (хотя ясно, что он не будет выполнять задание семилетки, уже ходят слухи о его освобождении).

После изучения бумаг и литературы Онисимов беседует со специалистами, резко, твердо выясняет вопросы. Не стесняется расспрашивать, не боится обнаружить пробелы, умеет слушать. В свое время, возглавив главк, он уже через два месяца говорил со специалистами по танкостроению как с равными.

Когда обнаружилось, что завод «Электрометалл» не справляется с заданием правительства по выпуску особой жаропрочной стали для реактивных двигателей, Они-

симов, отбросив все дела, прерывает лечение больных ног, сам едет на завод. Там, не разрешая себе даже думать о боли в ногах, он часами простаивает на рабочей площадке, лично следит от начала до конца за ходом каждой плавки. Каждый вечер проводит оперативки, устраивает перекрестные допросы, докапывается до сути, до некоего ускользающего «икса». И спустя три недели возвращается в Москву с рапортом: задание исполнено, получена новая сталь. Спустя годы, глядя на сопла двигателей Ту-104, он вспомнит, как неделями стоял на потерявших чувствительность больных ногах, получая и сталь, и очередную неизлечимую болезнь.

Обнаружив незнание, обман, он становился беспощаден. Появлялся грозный «онисимовский оскал», и он бил резкими словами.

На заводы он входил через черный ход. Обнаруживал то, что старались скрыть, и тыкал в грязь и хаос, беспощадно вскрывал истину — как бы тяжела она ни была.

Так он работал, будучи начальником главка, наркомом, министром, председателем Госкомитета. Был убежден в своей способности обнаружить любое вранье. Гордился своими качествами следователя, умением застать врасплох, поймать. Подозрительность усилилась в нем с годами. И в угольной, и в стальной епархиях не было того, кто его сумел бы «обдурить». Он тончайшим, «верхним» чутьем распознавал всякие попытки втереть ему очки, приукрасить положение. Ненависть к лакировке, к приукрашиванию, к элементам самообмана были чертами стиля Онисимова.

Вот он с черного хода, с задворок, входит в заводскую столовую. Женщины чистят картофель.

«Почему так толсто срезаете?» Одна из женщин ответила: «Гнилая же картошка». Онисимов взял одну, другую картошину, возразил: «Нет, не гнилая». И едко сказал директору: «Толстоваты очистки. Тащат их до-

мой — поросят своих кормить». В этой сцене весь Онисимов.

На завод Онисимов приезжал обычно после того, как там поработала комиссия министерства и подготовила обширную информацию. В командировке работал по 16 часов в сутки, несколько дней подряд. Потом издавался приказ. В приказе все, что нужно сделать. А затем контроль и контроль. Группе специалистов, приезжавших с наркомом, не разрешалось даже пить заводской чай. Так приучил нарком. Если приехал проверять — проверяй. Пользоваться чем-то заводским строжайше запрещено. Нарушителей Онисимов вытаскивал на заседание коллегии, хлестал нещадно.

Онисимов придерживался правила постоянных перепроверок. Любил повторять: «Доверился — погиб».

3. АДМИНИСТРАТОР

Онисимову 53 года. Под глазами темные полукружья — след многолетнего недосыпания.

Девиз его жизни — безупречность. Всегда он стремился поступать так, чтобы самого себя нельзя было ни в чем упрекнуть. Это руководитель с огромной требовательностью к самому себе. Первый, кому он не давал ни малейшей поблажки, ни малейшего спуска, был он сам.

А замечания сверху, даже самые мягкие, мелкие, причиняли ему жестокую боль, и он не мог успокоиться, пока не устранял всего того, что вызвало недовольство Верха.

Основа деятельности Онисимова: я выполняю указания сверху; вы выполняете мои. «Не рассуждать»— вот любимый лозунг Онисимова. Он работает как точнейшая машина, прекрасно владеет административной техникой, знает все лабиринты управленческого механизма, все тонкости межведомственных отношений. Он знал, какие надо предпринимать действия, чтобы «пробить» нужное постановление.

Конечно, Онисимов умел и «ускользать». Но эта его способность бесследно испарялась, когда речь шла о поручениях Сталина. Сугубая точность, пунктуальность становились не только делом чести, святым долгом, но и щитом для Онисимова.

Было бы неверно сказать: у Онисимова интересы дела на первом месте. Точнее сказать, что у Онисимова вообще не было каких-либо интересов, помимо интересов дела. Но интересы дела он понимал как исполнительность. С тех пор, как в 16 лет в подполье он стал членом партии, он никогда не пытался уклоняться, ускользнуть от выполнения партийных и государственных решений.

Например, когда после смерти Сталина запретили оставаться на работе сверх 8 часов рабочего дня, Онисимов, как всегда, подчинился дисциплине; но он уходил из Комитета буквально последним. Вечерние часы дома ему были невмоготу, и теперь он захватывал с работы объемистую папку, чтобы заняться ею дома и спастись от «досуга».

Александр Леонтьевич почти не переносит алкоголя. Он скромный труженик. Даже за границей, в посольстве, угощая дорогих ему людей, он подал ужин без водки, без вина, даже без пива.

Единственная слабость Онисимова — непрерывное курение. Закурил он в 1938 году, когда решалась его участь и он чудом уцелел.

Когда в годы войны в буфет министерства попадали яблоки или икра, он неумолимо приказывал снабженцам отправлять их в детский сад.

Спецбуфет министерства обслуживал членов коллегии без оплаты, но Онисимов никогда этим не злоупотреблял. Он брал себе обычно стакан крепкого чая, бутерброд с сыром, сигареты. И сослуживцы следовали его примеру.

Онисимов годами носил залоснившиеся сзади до блеска темные в полоску брюки и столь же вытертый пиджак.

Еще будучи начальником главка, затем и министром, он ненавидел всякие надбавки к зарплате, не допускал ни для себя, ни для своего аппарата никаких добавочных вознаграждений. Перейдя в МИД, он отказался от доплаты за знание иностранного языка. Он считал, что назначенная ему зарплата и без того достаточно высока.

Когда удалось получить жаропрочную сталь для реактивных двигателей, Онисимов вычеркнул свою фамилию из списка тех, кто был представлен к премии. Он нетерпимо пресекал попытки подчиненных ему начальников — от министров до директоров — пристроиться, примазаться к открытиям, изобретениям, усовершенствованиям.

Он славился среди коллег своей неутомимостью, железным организмом. Из операционной он отправился прямо на работу. Только врачи знали, что у этого пятидесятилетнего человека сердце семидесятилетнего старика. Но отвлекаться на лечение он себе не позволял. Даже врач с трудом вытягивал у него какие-либо жалобы. Лекарства, давно выписанные врачом, лежали нетронутые.

Всегда умеренный в еде, лишенный каких-либо склонностей к гурманству, Онисимов проглатывал пищу, не ощущая вкуса.

Даже в день пятидесятилетия в дом не был приглашен ни один гость, тем более их не было в другие дни. В квартире господствует тишина, сын Онисимова называет ее «холодным домом». По воскресеньям за завтраком и обедом собиралась вся семья, но общего разговора обычно не получалось.

Писатель показывает личную, домашнюю сторону жизни Онисимова. И каждая деталь дополняет общую картину. Онисимов равнодушен к своей многокомнатной квартире и к житейским удобствам. В убранстве столовой нет ни одной особенности, все в основном осталось таким же, каким было при вселении в квартиру. Хозяева не обставляли квартиру, они пользуются казенной мебе-

лью. На дачу Онисимов выезжал редко, его и по воскресеньям притягивала служба, кабинет.

Онисимову полностью соответствует его жена, Елена Антоновна, родственница крупного деятеля партии. Она занимает немалый пост в Управлении подготовки трудовых резервов СССР. Партийка с 20-го года, хорошо владеющая собой, рассудительная женщина-администратор. Строгий костюм, суховатый облик, ни одного взыскания за все 35 лет партстажа. С ней Онисимов сблизился на партработе, в жаркой борьбе против оппозиции. Это был, как пишет Бек, брак не по любви, а по идейному и духовному родству, с «твердым, надежным товарищем». Она и в трудные минуты не наделает глупостей, не потеряет себя, не зарыдает, а будет дельным помощником мужа, его советчиком. Выбор такой жены был частью личности Онисимова и дополнял его облик.

В Онисимове нет никакой важности, позы, сановных манер. Не случайно он, будучи советским послом за рубежом, быстро завоевал уважение представителей других стран.

Перед нами встает удивительный по цельности образ Руководителя Административной Системы. Он сам называл себя солдатом, «солдатом партии, солдатом Сталина». Он с гордостью и, несомненно, по праву считал себя таким солдатом. Онисимов говорит: «Уж если ты служака, то будь Служакой с большой буквы». И он сам, несомненно, стремился быть им.

Таков Онисимов. Таковы его коллеги, которых писатель называет «воротилами и тружениками индустриальных штабов, однополчанами индустрии». Бек пишет, что это был слой работяг, которым история дала миссию пиструнивать, подхлестывать; они скупы на похвалы, питают отвращение к самолюбованию и любованию успехами других.

Александр Бек не скрывает, что Онисимова даже окружающие его руководители считали образцом, что он «лучший среди них». Но именно эта исключительность

подчеркивает типичность образа. Можно полностью согласиться с Г. Баклановым, «что характер героя этой книги исследован с необычайной пристрастностью и глубиной, создан даже не образ, а тип».

Действительно, перед нами идеал Административной Системы. Она требует таких руководителей, без них ее нет.

Может показаться, что в жизни таких людей, как Онисимов, не было, что это авторское обобщение. Но мне довелось в детстве и молодости еще увидеть именно таких руководителей, говорить с ними, близко знать некоторых. Вот почему я могу утверждать, что образ Онисимова не только итог логичного анализа Административной Системы, но и типичный образ большинства руководителей тех лет.

Без таких «винтиков» Система не могла возникнуть, не могла бы добиваться успехов, которые вполне заслуженно вписаны в ее счет. Онисимов сформирован временем, закален системой, и он же — главная ее опора, ее носитель.

Казалось бы, перед нами нечто необычайно цельное: Система, Стиль и Руководитель. Казалось бы, при такой идеальной согласованности результатом могут быть только успехи. И они есть: лучшие танки второй мировой войны, первая в мире космическая ракета, реактивные лайнеры, поднявшиеся в Сибири ГЭС...

Но роман Бека замечателен правдой. А правда — это не только успехи. Бек сумел показать нам нечто не менее важное: неизбежность, необходимость отказа от Административной Системы и начало первой попытки ее реформы в середине пятидесятых годов. В этом, казалось бы, несокрушимом в своей логичности и цельности механизме абсолютно закономерно возникают внутренние коллизии, сбои или, говоря словами писателя, «сшибки».

4. СБОИ В УПРАВЛЕНИИ

Административная Система нуждается в работниках, изгнавших все личное, олицетворяющих собой только конкретный пост и соответствующую функцию. Это не личности, вернее, это личности, у которых должно остаться только то личное, что обеспечивает успешную работу Системы.

Но люди остаются людьми. И даже «железный» Онисимов оказывается подвержен глубоким родственным чувствам. Он скрыто, про себя, но очень остро горюет по несчастному, погибшему в лагерях брату, которого он сам в молодости вовлек в партию и подполье. Эта душевная ссадина не зарубцевалась. То был, пожалуй, единственный случай, когда он не выполнил указания Сталина, посоветовавшего ему в записке: забудьте о брате, бог с ним.

Но еще более опасными для Административной Системы являются «сшибки». Проблема «сшибки»— это проблема противоречия между тем, в чем лично внутренне убеждены руководители Системы, и тем, что они делают официально. «Сшибки»— это разлад мысли и дела, чувств и их проявлений. «Сшибка»— это болезнь Административной Системы.

Сшибка — по И. П. Павлову — это столкновение двух противоположных импульсов, каждый из которых идет из коры головного мозга. Внутреннее побуждение приказывает поступить так, а человек заставляет себя делать нечто противоположное, ибо этого требует логика управления и привычка безусловно выполнять любой приказ сверху. А. Бек показывает, что «сшибки» в Системе не случайность, а неизбежное явление. Такой сшибкой была для Онисимова история с инженером Лесных, в результате которой он приобрел неизлечимую хроническую болезнь —«танец пальцев».

«Сшибки» не были уделом одного Онисимова. Его коллега заработал аритмию и систематически оказывается в больнице. Писатель Пыжов тоже постоянно стра-

дает от «сшибок», подстраивая литературу под вкусы Сталина, и в итоге кутит и пьет. «Сшибкой» для директора металлургического завода Головни был приказ Онисимова прекратить иачатые опыты. Собственно, назначение послом было последней «сшибкой» Онисимова с Системой.

Обстановка вырабатывала в характере скрытность, заставляла прятать переживания и еще больше страдать, не делясь ни с кем. Характер у Онисимова замкнутый, неоткрытый. Он умеет таить свои переживания. Не случайно сын называет отца «великим молчальником». Он не может, не умеет быть откровенным. Разучился этому давным-давно.

Опасаясь «сшибок», руководители стремятся ни на шаг не выходить за пределы своих прямых обязанностей. Мы ни разу не услышим и, главное, не почувствуем, что Онисимов думает о людях. Он выполняет директивы и указания Верха и Хозяина — с неосознанным стремлением «не рассуждать», чтобы не оказаться в ситуации очередной «сшибки».

В романе Бека постепенно вырисовывается еще один дефект Административной Системы — перегрузка Верха и бремя ответственности. Чем выше работник, тем тяжелее его ноша, тем труднее ему нести «шапку Мономаха».

Никому не доверяя, все перепроверяя, Онисимов неизбежно ограничивает круг вопросов, которыми он сам успевает заниматься. Вот комбинат иа Шексне. Он сам выверил все цифры, сам изучил сметы, калькуляции и т. д. Вот поездка к Сталину с докладом. И опять Онисимов сам на счетах проверяет все цифры.

Ясно, что при таком методе на многое руководителя не хватит и многое будет не решено просто в силу пределов физических возможностей человека, даже с такой фантастической работоспособностью, как у Онисимова.

Чтобы повысить отдачу и сберечь силы руководителя, Система стремится оградить его от любых личных забот. Система материально обеспечивает по максиму-

му — квартира, дача, спецбуфет, и вовсе не из стремления сделать его барином. Просто у Системы нет иного выхода. Чем полнее освобожден руководитель от забот о себе и семье, тем больше он принадлежит Системе.

Онисимов не только не знает проблем одежды, еды, отдыха. Он не знает даже, сколько стоит билет в московском метро. Он вообще не имеет в карманах ни рубля. Многого, очень многого не знает этот глубоко эрудированный человек. Система сделала его узким профессионалом, чтобы он мог ей лучше служить.

И опять налицо внутреннее противоречие Системы: огражденный ею же работник все хуже способен служить ей же. Он ведь все больше отрывается от реальной жизни, все более узким становится его взгляд на нее. И хотя Онисимов любит ладонями изображать правильный, без «шор» взгляд на проблемы, у него самого становится все у́же прорезь, через которую он смотрит на мир. В силу многих факторов бремя ответственности оказывается для него более тяжелым, порой чрезмерным.

В результате меняется и сам носитель власти. Сталин уже не проводит заседаний в зале, даже не собирает все Политбюро. На заседание, кроме двух-трех приближенных, никого не приглашает, разве что тех, кто нужен для обсуждения. Оценки проблем смещаются, и предложение воспринимается как приемлемое только потому, что оно отвечает желанию Сталина.

И сам Онисимов становится более нетерпимым. С годами он все больше не переносит, когда подчиненные ему перечат. В молодости он еще умел слушать возражения, но затем перестал выносить людей, которые с ним не согласны. «Делай мое плохое, а не свое хорошее»,— нередко повторяет он. Это итог многолетней работы в Системе.

Но, пожалуй, самая сложная проблема Административной Системы — поиск кандидатов на вакансии, проблема выдвижения кадров. Ведь и Орджоникидзе, и Тевосян, и сам Онисимов не продукты этой Системы. Они

пришли в нее со стороны — из подполья, из гражданской войны. Они принесли в Систему свою веру в партию, свою дисциплинированность и беззаветную преданность делу. И пока в Системе сохранялись эти кадры (с их нормами нравственности), она функционировала.

Но вот надо назначить нового министра металла на место Онисимова, которого повысили в должности. Надо выбирать среди кадров самой Системы. А они — в соответствии с ее логикой — годами приучали себя не лезть в дела Верха, делать что приказано. Чем идеальнее они были на своих местах, тем менее пригодны они для более высокого поста.

Преемником Онисимова на посту министра металла стал Цихоня. Имелись и не менее достойные кандидаты. Но Онисимов выбрал Цихоню, он был способным. Но не только. Он был самым покладистым, самым послушным среди способных. Поэтому первый же цикл кадровых перемен в Системе учитывает не только дело, но и личную исполнительность, преданность, покладистость.

Впрочем, ведь и самого Онисимова Сталин спас от репрессий и назначил наркомом именно с учетом личной преданности. Будучи невольным свидетелем спора Сталина и Серго Орджоникидзе — ничего не поняв из происходившего на грузинском языке разговора,— Онисимов безоговорочно взял сторону Сталина. Сталин, впрочем, именно этого и хотел: он стремился получить ответ Онисимова об отношении к себе независимо от сути дела. И получил ответ, означавший заверение в личной преданности.

«Онисимов хотел молча пройти, но Сталин его остановил.

— Здравствуйте, товарищ Онисимов. Вам, кажется, довелось слышать, как мы тут беседуем?

— Простите, я не мог знать.

— Что ж, бывает... Но с кем же вы все же согласны? С товарищем Серго или со мной?

— Товарнщ Сталнн, я нн слова не поинмаю по-грузииски.

Сталии пропустил мимо ушей эту фразу, словно оиа и ие была сказана. Тяжело глядя из-под иизкого лба иа Онисимова, инсколько ие повыснв голоса, ои еще медлениее повторил:

— Так с кем же вы все-такн согласны? С ним?— Сталнн выдержал паузу.— Или со мной?

Наступнл мнг, тот самый мнг, который потом лег на весы. Еще раз взглянуть на Серго Александр Леонтьевич не посмел. Какая-то сила, подобная инстинкту, действовавшая быстрее мыслн, принуднла его. И ои, Онисимов, не колеблясь, сказал: «С вамн, Иосиф Внссариоиович».

Логичен и своего рода ответиый шаг Сталииа. Спустя ряд месяцев в записке Онисимову ои пишет: «Числил Вас н числю среди своих друзей. Вернл Вам и верю...»

Личная исполнительность в Административной Системе сращнвается с личной преданностью иеразрывио. А это иензбежно виоснт в иее элемент субъективнзма, ее логичиость подрывают ею же порожденные личные связн.

Вот случай с Серебрянниковым — помощнком Онисимова. Дело было во время войны. Онисимов поймал его иа попытке взять в бесплатном буфете масло. Оказалось, масло предназначалось для маленького сыиа Онисимова. В подобных случаях Онисимов карал беспощадно любого. А здесь? Масло было возвращено в буфет, но Серебрянников вскоре стал... начальииком секретариата Онисимова.

В Административной Системе фактор личной преданности, как и фактор личной иенависти, действует в полной мере. Если все зависит от Верха, то иельзя упускать ни малейшей возможиости укрепить свое положение. Наверху также надо полностью контролировать подчиненную себе часть Системы.

В итоге эта Система ие может воспроизводить иужных себе руководителей. Она обречена иа то, чтобы

каждое новое назначение было хоть на вершок, но хуже предыдущего решения. В этой Системе найти нужные для нее кадры все труднее и труднее.

Есть в книге А. Бека еще один «слой». Она показывает, как личность калечится Системой, где роль людей, даже стоящих на весьма высоких ступеньках «лестницы управления», сведена к винтикам огромного государственного механизма. Дело даже не в противоестественном образе жизни, в том числе и лично Онисимова. Вопрос гораздо серьезнее: под воздействием Административной Системы он из активного борца за социализм, коммуниста-подпольщика превращается объективно в тормоз научно-технического прогресса, поступательного движения экономики. Мы уже не говорим о том, как противоречат жизнь и деятельность Онисимова самой социалистической идее, в центре которой — человек, его духовный мир и нравственный облик. В романе показано только, как глубока пропасть между Онисимовым и его сыном. Мы можем себе представить, сколько судеб он сломал, скольким талантливым людям перекрыл дорогу, в скольких душах посеял неверие в торжество конечного нашего дела своей гипертрофированной исполнительностью, приверженностью инструкциям, неприятием нового. И не Онисимову ли, вернее его последователям, мы обязаны многими бедами сегодняшнего дня — замедлением темпов экономического развития нашего общества и научно-технического прогресса, многочисленными нравственными потерями, нигилизмом среди молодежи?.. Впрочем, не станем преувеличивать вину Онисимова и не будем забывать, что он — писатель А. Бек показал это весьма четко, проведя подлинную исследовательскую работу,— детище Административной Системы, ее продукт и жертва одновременно.

И так — шаг за шагом — Бек на массе деталей показывает внутреннюю противоречивость, непрочность системы административного управления...

5. СБОИ В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ПРОГРЕССЕ

Как бы ни были велики трудности самого управления в варианте Административной Системы, вопрос о ее целесообразности мог и не возникнуть, если бы она не начала давать сбои в ключевом звене объекта управления — в научно-техническом прогрессе.

В романе Александр Бек подробно исследует два, казалось бы, очень разных случая, связанных с научно-техническим прогрессом и деятельностью Онисимова, или, говоря шире, связанных с отношением Административной Системы и научно-технического прогресса.

Однажды, в 1952 году, в кабинете Онисимова зазвонил телефон. Звонил Сталин, просил находящегося там академика Челышева. Вот часть этого разговора:

«— Вам известно предложение инженера Лесных о бездоменном получении стали?

— Да.

— Что вы об этом скажете?

— Поскольку я с его замыслом знакомился, могу вам...

— Сами знакомились?

— Да.

— Так. Слушаю.

— На мой взгляд, Иосиф Виссарионович, предложение практической ценности не имеет...

— То есть дело, не имеющее перспективы? Я правильно вас понял?

— В далекой перспективе... Пока же...

— И изобретателю, следовательно, не помогли? Так что же, не помогли?..

— Не знаю.

— А я знаю. Вы с товарищем Онисимовым не помогли. Вместо вас это сделали другие. И хотя вы придерживаетесь взгляда, что изобретение практической ценности не имеет... Тем не менее у меня на столе лежит металл, лежат образцы стали, выплавленные этим способом...

— Выплавить-то можно... Но сколько это стоило? К тому же и печь пришла в негодность, кладка сгорела...

— Зачем, товарищ Челышев, подменять мелочами главное? Разве что-либо значительное рождается без мук?.. Главное в том, что новым способом выплавлена сталь. А остальное приложится, если мы, товарищ Челышев, будем в этом настойчивы... Таким образом, вы совершили ошибку... Но поправимую. Давайте будем ее поправлять. Этот металл нам нужен...»

Дело в том, что Сталин уже давно думал о том, как использовать дешевую электрическую энергию проектируемых в Сибири гигантских ГЭС. Идея Лесных отвечала на стоящий перед ним вопрос. И Сталин ухватился за нее. Как потом занес в записную книжку знаменитый писатель: «Небывалый революционный способ получения стали. Академик Ч., ученик знаменитого Курако, герой первых пятилеток, не понял. Министр О., член ЦК, инженер-металлург, не разобрался, не понял! Дошло до Ст. Он понял. И открыл дорогу этой революции в технике».

На деле все было гораздо сложнее. Инженер Лесных, преподаватель одного из сибирских вузов, давно с маниакальной настойчивостью добивался начала экспериментов по бездоменной электроплавке стали. Пробился к Челышеву. Челышев написал, что способ технически осуществим, но экономически нецелесообразен, так как чрезвычайно дорог. Это дело не нынешнего десятилетия. Изобретателю некоторую помощь в разумных пределах надо оказать, пусть возится. Работа выяснит некоторые теоретические вопросы, но рассчитывать на практическое применение способа Лесных в промышленности в обозримой перспективе нельзя.

Настырный изобретатель написал жалобу в ЦК. Оттуда ее переслали министру Онисимову. Александр Леонтьевич со свойственной ему тщательностью изучил и чертежи, и вычисления, и все отзывы. Выводы Онисимова были более резкими, он даже упрекнул Челышева за мягкость: раз практически дело нереально, наше ми-

нистерство за это не берется, есть Минвуз, где Лесных работает, пусть там ему и помогают.

И вот через два года дело дошло до Сталина. Оказалось, что ведомство лагерей, подчиненное Берии, занятое проектированием ГЭС в Сибири, подкинуло кое-какие средства Лесных на его опыты. Был получен металл, и Берия сразу же передал образцы Хозяину, чтобы подставить Онисимова под немилосердный удар Сталина.

И Онисимов, и Челышев понимали, что от лабораторного результата до промышленного производства проходят годы. Но возражать Сталину Онисимов не решился — это означало бы, что он по-прежнему против новшества, упорствует в ошибке. Он также догадался, что в кабинете Сталина сидит Берия и страшная опасность нависла над ним.

Но главным был не недостаток мужества. В романе правильно отмечено: здесь действовала уже автоматическая, чуть ли не с силой инстинкта дисциплина, верность Сталину, каждому его слову, каждому указанию. Сама идея возражать Сталину была органически чужда Онисимову, как и любому руководителю в Административной Системе. И Онисимов ответил, как всегда: «Будет исполнено. Да, под мою личную ответственность».

Сталин приказал возвести за восемнадцать месяцев новый завод в Сибири по способу Лесных, поручив дело той самой комиссии, которая в свое время единодушно отвергла этот способ, включив в нее представителя «Енисейэнерго», назначенного Берией.

Онисимов уцелел, план Берии не сработал. Постановлением Совета Министров, подписанным лично Сталиным, Онисимову был объявлен выговор «за зажим ценнейшего новаторского предложения». Сталин не сомневался, что Онисимов — пусть он в свое время отрицал изобретение, когда оно шло снизу,— теперь лучше, энергичнее кого-либо сделает все возможное и сверхвозмож-

ное, чтобы внедрить способ Лесных. И не тронул, не отбросил Онисимова.

Но для Онисимова «сшибка» собственных убеждений с верностью законам Системы оказалась трагической. Раньше он был убежден в целесообразности заданий. Теперь он впервые не верил, но приступал к исполнению. У Онисимова появилась тяжелая нервная болезнь.

А для страны все обернулось огромными затратами. Сверхсекретный «почтовый ящик № 332» стоимостью в 150 миллионов рублей рождался в непрестанных авариях, «закозлениях», прогарах, переделках, реконструкциях уже сделанного... Смерть Сталина позволила провести реальную оценку сделанного.

Завод посетила комиссия министерства, затем другая — Совета Министров. Выводы были уничтожающие. Завод и его печи были разрезаны.

Другой случай в области НТП, рассказанный в романе, связан с изобретением директора Головни. Долгие годы добивается Головня разрешения на практическое опробование нового способа плавки. Но Онисимов, получив отрицательное заключение специалистов наркомата, категорически запрещает продолжать опыты. А после войны выяснилось, что в США вся металлургия уже переходит на метод, похожий на тот, который предлагал Головня... И случай с Головней не единственный. В романе упомянуто, что такое же отрицательное отношение встретил офлюсованный агломерат. И опять-таки только потому, что Наверху не нашлось у него сторонников, и он не стал директивой. А технический прогресс, не ставший приказом, других путей в жизнь не имел.

6. КРИЗИС АДМИНИСТРАТИВНОЙ СИСТЕМЫ

Наличие «сбоев» и «сшибок» в Административной Системе логично ставит вопрос: идет ли речь о ее недомоганиях и вызванных внешними причинами воспалениях или о чем-то неустранимом, внутренне ей присущем? Писатель не мог, естественно, охватить все сторо-

ны этой проблемы, над которой билась общественная мысль нашей страны последние тридцать лет, которой посвящены документы XXVII съезда партии и январского (1987 г.) Пленума ЦК КПСС. Но материал романа дает очень много для понимания поставленного вопроса. Собственно, и сам вопрос напрашивается именно при чтении романа.

Возьмем «сбои» в случаях с изобретениями Лесных и Головни. За личными взаимоотношениями между этими изобретателями и Онисимовым нетрудно увидеть нечто большее. Причина потерь, которые несет страна, в этих различных по содержанию случаях при глубоком размышлении вырисовывается только одна: сосредоточение прав на любое решение в области научно-технического прогресса на самых верхних этажах управления и волевые методы этих решений. Верх определяет, что считать НТП, а что им не является. И как бы Верх ни был озабочен интересами страны, сколь бы идеальными ни были его руководители, сами эти решения принимаются им волевые, субъективные. И при самых лучших намерениях ошибка потенциально заложена в этом механизме — ведь волевое и волюнтаристское не имеют объективной границы между собой. Здесь одинаково вероятны и смелые централизованные вмешательства, ускоряющие НТП (вспомним поездку Онисимова и выпуск небывалой жаропрочной стали для реактивных двигателей), и торможение НТП (как было с Головней), и концентрация ресурсов на малоперспективных пока что направлениях НТП (как было с Лесных).

Инженера Лесных Бек изображает как маниакально одержимого изобретателя. Можно понять симпатии академика Челышева к этой маниакальности: ведь без таких людей никакой НТП невозможен. После неудачи со строительством завода Лесных заработал один за другим два инфаркта, но вновь неукротимо пытается начать опыты. Но теперь к нему то же самое отношение, которое встретил в свое время Головня: нет указаний,

вами заниматься не будем... Все печи, включая экспериментальную, разрезаны автогеном. Точно выразился Челышев: «Черт, азиатчина. Форменная азиатчина. Шарахаемся как... Зря оторвали человеку руки-ноги. Одну печку следовало бы ему оставить, пусть бы возился. Кому от этого было бы плохо?» Ясно кому — Системе. Она не шарахается, она просто не может теперь никак поддерживать Лесных — с той же логичностью, с какой она в свое время его поднимала, когда были «указания».

Для Административной Системы изобретение становится изобретением, а НТП — НТП только в том случае, если на них этот штамп поставит Верх: в виде плана, директивного задания, стандарта и т. д. Изобретение Головни — ноль, пока не оформлено приказом. А изобретение Лесных перестает быть таковым в ту же секунду, как только его исключат из плана. И глубоко логичен вопрос Головни Онисимову: «Если бы сверху вам сказали: окажи содействие, то я бы получил от вас все необходимое, независимо от того, хорошее или плохое предложение?»

Столкновение Головни и Лесных с Онисимовым — это столкновение Административной Системы и научно-технического прогресса, научно-технической революции. Эта система не приспособлена к иным по уровню решениям, чем централизованные, к иным по типу решениям, чем волевые. Она способна на поиск, но только в совершенно конкретном, ограниченном варианте: если он идет сверху. Но состав руководителей в Системе, как мы видели, неизбежно ухудшается. Перерождаются пришедшие в нее кадры — из-за перегрузок, бремени ответственности, бесконтрольности в отношении подчиненных. Назначаются на руководящие посты воспитанные этой системой все более исполнительные распорядители.

Весьма характерен в наркомате Онисимова профессор Земцов, очень крупный специалист. Попутно Земцов — автор шахматных этюдов, книг по шахматам. Однако в поездках, играя с Онисимовым, частенько

проигрывает своему начальнику. И тут нельзя удовлетвориться объяснением Земцова: одно дело — шахматная теория, другое — практика. Скорее тут другое: и в области внеслужебных функций Земцов не может не уступить шефу. Писатель неумолим: именно этот уступчивый Земцов дает главное отрицательное заключение по прогрессивному предложению Головни. И хотя трудно сказать, как конкретно влияет уступчивость Земцова на его отрицательную оценку новых идей, но это влияние налицо. Возникает все усложняющаяся ситуация: Система предполагает оценку вариантов НТП только наверху, а оказывается все больше людей типа Земцова, людей «зашоренных» и воспитанных исключительно в духе исполнительности, безынициативности.

Пока страна осваивала уже имеющийся в мировом арсенале НТП, относительные преимущества Административной Системы перекрывали ее недостатки. Во внедрении НТП есть этап, когда заводы уже построены и все силы надо сосредоточить на соблюдении правил грамотной работы. И стиль Онисимова наиболее соответствовал этому этапу индустриализации.

А вот когда надо оценивать варианты нового НТП, допустить различные поиски — и Головни, и Лесных,— тут волевые способы руководства неизбежно обременены ошибками. Особенно тяжело становится Административной Системе в условиях научно-технической революции, когда уже не отдельные изобретения, а их поток обрушивается ежедневно на производство. Не имея объективных экономических критериев, принимающие решения неизбежно оказываются заложниками заграницы: всегда правильно то, что уже там применяется.

Дело, таким образом, не в самой Административной Системе. Дело в коренном изменении задач, которые надо решать экономике, созданной усилиями этой Системы. Дело, конкретно, в изменении масштабов и темпов НТП.

В ключевой для второй половины XX века проблеме — проблеме научно-технического прогресса — Административная Система оказывается все более и более несостоятельной. Этот вывод романа А. Бека, им прямо не сформулированный, но всесторонне обоснованный всем ходом романа, имеет фундаментальное значение для наших размышлений о судьбе Административной Системы, о неизбежности ее смены, о сути ее перестройки.

Александру Беку удалось наглядно показать еще одну важнейшую сторону кризиса Административной Системы — я бы ее назвал синдромом Берии.

Не раз появляется на страницах романа эта фамилия. Онисимов когда-то бросил ему в лицо: «Не могу вам, Берия, доверять!» Этого Берия не забыл. Онисимов знал, что он только ждет случая расправиться. Онисимов и Берия, оба члены ЦК, разговаривали на «ты», но рука Берии все годы была занесена над Онисимовым.

Скорее всего это хорошо знал и Сталин. Но он спокойнее чувствовал себя именно в условиях смертельной вражды между подчиненными и считал такую вражду не только нормальной, но даже полезной для Административной Системы.

По ходу романа постепенно становится все яснее, что личная вражда Берии и Онисимова скрывает нечто более важное — обязательную, характерную черту самого механизма руководства.

Берия страшен не сам по себе, а страшен своей связью со Сталиным. Заслуга Александра Бека, на мой взгляд, в том, что он заставляет нас глубже, я бы сказал, научнее, осознать бериевщину. С одной стороны — это беззакония, эксцессы, болезнь Административной Системы. Ведь кадровые репрессии наносят наибольший урон именно жестким административным системам. Но с другой стороны — и тут в романе сделан шаг вперед в нашем взгляде на ту эпоху,— Берия постепенно воспринимается и как продукт, и как обязательное, необходи-

мое звено Системы. Без Берии Сталин никогда не мог бы стать Хозяином, а без них обоих Административная Система не смогла бы приобрести логичную завершенность, цельность, практическую эффективность.

Если Онисимов, как следователь, «висит» над всеми своими подчиненными, то должен же кто-то «висеть» над самим Онисимовым? Над всеми онисимовыми? Должна же быть обстановка, когда Онисимов даже с женой в машине говорит мало, так как «при шофере лучше помолчать». Тут одного Хозяина не хватит. Тут нужен мощный механизм. Тут неизбежен Берия в той или иной форме.

Страх — обязательный элемент более или менее жесткого механизма администрирования. И трудно сказать, какая доля в беспредельной четкости и исполнительности Онисимова связана с этим страхом, а какая сформирована верой в правоту Хозяина. И так ли уж оторваны друг от друга и эта вера, и этот страх?

Да и самому Онисимову нужен Берия. Не имея достаточных рычагов материальной и моральной мотивации, Онисимов эффективно командует своими подчиненными не в последнюю очередь и потому, что над теми тоже занесена «рука Берии»— в лице каких-то из его подчиненных. Онисимов скорее всего не хочет об этом думать, но ведь подчиненные это сознают...

Вот и выходит, что сама внутренняя логика Административной Системы требует подсистемы страха, требует права Верха в любой момент сместить любого нижестоящего без объяснения причин этого смещения. И это право может — в силу ряда условий — вырасти в право вообще устранить подчиненного из жизни. Вопрос о конкретных формах этой подсистемы — сам по себе важный — для нашего вывода не столь существен. Важно, что такая подсистема была нужна для обеспечения эффективного администрирования. Поэтому необходимость Берии заложена в сути Административной Системы, а

реализоваться эта возможность может и в относительно культурном, и в наиболее варварском виде.

Вот почему подлинное «покаяние», подлинное отречение от Берии может быть только в одном случае: если мы поймем, что должна быть перестройка всей системы административного управления.

И очень характерно, что ненавидящий Берию Онисимов сам воспринимает лагеря, где не столь давно погиб любимый брат, и сосредоточенные за колючей проволокой массы заключенных как своего рода трудовые соединения, высоко дисциплинированные, дешевые, всегда готовые к перемещению на новые стройки, хорошо себя зарекомендовавшие. Для Онисимова это нечто допустимое, вполне позволительное при создании ударных строек коммунизма.

Берия, пишет А. Бек, постепенно стал охватывать и ряд народнохозяйственных задач, год от года все более крупных. Ни одно большое строительство уже не обходилось без его участия, ни один крупный научно-технический проект. Эту сторону Бек подчеркивает совершенно справедливо.

Я пишу об этом ради того, чтобы полнее понять, что такое Административная Система и сколь сложной задачей является ее подлинная перестройка. И если наш строй и все мы не можем, не хотим смириться с любыми формами бериевщины, то мы обязательно должны понять, что только преодоление самой Административной Системы уничтожит то поле, на котором могут вырастать подсистемы страха.

Итак, кризис Административной Системы в романе «Новое назначение» имеет как бы три плоскости. Социальную — связанную с необходимостью устранить систему Берии. Экономическую — связанную с необходимостью обеспечить мобилизацию всех резервов роста эффективности производства. И научно-техническую — связанную с необходимостью освоить все виды НТП, все достижения научно-технической революции. Вот почему

с такой силой и с таким обобщением звучат слова директора Головни: «**Промышленность** так жить не может, **и вообще** так жить **нельзя**» (выделено мною.— *Г. П.*).

7. В ЧЕМ ОШИБСЯ ОНИСИМОВ?

Хотя роман называется «Новое назначение», в центре событий не переход Онисимова на пост посла в одну из северных стран (Тишландию, как в шутку ее называет Онисимов), а именно его освобождение от должности Председателя Госкомитета Совета Министров СССР. И сам Онисимов, и окружающие его лица, и автор романа постоянно обсуждают в основном именно уход.

В жизни Онисимова опасность снятия впервые нависла как серьезная угроза в период репрессий конца тридцатых годов. Онисимов уцелел, написав письмо Сталину с просьбой о партийном расследовании своей деятельности как начальника танкового главка. Письмо передал Сталину родственник жены Онисимова, видный деятель партии.

Естественно, что потом Онисимов не раз размышлял над тем, почему он уцелел и стал наркомом. Онисимов считал, что уцелел он не случайно, а закономерно.

Во-первых, сыграла роль его борьба с оппозицией и беспредельная, нерассуждающая преданность руководству партии и лично Сталину. Во-вторых, важное значение имела та главная черта его натуры, которая выработалась еще в годы подполья,— безукоризненная, четкая исполнительность, в которой он находил и удовлетворение, и наслаждение и которой он ни секунды не тяготился.

Но Онисимов считал, что помогло и другое. Он успел получить техническое образование. Он, не жалея сил, учился. Он освоил технику и технологию лучших заводов мира, освоил до деталей, стал знатоком металла. А металл был сердцем индустриализации — главного дела Сталина.

Топор репрессий, по мнению Онисимова, в тридцатые годы очистил промышленность от тех руководителей, которые, кроме политики, никакой специальностью не обладали и стали опасными для хозяйства.

При этом он как-то не замечал, что репрессии нередко захватывают и тех, кто, казалось бы, по всем статьям достоин новых постов. Да и работа самого Онисимова под занесенной рукой Берии явно не укладывалась в его же схему. Но об этом он не хотел думать.

И вот теперь Онисимов смещен. И он никак не может понять — за что же.

Конечно, давно шли толки об изменении прежних, строго централизованных методов управления, о необходимости инициативы на местах, о расширении прав низа. К этим толкам он относился настороженно, так как в его отраслях все держалось на четко выработанных в центре инструкциях и контроле за их соблюдением. Поэтому при обсуждении вопроса об упразднении министерств и создании совнархозов Онисимов высказал свое мнение, советуя быть осторожными, не допускать поспешности в реорганизации управления, не прибегать к крутой ломке. Он защищал целесообразность существования своего комитета и подведомственных ему министерств. Привел ряд доводов на заседании Комиссии ЦК по этому вопросу. Его выступление, сугубо деловое, было встречено молчанием. С ним спорить не стали.

Но ведь там происходило лишь самое предварительное обсуждение вопроса. Ведь любое решение — кто в этом может усомниться?— он принял бы как дисциплинированный, верный член партии. Почему же, почему его убрали из промышленности, устранили от дела, которое составляло его жизнь?

Академик Челышев, сам Александр Бек и Григорий Бакланов, автор предисловия к роману, склоняются к следующей версии.

Онисимов чересчур сросся с одной из форм управления. Он не в силах перерасти смену порядков. Поэтому

его и сместили. «Вылезайте душой из тех времен! Чего они к вам цепляются?»— говорит Челышев Онисимову.

Определенная правда в этой трактовке есть. И если бы эта версия была верна, то роман А. Бека был бы для нас полезным и поучительным уроком того, что есть кадры, которые не способны вылезти из тех форм управления, что их взрастили, с которыми они сами срослись, носителями которых они стали. Поэтому быстрейшая смена, замена таких руководителей неизбежны. Нельзя тратить время и силы на переделку этих столпов старого. Чем скорее их убрать, тем лучше для перемен — каковы бы крупные прежние заслуги этих работников ни были.

Как будто в пользу этой версии, поучительной и для нашей сегодняшней перестройки, в романе есть немало доводов. Онисимов действительно боится, что при ликвидации министерств и замене их десятками совнархозов ослабнет централизованная работа над созданием научно обоснованных нормативов, ослабнет единый контроль, и итогом будет расшатывание технологической дисциплины и снижение качества продукции. Онисимов боится, что после упразднения министерств и без того немногочисленные высококвалифицированные кадры штаба отрасли распылятся, а и без того недостаточно дисциплинированные работники заводов получат право на нарушения.

Но замечательная сила правды жизни — а именно ей следовал Александр Бек в своем романе — позволяет мне выдвинуть иную версию смещения Онисимова. В романе много фактов, объяснить которые может только новая трактовка смещения.

Начнем с тезиса о том, что Онисимов не может приспособиться к переменам. Такого типа работников при перестройках выявляется немало. Но принадлежит ли сам Онисимов к таким руководителям? Вот тот же академик Челышев уверен, что Онисимов может приспособиться и работать в новых условиях. Не случайна же его

реплика: «Перед вами еще будущее!» Значит, объективно Онисимов может жить и работать в будущем. Сходную позицию занимает и Серебрянников, многоопытный начальник секретариата Онисимова. Он считает, что Онисимов смещен под горячую руку и еще может вернуться к работе в индустрии.

А если Онисимов сам считает, что «может работать», если окружающие тоже считают, что «может работать», то версия о его абсолютной несовместимости с новыми временами как причине смещения повисает в воздухе. Конечно, Онисимову было бы нелегко. Надо было бы научиться передавать права подчиненным, допускать их поиск. Надо было бы — тут тоже от правды нельзя уйти — как-то терпеть и вранье подчиненных, и их попытки за счет государства удовлетворять свои прихоти — то ли в технологии плавки, то ли в оформлении заводского двора. Словом, надо было бы научиться многому, с чем не мирилась душа Онисимова. Вот почему я тоже думаю, что Онисимов мог бы работать и в условиях совнархозов — как работали десятки других хозяйственных руководителей бывших министерств.

За что же тогда сместили Онисимова?

Обратимся к фактам романа. Факт первый. Серебрянников не стремится уехать с Онисимовым в Тишландию. Почему? Ведь он всю жизнь на первое место ставил себя и свои интересы. И если бы перестройка была действительно кардинальной, серьезной, ставящей на карту судьбу аппарата (и Серебрянникова), то он бы уехал с шефом. Но само решение Серебрянникова остаться можно истолковать только так: перемены, считает он, не будут столь радикальными, как кажется. И место для таких, как он, всегда найдется и в новой системе. Соответственно новизна ее не столь значительна.

Факт второй. Сослуживцы Онисимова, его подчиненные и коллеги, провожая его на аэродром, тоже не считают, что Административная Система меняется кардинально. Они как-то нутром чувствуют, что «все утрясет-

ся», что «поукает, поурчит гром и угомонится». Больше того, они уверены, что Онисимова «вновь призовут в индустрию».

Факт третий. Академик Челышев, по существу оценивая уже новые времена, говорит: «У нас любят, чтобы под рукой был человек, с которого за все можно спросить. А то и спустить с него три шкуры. Тогда и найдут вас: как раз место для вас». Следовательно, и он не видит кардинальных перемен.

Факт четвертый. И в условиях перестройки все так же отчаянно борется за свое изобретение Головня, направляя новое письмо в ЦК. Министр Цихоня говорит ему: «Что же ты, Петр Афанасьевич, сразу адресуешься в ЦК? Не мог, что ли, прийти ко мне? Или написать нам в министерство?» Петр отвечает: «Как член партии, используя свои права...» «Господи, мы сами бы тебе все организовали». «Знаком, товарищ министр, с вашей организацией».

Так, деталь за деталью, мелочь за мелочью (вплоть до описания порядков в правительственной больнице, которые «устояли» при всех перестройках) Александр Бек — не знаю, сознательно ли, но явно в соответствии с правдой жизни — подводит нас к иному объяснению отставки Онисимова.

Вдумаемся еще раз в события перед отставкой. Что сделал Онисимов? Он высказал в ходе предварительного обсуждения возражение против решения, к которому — судя по всему, судя по Комиссии ЦК — уже склонялся Верх. Онисимова сместили не за то, что он сопротивлялся,— нет, до этого не дошло,— а за то, что он позволил создать впечатление о своей неготовности выполнить директиву Верха.

Другими словами, его сместили за главное и недопустимое преступление в Административной Системе — за неготовность немедленно, беспрекословно выполнить приказ. За то, что он плохой солдат и исполнитель. Его сместили за нехватку именно того, что он считал — и

верно считал — своей сутью, своей главной добродетелью. Онисимов нарушил законы Административной Системы. Собственно, даже не нарушил. Создалось впечатление, что он может стать нарушителем. Услышав о совнархозах, Онисимов не сделал того, что делал всегда, всю свою жизнь,— не сказал, став возле телефонного аппарата по стойке «смирно»: «Слушаюсь. Вы правы. Будет сделано. С полным напряжением сил. Под мою ответственность».

Но если в этом причина отставки Онисимова, то логичен второй вопрос: в чем же ошибся Онисимов? Почему он, всю жизнь выступая идеальным исполнителем, вдруг отступил от этой роли?

Зададим другой, вспомогательный вопрос. Позволил бы Онисимов высказать малейшее сомнение в отношении совнархозов, если бы это было предложение Сталина? Если бы еще был на месте Берия? Я думаю, что ответ очевиден. Онисимов сказал бы: «Есть!»

Значит, уход Сталина, разоблачение Берии, XX съезд партии, делегатом которого был Онисимов, со слезами на глазах слушавший доклад Н. С. Хрущева о культе личности,— только это и могло быть причиной изменения поведения Онисимова.

Мы подходим к главному выводу. Онисимов позволил себе отойти от стереотипной роли бойца за выполнение директив, потому что он всерьез решил, что Административная Система изменилась. Он знал Систему, ее законы. И не посмел бы их нарушить, если бы не считал, что теперь времена уже новые. Не конфликт с новым, а именно вера в то, что это новое УЖЕ НАСТУПИЛО, привело к появлению у Онисимова зачатков самостоятельности, и он позволил себе самые робкие возражения и сомнения по поводу директивы Верха.

Главная ошибка Онисимова в том, что Административную Систему он отождествлял с одной ее конкретной формой — со Сталиным, с Берией. И устранение этой

ФОРМЫ Административной Системы он воспринял как начало отхода от ее СУТИ.

А между тем его вывод об отказе от Административной Системы был явно преждевременным. Речи и намерения он принял за дела и реальные изменения, желание отойти от прошлого — за фактические перемены. Он не понял того, что видел даже его сын: «...у новых времен зубки еще не прорезались». Для руководителя такого масштаба, «следователя», умеющего «вытянуть правду», такого рода заблуждение совершенно непростительно. За это он и был сразу же наказан, наказан отставкой...

И эта ошибка Онисимова, несомненно, наиболее поучительный урок для всех нас из посмертного романа Александра Бека. Ведь не только Онисимов, но и Н. С. Хрущев, и все мы думали, что, устранив из Административной Системы культ личности, мы уже решим все проблемы нашего будущего. Теперь, с позиций исторического опыта, мы видим, что это не так. Система нам отомстила...

Не оправдались и надежды, связанные с реформой 1965 года, когда мы полагали, что стоит ограничить в Административной Системе масштабы администрирования, укрупнив его, сосредоточив на главном, дополнив экономическими рычагами, и удастся опять-таки решить проблемы нашего общества. Система устояла, она оказала стойкое сопротивление реформе. Она, будем иметь мужество признать это, победила и даже в чем-то укрепилась.

Вот почему к статье политического обозревателя А. Бовина в № 5 (1987 г.) журнала «Новое время» об уроках прошлого, о крахе надежд 1956 и 1965 годов надо обязательно добавить, что дело не только в ушедших в песок планах, но прежде всего в том, что сами наши планы и в 1956 и в 1965 годах исходили из возможности сохранения в реформированном виде Административной Системы и потому не были реальными, не касались сути Административной Системы.

И проблема — и это ясно указал XXVII съезд и еще раз подчеркнул январский (1987 г.) Пленум ЦК КПСС — состоит в том, чтобы отказаться от нее, заменить ее на новую систему, соответствующую современному этапу развития социализма, опирающуюся не на администрирование, а на экономические и демократические методы и формы.

Ведь Административная Система — вовсе не синоним Социалистической Системы, она никогда не охватывала весь наш строй, это один из преходящих этапов.

Это невероятно сложная задача, причем не только в силу своей принципиальной новизны, но и потому, что ревнителей, сторонников старой Системы не так мало, как может показаться на первый взгляд. Об этом я думаю, когда читаю в газетах и узнаю из передач радио и телевидения о многочисленных продолжающихся негативных явлениях и главном из них: попытках исказить смысл партийных и государственных решений (ввести, например, выборы директора, но при одном кандидате и открытые).

Многие, возможно, пока даже еще очень многие, тоскуют по временам, как им кажется, образцового порядка. Многим кажется, что стоит вернуться к методам руководства сталинского типа, и разом удастся покончить и с недисциплинированностью на производстве, и со срывами планов, и с погоней за легкой наживой, с корыстолюбием, с наркоманией, и со многим другим, с чем мы сейчас ведем жестокую, бескомпромиссную, открытую, гласную борьбу. Но немногие задумываются, что истинные корни всех этих явлений лежали именно в Административной Системе, они росли и пускали все новые побеги именно в те годы, когда Система процветала и укреплялась. Именно тогда, в те годы, возник никак не свойственный идеалам социализма разлад между словом и делом — благодатная почва для очковтирательства, приписок, обмана государства, незаконного присвоения незаработанных денег и благ. Эти явления вызвали, на-

помним, протесты изначально чистого и честного Александра Леонтьевича Онисимова. Но сколько рядом с онисимовыми жило и работало приспособленцев-конформистов, умело извлекавших личную корысть из недостатков Административной Системы. Сейчас об этом можно уже с полной ответственностью сказать: мы продвигались бы вперед гораздо быстрее и прошли бы в поступательном движении гораздо больший путь, если бы нашли в себе силы и мужество отказаться от нее раньше.

Вот почему и сегодня, через 30 лет, волнует нас судьба Онисимова. Ведь и сегодня есть реальная опасность утопить дело перестройки, принять, как это сделал Онисимов, намерения за дела, слова за реальные изменения, изменения форм — за перестройку сущности. Не случайно М. С. Горбачев на январском (1987 г.) Пленуме ЦК партии отметил, что «дело перестройки оказалось более трудным, причины накопившихся в обществе проблем — более глубокими, чем это представлялось нам раньше». В предостережении всех нас от опасности серьезнейшей ошибки я вижу главную заслугу Александра Бека, и это заставило меня, далекого от литературы человека, написать этот отклик на его роман.

Г. ПОПОВ, доктор экономических наук.

СОДЕРЖАНИЕ

АЛЕКСАНДР АЛЬФРЕДОВИЧ БЕК

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Роман

Редактор
Е. Мосина

Художники
Б. Машрапов, Л. Тетенко

Художественный редактор
Б. Табылдиев

Технический редактор
Н. Галицкая

Корректор
Т. Сажина

ИБ № 4588

Сдано в набор 01.02.88. Подписано в печать 02.03.88. Формат 84×108 1/32. Бумага книжно-журнальная № 2. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 12,6. Усл. кр.-отт. 12,9. Уч.-изд. л. 13,2. Тираж 200 000 экз. (1-й завод 1—100 000 экз.) Заказ № 1892. Цена 1 р. 50 к.

Ордена Дружбы народов издательство «Жазушы» Государственного комитета Казахской ССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 480124, г. Алма-Ата, проспект Абая, 143.

Фабрика книги производственного объединения полиграфических предприятий «Кітап» Государственного комитета Казахской ССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 480124, г. Алма-Ата, проспект Гагарина, 93.


1 р. 50 к.